АЗБУКА ВЕРЫ

Елена Александровна Кибирева

Лилии полевые 9. Узкий путь. Первые христиане

Художественная литература · azbyka.ru

Лилии полевые 9. Узкий путь. Первые христиане – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/lilii-polevye-9-uzkij-put-pervye-hristiane

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Лилии полевые 9. Узкий путь. Первые христиане

Елена Александровна Кибирева

Предисловие

Уважаемые читатели!

Перед вами — девятый сборник рассказов серии **«Лилии полевые»** из архива протоиерея Григория Пономарева (1914-1997) и его духовных чад.

Девятый сборник получил название «Лилии полевые. Узкий путь. Первые христиане». В книгу вошли повести и рассказы о мучениках и исповедниках первых веков христианства из архива протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1997), сына новомученика и исповедника Российского архимандрита Ардалиона (Пономарева), и его духовных чад.

«В пышном Риме мало заботились о человеческой жизни. Никто не смущался при виде страданий, как бы жестоки они ни были. Многие сбегались на зрелище казни, как на праздник… Народ был беспощаден к побежденным, к рабам, к беднякам… За немногим исключением душа древних была чужда состраданию, и Тот, Кто первый произнес таинственные слова любви и милосердия, искупал их на Кресте… Но откуда столько ненависти? Откуда столько злобы и насмешек? (М. Монлор «После Голгофы»).

Елена Кибирева, автор-составитель книги.

г. Курган, 2026 год

«Светоч Православия»

Дорогие читатели! Перед Вами девятый сборник рассказов серии «Лилии полевые» из духовного архива протоиерея Григория Пономарева (1914-1997), подвизавшегося на служение Церкви Христовой в Курганской и Шадринской епархии во второй половине XX-го столетия и почившего в г. Кургане в 1997 году.

В этом предисловии поведаем вам, дорогие друзья, о почитании зауральского исповедника отца Григория правящим архиереем Курганской епархии Преосвященным епископом Михаилом (1953-2008 гг.), по благословению которого в Курганской епархии изданы книги о жизни митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева, а также издается с 2005 года полюбившаяся читателям серия сборников «Лилии полевые» с рассказами, собранными отцом Григорием и его духовными чадами.

25 октября 1997 года в Курганской епархии произошло событие, отразившее целую эпоху в истории Православной Церкви Урала и Зауралья. В один день вместе со своей супругой Ниной Сергеевной почил во Господе почтенный священник Курганской и Шадринской епархии митрофорный протоиерей Григорий Александрович Пономарев, происходивший, как и матушка Нина, из потомственного священнического рода.

Преосвященный владыка Михаил возглавил чин отпевания и погребения отца Григория и матушки Нины, урожденной Увицкой, благословив погребсти усопших в одной могиле во дворе

Свято-Духовского храма поселка Смолино.

Отец Григорий был духовником многих священников епархии, их матушек и родных, а также окормлял большинство прихожан, сформировавших паству Курганской области в 70-90 годы прошлого столетия, так что на погребение супругов собралось множество священства, монашествующих и мирян. В те годы жизнь отца Григория, наполненная гонениями и поношениями, была сокрыта от нас, и мы ничего не знали о тяжелых годах репрессий и испытаний, выпавших на долю батюшки и их с матушкой родных в годы сталинских репрессий.

На отпевании 27 октября в память об отце Григории прозвучало слово Преосвященного владыки Михаила. Здесь мы приведем полный текст проповеди, потому что в этой краткой речи владыка отразил подвиг всего поколения репрессированного священства XX-го столетия.

Поколения исповедников и мучеников!

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие братья-сослужители! Дорогие братья и сестры!

Сегодня в нашей епархии невосполнимая утрата. Он нас ушел наш светоч Православия, наша опора в духовной жизни, возлюбленный собрат — протоиерей Григорий.

Земной путь, который он прошел, не отличался радостями и утехами, но, наоборот, за этот короткий срок отец Григорий претерпел и зной и вар, и холод, претерпел гонения и лишения.

Десять лет провел он в заточении за веру Православную, являясь исповедником Истины Христовой. И Господь уготовал ему праведную кончину, забрав не только его, но и возлюбленную супругу Нину. Это знак Божий.

Так умирали в православных русских семьях — готовились и умирали в один день. Как прожили они свято свою жизнь, так вместе и возлетели к Небесным обителям. И я верю, что они прошли без мытарств и поклонились Престолу Божиему.

Велика заслуга почившего нашего собрата протоиерея Григория, велико его дерзновение пред Господом, ибо он исполнил Его заповеди, претерпев все поношения и гонения. До самой смерти пронес он Крест, который Господь дал ему.

Сегодня у нас день печали, но в то же время и день радости. Дай Бог всем нам прожить такую же долгую и содержательную жизнь и иметь столько духовных чад, которые спасаются его молитвами и которых он наставлял в жизни, делясь с ними своим духовным опытом. Дай Бог всем нам пройти его стопами и оказаться там же, где и он сейчас предстоит, — в селениях Небесных.

Дорогой наш собрат! Мы помним и любим тебя, и никогда не забудем. Из нашей памяти не сотрется твой незабвенный образ. Мы верим, что ты обрел дерзновение пред Господом и умолишь Его за нас, грешных, у Престола Божия. Дабы Православие процветало на нашей Зауральской земле, дабы мир царил в душах людей. Помолись за нас, отче, у Престола Божия!»[1]

* * *

С отцом Григорием Пономаревым, зауральским исповедником и почитаемым в народе как молитвенник перед престолом Божиим, преосвященный Владыка Михаил общался не раз в те

дни, когда баюшка, хотя и редко, служил в Свято-Духовском храме Смолино. Мы не знаем, о чем беседовали архиерей и мудрый старец, но Ольга Григорьевна, дочь заслуженного протоиерея, свидетельствовала, что отец Григорий в трудные для епископа часы испытаний горячо поддержал его и часами молился о здравии архиерея в своей келье перед иконой потомственного священнического рода Пономаревых — Нерукотворного Образа Господня.

В тот год, когда владыка заступил на архиерейское служение в Кургане, а его благословенные труды подверглись нападению враждующего духа, духовные чада, приходя к отцу Григорию, задавали ему вопросы о святительской благодати и всегда слышали его твердый ответ, что какие бы молитвы ни возносил Богу православаный христианин, ищущий спасения, спасающий источник благодати, который оставил нам Господь, — только в преемнике власти от Святаго и Животворящего Духа, то есть в епископе. Послушание архиерею — как послушание Богу!

О том, насколько тернист святительский путь первых епископов, говорят эти слова, произнесенные в 1996 году со святого амвона преосвященным епископом Екатеринбургским и Верхотурским Никоном в день тезоименитства курганского архиерея:

«Трудна епархия Ваша, трудно служение здесь, потому что здесь никогда не было архиерейской кафедры, никогда не было епископа. Ныне Вы стоите здесь — первый епископ. Первые епископы, по традиции нашей Матери-Церкви, всегда назывались равноапостольными, независимо от того, были они причислены к лику святых или нет. Но всегда труд первых епископов — это труд первых апостолов, которые поставляли, которые наставляли, увещевали, умудряли и просвещали свой клир и свою паству»[2].

* * *

Не случайны слова о том, что труд первых епископов — это труд первых апостолов, которые благодатию Христовой призваны наставлять, умудрять и просвещать свою паству. Просвещение народа Божия через примеры исповедников, истинных служителей Христовых, наших современников, — обязанность и долг апостолов Церкви.

Преосвященнейший епископ Курганский и Шадринский Михаил, лично знавший отца Григория, сослужившего владыке в Свято-Духовском храме поселка Смолино в 1993/1995 гг., дал свое архипастырское благословение на публикацию удивительного жития этого исповедника и на издание духовных поучений из его архива. Владыка сам написал предисловие к первым главам книги об отце Григории, словно дал ей крылья. Молитвами правящего архиерея епархии были собраны многочисленные свидетельства чудесной помощи отца Григория духовным чадам, вошедшие в двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Александрович Пономарев (1914-1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды».

В своем слове на погребение отца Григория и матушки Нины владыка Михаил даром Духа Святого назвал батюшку светочем Православия, нашей опорой в духовной жизни, подчеркнув, что жизнь этих праведников была свята, и они, возлетев вместе к Небесам, молятся у престола Божия, дабы Православие процветало на Зауральской земле, и мир царил в душах людей.

Там же, у могилы праведников владыка всякий раз, служа по ним панихиду, называл отца Григория и матушку Нину зауральскими благоверными Петром и Февронией, подчеркивая, что их светлая кончина в один день — это особый знак Божий.

«Так умирали в православных русских семьях — готовились и умирали в один день!»

Многие из духовных чад отца Григория знали о тяжких гонениях, которые претерпели отец

Григорий, матушка Нина и их родные за годы земной жизни. Но жизнь их в примерах подвигов никому не была известна. Батюшка о себе никогда ничего не рассказывал, и кто бы ни пытался поговорить с ним на эту тему при личном общении, он неизменно отклонял все разговоры. Но когда Ольга Григорьевна, дочь отца Григория, принесла в редакцию соборного журнала первые рассказы о жизни своего отца в сталинских лагерях, о которой ей рассказывал сам батюшка, и когда эти рассказы прочитал владыка, он горячо воскликнул: «Какая талантливая рассказчица Ольга Григорьевна», — и благословил авторов книги на сложную, кропотливую работу по изучению архива отца Григория. Он вычитывал главу за главой воспоминаний Ольги Григорьевны, открывая для себя тайны жизни отца Григория, и был очень удивлен, какое богатое духовное наследие, родник веры живой, оставил батюшка духовным чадам.

Человеческая память несовершенна и, возможно, труды и святыни отца Григория затерялись бы во времени или сгорели дотла в пламени огня, как сгорел их дом через несколько лет после их смерти. Однако чудом Божиим и по благословению владыки Михаила Ольга Григорьевна после смерти родителей своевременно вывезла из дома родителей архив отца Григория и семейную чудотворную икону «Нерукотворный Образ Господень», а также великую святыню — Царский Крест с мощами сорока угодников Божиих. В настоящее время икона Спаса Нерукотворного находится в кафедральном соборе святого Александра Невского в городе Кургана, а Царский Крест-мощевик передан в монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганину Яму.

Подчеркнем особо, что по благословению преосвященнейшего епископа Михаила были изданы книги рассказов о жизни отца Григория и матушки Нины по воспоминаниям дочери, которые вскоре вошли в жития их родителей — святых новомучеников архимандрита Ардалиона (Пономарева) и протоиерея Сергия Увицкого. Ко всем изданиям владыка написал, как доброе напутствие, предисловия, сопровождая книги архиерейским благословением. Для небольшой уральской епархии издание книг стало знаменательным событием, так что рассказы «Во Имя Твое…» были отмечены патриархом Алексием II, а ее авторы к празднику Святой Пасхи 2004 года, были удостоины медалей святого преподобного Сергия Радонежского I степени.

В течение многих лет владыка Михаил сопровождал кропотливые труды авторов книг об отце Григории, благословляя работу редакции епархиального журнала «Звонница» в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга. Он направлял письма руководителям научных библиотек с просьбой разрешить работать редакции в фондах редких книг северной столицы, чтобы найти первоисточники, с которыми работал в 50-е годы прошлого столетия отец Григорий, а также обращался к ректору Санкт-Петербургской Духовной Академии с запросами копий из архивного учебного дела отца Григория. Командировки в Екатеринбург, Невьянск, Санкт-Петербург и работа в научных библиотеках длились месяцами. Авторы торопились описать те странички из жизни отца Григория, которые можно было извлечь в те годы из разных архивов, в том числе из свердловского госархива с делами НКВД, стараясь собрать как можно больше документов, фотографий, свидетельств и воспоминаний духовных чад батюшки. Сегодня доступ к этому страшному архиву закрыт.

Так, молитвами преосвященного епископа Михаила, благодаря его личному участию и по его благословению в 2003 году вышло первое издание книги «Во Имя Твое…», а в 2006-м второе издание и двухтомник «Исповедник веры…», дополненные новыми архивными справками, документами и духовными поучениями из рукописного архива митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1997 гг.). Благословение епископа получила также удивительная серия сборников «Лилии полевые» с духовными повестями, рассказами, притчами и стихами, собранными батюшкой в годы его учебы в Санкт-Петербургской Духовной Академии.

О Царском Кресте

История Царского Креста-мощевика (1710 года), хранителем которого долгое время был отец Григорий и который находился в доме отца Григория и матушки Нины тайно, была много лет сокрыта от православной общественности. Крест отцу Григорию передала на хранение его сестра Мария Александровна после смерти ее супруга — оренбургского протоиерея Константина Плясунова. Марии Александровне золотой крест-мощевик передала в свое время монахиня Серафима, духовное чадо отца Константина, со словами, что Крест-мощевик принадлежал Государю Николаю II и был преподнесен Царствующему дому Романовых в дар от князей Шаховских. В сей Святой Крест были вложены великие христианские святыни — часть ризы Господней, часть ризы Пресвятой Богородицы, частичка Животворящего древа Креста Господня, а также святые мощи сорока угодников Божиих.

Никто в доме отца Григория, кроме Ольги Григорьевны, не знал о существовании этой удивительной святыни. И неизвестно, какова могла бы быть судьба этой драгоценной реликвии, если бы не мудрость и молитвы Преосвященного архиерея Курганской епархии владыки Михаила. Крест-мощевик привезли владыке в архиерейский дом в Смолино вскоре, как только авторы начали писать книгу об отце Григории. Каждую минуту опасение, что святыню могут забрать, украсть или совершить разбойное нападение, возрастало. Непонятно было, в какие руки попадет святыня и как вернуть эту реликвию Церкви официально, без осложнений. Золотые пластины креста, драгоценные камни и в том числе изумруды, впаянные в изделие, могли стать приманкой для преступного мира.



Царский Крест-мощевик

«Мы взяли благословение у правящего архиерея, — пишет одна из авторов книги, — и внимательно описали сам крест и надпись на его обратной стороне с перечнем имен святых, чьи мощи находились внутри ковчега. Владыка составил молитву Царскому кресту-мощевику и благословил опубликовать описание креста и молитву в ближайшем номере журнала «Звонница». Так Царский Крест впервые и открыто был представлен православному миру для всеобщего поклонения. Фотографии мощевика сделали сами, не афишируя, что крест хранится у Ольги Григорьевны».

А осенью 1999 года святыня была передана в екатеринбургский храм Преображения Господня настоятелю о. Николаю Ладюку, духовнику Ольги Григорьевны, и 19 мая 2001 года по

благословению владыки Викентия крестным ходом перенесена в мужской монастырь святых Царственных мучеников на Ганину Яму.

В том же году Ольге Григорьевне Пономаревой приснился чудный сон. Во сне к ней как наяву пришли святой Царь Николай II, отец Григорий, преподобномученик архимандрит Ардалион и священномученик протоиерей Сергий Увицкий, и из уст Государя она услышала слова: «Спасибо за Крест. Не пожалели…» Это явление она описала на отдельном листке, а позднее игумен Варнава, наместник Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря, заказал для монастыря икону, которая запечатлела это чудное событие.

В те годы, пока святыню — Царский крест-мощевик — хранила Ольга Григорьевна, авторы книги часто молились святым, чьи мощи были вложены в мощевик Креста, и испрашивали помощи в написании новых глав книги о жизни отца Григория. Трудно было осознать, с какой опасностью могли столкнуться хранители креста, если бы они не обратились за советом, молитвенной поддержкой и благословением к правящему архиерею Курганской епархии епископу Михаилу, ведь Ольга Григорьевна часто приезжала в Курган из Екатеринбурга, возила золотой крест с собой в сумочке на маршрутке и оставляла его в обычной квартире, где писали книгу «Во Имя Твое…», полагаясь на помощь Божию молитвами курганского владыки Михаила, самого отца Григория, преподобномученика Ардалиона (Пономарева) и священномученика Сергия Увицкого.

Достоверная история обретения Царского креста-мощевика, переданного в семью Пономаревых монахиней Серафимой, а также история передачи этой святыни Русской Православной Церкви описана в книге рассказов об отце Григории «Во Имя Твое» в главе «Царский Крест».

Елена Кибирева, член Союза Писателей России



Рис. Ольги Бухтояровой

Узкий путь или Церковь в катакомбах

Исторический рассказ

Глава I. Он близок к нам!

Был вечер, и солнце медленно спускалось за Альбанские высоты. В то время, как на склонах гор, покрытых вечнозеленым лесом дубов и пробковых деревьев, уже наступили сумерки, в красивой долине Арике тени становились все длиннее. Несмотря на то, сегодня здесь все-таки мало чувствовалось вечерней торжественной тишины, необыкновенная толпа народа и громкий, несмолкаемый говор составляли резкую противоположность с окружающею природой. Всюду были видны жители долины, разряженные в праздничные наряды, и вместо того, чтобы спешить в свои жилища, они, наоборот, выезжали из них навьюченными и нагруженными многочисленными корзинами и корзиночками, точно готовясь ко всеобщему бегству.

Если бы кто-нибудь, удивляясь такому странному вечернему движению, полюбопытствовал узнать о причине этой сутолоки у одной из добродушных и словоохотливых женщин, то она с большим удовольствием объяснила бы ему все… Без сомнения, она тотчас же открыла бы свою корзинку, показала бы небольшой запас фиников и винных ягод и, не без гордости, самодовольно указала бы также на собственного изготовления сыр из козьего молока, который нес ее муж. Пожалуй, при своей болтливости, она не преминула бы добавить, что все эти припасы предназначаются не только для них, но также и для соседа, который, со своей стороны, запасся пирогами, ячменным хлебом и многими другими съестными припасами.



Среди пеших, принадлежавших большею частию к низшему сословию, попадались также и экипажи богатых людей, и все они, и мужчины, и женщины, и дети, и восседавшие в экипажах гордые благородные патрицианки, — все стремились по широкому проспекту Виа-Аппиа к одной цели, к одному месту, — к величественному, царственному городу Риму. У всех была одна и та же тема разговора, одно и то же намерение — еще сегодня, хотя бы к поздней ночи, достигнуть амфитеатра Флавиана, чтобы обеспечить себя местами к предстоящему завтра зрелищу.

Если бы это громадное здание, названное впоследствии Колизеем, могло вместить в себе сто тысяч зрителей, то и тогда можно было бы смело сказать, что на этот раз тысячам желающих попасть в него пришлось бы возвратиться восвояси огорченными после тщетных попыток добыть себе одно из мраморных мест.

— Мама, а лев очень будет злиться? — робко спросила белокурая девочка, обращаясь к шедшей рядом с нею статной женщине и тщетно стараясь скрыть свой страх.

— Ха, Юлия боится льва! — воскликнул младший брат девочки, на вопрос которой со стороны матери не последовало никакого ответа.

— Ах ты, глупая девчонка, — продолжал заносчивый мальчик, — да разве этот дикий зверь тронет нас? Он только будет грызть злых христиан.

— Пойдемте, дети! — позвал их отец. — У нас и без того нет лишнего времени. Если мы не поторопимся, то городские ворота, пожалуй, запрут, и тогда мы ровно ничего не увидим завтра в амфитеатре!..

В это время мимо торопившейся семьи — то была семья виноградаря — пронесли роскошные носилки. Сидевших в них двух дам, по-видимому, очень забавлял разговор детей, о чем можно было судить по тому, как они прислушивались к нему все время.

— Были ли и мы так полны ожиданий и нетерпения, когда, как и эти дети, в первый раз были привезены в Рим на представление? — заметила Флавия, старшая из двух дам, по-видимому, сестер.

— Конечно! — весело ответила младшая из них, имя которой было Сисидона. — Я и сейчас полна нетерпения, в особенности в ожидании финала представления. Бега и поединок гладиаторов для меня ничего интересного не представляют. Совсем другое дело — бой царя зверей с полудюжиной христиан!.. Вот это зрелище, которого нам уже давно не удавалось видеть!..

— Ты права! — сказала Флавия. — Я еще никогда не видела христиан на арене. Закон нашего Траяна, на основании которого эти люди только тогда должны были быть подвергаемы наказанию, когда они нарушали законы страны, удерживал префектов удовлетворять требования народа — бросать диким зверям на растерзание почитателей других богов — христиан...

— Я нахожу несправедливым так строго наказывать этих людей только за то, что они отказываются поклоняться богам Рима! — заметила Сисидона. — Ведь Серапис, которому наш покойный император воздвиг такой чудный памятник, тоже римский бог, а между тем, его одинаково почитают и в Египте... А теперь у нас поклоняются не только Серапису[3], но и Изиде[4].

— Хотя я и вполне разделяю твои воззрения, Сисидона, — возразила на это старшая сестра, — тем не менее не могу не разъяснить тебе, что тут дело идет не только о поклонении ими своему Богу, каковым поклонением, как ты думаешь, христиане вызвали к себе всеобщую вражду, сколько их нравы и обычаи. Кроме того, сходки христиан прославились неслыханными, ужасными мерзостями... Даже детей они заманивали в свои ловушки... Рассказывают, что дети вдруг исчезали, и затем о них не было ни слуху, ни духу.

— Это ужасно! — воскликнула взволнованно Сисидона. — Одна мысль о том, что это все проделывалось над такими маленькими, нежными, невинными созданиями, как твоя Фламина, приводит меня в бешенство...

— Да я бы каждого такого изверга без сожаления бросила в Тибр или на растерзание львам!.. — добавила она со сверкающими глазами.

Фламиния, видя гнев своей сестры, улыбнулась и сказала шутливым тоном:

— Значит, нет основания опасаться, что моей сестре может прийти дикая мысль —

присоединиться к этой новой секте?

— Да хранят нас боги, чтобы хоть одна из благородных римских патрицианок присоединилась к этому народу! — воскликнула Сисидона.

— Что ты на это скажешь, Фламиниус? — сказала она, приподнимая занавеску носилок и обращаясь к господину, ехавшему в коляске рядом с ними. — Твоя благоверная сочла нужным высказать мне свои опасения, чтобы я не присоединилась к секте христиан!..

— Тсс! Не шути такими вещами, сестрица! Те, кто не знает тебя, может, пожалуй, и вправду подумать, что эти опасения основательны. А это может поставить всех нас в неловкое положение, — ответил Фламиниус.

При этом он как-то вопросительно взглянул на молодого человека, сидевшего рядом с ним.

Сисидона надула губки, как избалованный ребенок.

— Моим друзьям нечего за меня беспокоиться, — сказала она капризным тоном, украдкой взглянув на молодого человека, что не ускользнуло от внимания того.

— Благородная Сисидона никогда не решится причинить малейшее горе своим родным, в этом я уверен! — ответил он на ее взгляд вежливым замечанием.

— Я никогда не имею обыкновения связывать себя обещаниями! — последовал на это упрямый ответ Сисидоны.

— В таком случае, моей Флавии придется взять под свое покровительство ее упрямую сестрицу, — возразил Фламиниус, ласково взглянув на свою нежно любимую жену.

— Это меня нисколько не затруднит, — проговорила Флавия.

— Однако, не опоздать бы нам, — прибавила она, разглядывая длинные тени, ложившиеся по дороге от движущихся путников и экипажей.

— Если мы не хотим ждать завтрашнего утра у городских ворот, то в таком случае, мы не должны медлить, — подхватил Фламиниус и стал понукать лошадь и торопить слугу ехать быстрее.

И в самом деле, было бы, конечно, очень неприятно, если бы они не попали в город и не нашли себе в нем приюта. А это легко могло случиться, так как еще накануне, когда только начались на арене различные сооружения для предстоящих зрелищ, гостиницы стали наполняться приезжими из ближних и дальних окрестных местностей, жаждавшими присутствовать на этом редком празднестве.

Между тем улицы Рима были уже запружены народом, громадные толпы которого спешно двигались по дороге к Колизею. Те, которым невозможно было присутствовать на зрелище следующего дня, хотели посмотреть хотя бы на приготовления к ним; поэтому все они толпились у львиной клетки, примыкавшей к огромному зданию Колизея, и у различных входов в него, стараясь обеспечить себе возможно лучшее место.



Всюду главной темой разговоров был чреватый событиями завтрашний день, хотя мнения и взгляды этой многотысячной толпы были различны. В одном месте держали пари о результатах боя гладиаторов; в другом разговор вертелся около добавочного акта зрелища «Лев и христиане». Одни вслух высказывали желание, чтобы император разрешил христианам, для продления боя, выйти на арену всем вместе, и притом вооруженными, тогда как другие находили более интересным, если они будут выводимы по одному человеку и оставляемы глаз на глаз со свирепым зверем. Но не нашлось ни одного человека, который бы выразил приговоренным к такой ужасной смерти христианам хотя бы малейшее чувство сострадания.

Вся эта уже накануне представлений собравшаяся здесь толпа народа состояла почти исключительно из людей низшего сословия. Тут были шерсточесы, красильщики, кожевники и, наконец, каменоломы, выламывавшие в каменоломнях окрестных холмов так называемый туф — камень, из которого строились здания Рима. Эти-то каменоломы держались ближе всех к обиталищу могучего льва, но когда они узнали, которая из многочисленных клеток амфитеатра служит местом заключения для арестованных христиан, то многие из них стали тихонько, осторожно поглядывая по сторонам, прокрадываться к тому месту, где находилась эта клетка.

Когда в одном из отдаленных мест они заметили то, что искали и, оглядевшись кругом, удостоверились, что уход их остался незамеченным, они с теми же предосторожностями и быстро направились к крепко обрешеченной двери тюрьмы христиан, подойдя к которой один из этих людей тихо, но отчетливо прошептал:

— Мужайтесь, дорогие братья и сестры! Господь не оставит вас! Он близок к вам!..

— Воистину близок! Ближе льва, на растерзание которого мы обречены, и той толпы, которая так жаждет этого зрелища!.. — был радостный, уверенный ответ заключенных. — Господь так близок к нам, что Своим чудесным присутствием освещает нашу темницу…

— Хвала Господу! — произнес кто-то из друзей христиан, тесно прижавшихся к решетке клетки, чтобы лучше слышать слова узников.

Пока происходил этот обмен приветствий и ободрений между единоверцами, один из каменоломов спешно удалялся от клетки, чтобы сообщить остальным своим собратьям, бывшим в толпе, что они нашли тюрьму страдальцев-христиан.

Тем временем масса народа, двигавшаяся по дороге к Колизею, постепенно увеличивалась, и,

несмотря на давно наступившую темноту, шум и говор не смолкали.

В описываемое нами время взгляды римлян вообще сильно разнились, тем не менее мнения их о Марке Аврелии[5] были во всем солидарны: каждый превозносил нового императора, который, принимая императорский титул, обещал исполнить желание народа — уничтожить христиан.

Все так были заняты беседой на эту тему, что никто не заметил, как небольшая группа серьезных, шепчущихся между собою людей пробиралась сквозь густую толпу народа, чтобы затем, под прикрытием стен и сводов зала, незаметно достигнуть Колизея. Но их тянуло не туда, откуда раздавался бешеный рев льва, — о, нет! — их притягивала какая-то особенная сила туда, к той темной клетке, из которой раздавались совсем другие звуки, — звуки чудного пения, оглашавшего спокойный вечерний воздух. Это было пение заключенных в клетке христиан. Тихо звучали из-за железной решетки пониженные голоса поющих, но настолько, однако, громко, что легко достигали ушей спешивших сюда людей.

Лишь только подошли они к этому злополучному месту, как тотчас же присоединились к трогательному гимну. Среди находившихся около клетки друзей христиан был и благочестивый епископ Виктор, который по окончании пения встал возможно ближе к решетке, чтобы сказать заключенным братьям и сестрам несколько слов утешения и вселить в них надежду па помощь свыше. Если бы он стоял и дальше от решетки тюрьмы, то и тогда от слушающих его внимательно узников не ускользнуло бы ни одно слово ободряющей их его проповеди.

Хотя это и не было обыкновенное напутствование, ибо оно относилось к мученикам, которым предстояло сначала быть мишенью всяческого поношения и презрения многотысячной толпы (а это уже одно само по себе являлось достаточным мучением и могло заставить содрогнуться даже самое черствое сердце), а затем уже подвергались такой ужасной смерти, как растерзание лютым зверем, тем не менее собравшиеся у темницы завидовали участи узников, когда услышали пламенное красноречие благочестивого епископа, проповедовавшего заключенным о нетленной славе пострадавших за веру Христову и принявших мученический венец.

Едва умолк проповедник, как снова раздалось бодрящее душу пение, и только уже по окончании его епископ мог начать отходную молитву.

С взором, устремленным на небо, и воздетыми руками он искренно молился о братьях и сестрах во Христе, которым предстояло завтра умереть во славу Господа такой ужасной смертью. Он молился, чтобы Господь вооружил их терпением; чтобы Он замкнул пасти львам, или избавил их от мучительных страданий, послав скорую и легкую смерть, и удостоил их увидеть царство Его, царство славы и вечного света…



Но не только об обреченных на мученическую смерть христианах молился епископ, — он молился также и за врагов, неистовый крик которых был слышен даже и в этом отдаленном уголке. Молился и за разъяренную толпу, с бешенством требовавшую христианской крови, жаждавшую ее нисколько не меньше, чем самый лютый кровожадный зверь.

О, как просил епископ Виктор Господа об обращении гонителей в христианство; просил Его, чтобы Он помог им познать Его и послужить Ему!

С каким жаром молился он, чтобы хоть на одного из тех, которые будут завтра свидетелями смерти христиан, могущество и сила веры этих страстотерпцев произвели неизгладимое впечатление, и из врага и преследователя он сделался бы их братом во Христе, истинным членом церкви Христовой.

Наступила полночь.

С тихого голубого небесного свода мириады звездочек освещали собрание христиан, которое не только умножилось числом, но и вдохновилось чистыми, искренними молитвами епископа. Всякий страх о могущих быть последствиях этого полуночного сборища исчез; каждый чувствовал в себе такой подъем духа после успокаивающего душу пения и могущественных речей и молитв епископа, что с радостью поменялся бы местом с заключенными или пошел бы вместе с ними на предстоявшие им страдания и смерть, ибо все они, несмотря на то, что были презираемы многими тысячами людей и считались самыми отъявленными негодяями, находились теперь в ожидании той счастливой минуты, когда души их должны были переселиться в вечное царство Бога живого, пролившего кровь свою за грехи всего человечества.

Под гнетом пережитых нравственных душевных страданий за участь своих собратьев, со сдерживаемыми рыданиями стали расходиться собравшиеся у клетки христиане, но не успели они сделать и нескольких шагов, как вслед уже им послышались оттуда слова утешения и наставления — не огорчаться разлукой с ними и не убиваться, а оставаться твердыми и непоколебимыми в вере, смело глядеть грядущему в глаза и прибегнуть за помощь к Тому, Кто может смягчить всякую скорбь человеческой души. И те, которые начинали чувствовать слабость, свойственную всем людям в такие тяжелые минуты, снова ободрялись и приходили в себя при этих напутственных речах.

Быстро протекли сладкие минуты свидания и наступил час разлуки… Поклоны и поручения далеким родным и друзьям, просьбы и пожелания были выслушаны от заключенных, и последовало последнее прощание.

Так как находившиеся в клетке не могли видеться со своими друзьями, стоявшими вне ее, — это радостное свидание должно произойти только там, пред престолом Всевышнего, — то пока друзья узников расходились, последние могли только обменяться с ними еще несколькими теплыми словами, дышавшими искренней, чистой, братской любовью, какой могли быть наполнены только сердца истинных последователей Божественного Учителя.

Утренняя заря возвестила страдальцам и явившимся утешить их друзьям о наступившем роковом дне.

Молча, понурив головы, отходили от клетки последователи Христа. Некоторые из них намеревались было позже, не щадя своей жизни, смело, возможно ближе, пробраться к самой арене, чтобы сказать своим друзьям последнее «прости» в минуту скорбной смерти, но епископ нашел это неуместным, а потому все они тихо разошлись по домам, чтобы снова приняться за свои ежедневные занятия, молясь о ниспослании терпения страдающим братьям.

Как уже было сказано выше, многие из этих людей были каменоломы, которые доставали громадные каменные глыбы из-под земли, вследствие чего образовались длинные и глубокие извилистые подземные ходы и пещеры, прославившиеся впоследствии под именем «катакомб». Катакомбы эти во времена язычества, да и позже, служили местом погребения трупов умерших родственников беднейшей части населения вечного города, которое не имело возможности, как это делали знатные и богатые граждане Рима, расходовать больших сумм на их сожжение. В одной из таких пещер в описываемое нами время была устроена христианами церковь, в которой они относительно спокойно отправляли свои богослужения, собирались для назидательных бесед и укрывались от своих преследователей — гонителей веры Христовой, не боясь быть открытыми, так как найти дорогу в извилинах подземных ходов этих катакомб могли легко только работавшие в них каменоломы-христиане.

В то время как в городе повсюду развевались флаги и раздавались возвещавшие начало зрелищ трубные звуки, христиане, удалясь в свою подземную церковь, сообща усердно молились Господу, чтобы Он смягчил сердца императора и его подданных и обратил их на путь познания истинного Бога, отрекшись от своих мертвых идолов, а приговоренным к мученической смерти собратьям послал бы силу и крепость вынести до конца испытание.

Глава II. В Колизее

Лишь только первые лучи утреннего солнца осветили колоссальную статую Аполлона, как уже по улицам города спешно-суетливо задвигались роскошные носилки с пестрыми шелковыми занавесями и фантастически убранные богатые экипажи знатных граждан.

У всех была только одна забота — заранее обеспечить себе лучшее и наиболее удобное место, а потому каждый торопился, чтобы поскорее предъявить свой пропускной билет у одного из многочисленных входов в Колизей.

Однако, несмотря на содействие рабов, всеми силами старавшихся расчистить путь своим господам отчаянными криками и непрерывными размахиваниями длинными палками, которыми они бесцеремонно и без разбора задевали пешеходов, все же таки и носилки, и экипажи черезвычайно медленно подвигались вперед, до того густа была толпа.

Но вот вдали, позади величественной статуи бога Солнца, показался грандиозный амфитеатр Флавиана[6], мраморные места которого были построены террасами. Уже издали можно было заметить выделявшиеся места, назначенные для императорской семьи и сенаторов, за которыми восседали члены магистрата и знатные патриции. Затем следовали места для публики мужского пола, и только, наконец, самые верхние предназначались исключительно для дам-зрительниц, которые при свете утреннего солнца в своих пестрых нарядах походили на какую-то гигантскую клумбу с цветами.

Нигде не было такого непринужденного веселья, как в верхних рядах, где отовсюду раздавался искренний смех и безобидные шутки, сопровождавшиеся взрывами неудержимого хохота; тут и там слышались предложения держать пари, которые так обыкновенны были в то время в дамском обществе.

Не много времени понадобилось, чтобы все места амфитеатра были заполнены. С нетерпением, не поддающимся описанию, тысячи глаз были устремлены на ложу, закрытую шелковыми занавесями, в которой сегодня впервые после вступления на императорский престол должен был занять свое место Марк Аврелий.

Так как он и ранее уже сидел рядом с этим местом в качестве члена императорской семьи, то вполне понятно, что оно было хорошо известно ему. Марк Аврелий сначала был усыновлен своим предшественником, императором Антонием Пием, а затем сделался не только зятем, но и любимым верным другом его. И смерть Антония, как это было известно всему Риму, никем не была так оплакиваема, как именно Марком Аврелием, который наследовал и славу, и почести умершего.

Когда, наконец, был возвещен громкими трубными звуками приезд императора, взоры всех устремились к тому входу, откуда должен был появиться повелитель гордого Рима. Его красивое выразительное лицо с высоким открытым лбом дышало благородным спокойствием, а в умных голубых глазах можно было подметить едва уловимую грусть. Сделав несколько шагов вперед, император, как бы предугадывая желание народа, на минуту приостановился, обвел орлиным взглядом зрителей, приветствовавших его восторженными криками, и начал беседовать с одним из многочисленных своих наместников, Люцием Ферусом, и со стоявшим вблизи последнего старым римским военачальником Овидием Кассиусом.

Окончив беседу со своими сановниками, император сел на свое место, подозвал к себе юношу, державшего в руках большой исписанный свиток, просмотрел его и вытащил из-за пояса грифельную доску и грифель, чтобы во время представлений, не откладывая, делать на ней отметки обо всем, что могло привлечь его внимание.

Но вот снова раздались трубные звуки. Это был сигнал, вслед за которым на сцену вышли гладиаторы и, обойдя медленной процессией вокруг арены, остановились против места императора, громко прокричав:

— Да здравствует Цезарь! Обреченные на смерть приветствуют тебя!

Это было самое обыкновенное приветствие, с которым гладиаторы обращались к императору пред началом зрелищ.

Император, низко склонив голову, что-то писал на доске. Как, однако, были бы поражены многие из числа зрителей, если бы они узнали, что писал император в ту минуту, когда гладиаторы, прокричав свое приветствие, отошли на середину арены и готовились к поединку.

Вот что писал император на своей дощечке:

«Величайшее счастье испытывает тот человек, который умирает с сознанием, что он никогда во всю свою жизнь не лгал, никому не льстил, не был горд и не предавался излишествам. Может назвать себя счастливым также и тот, кто, умирая, чувствует отвращение ко всему житейскому».

* * *

Знаменательные слова! Ведь это писал не простой смертный, а человек, занимавший теперешнее свое положение не только вследствие благоприятно сложившихся обстоятельств в его жизни, но также благодаря и своим особенным природным способностям, которые помогли ему сделаться настоящим повелителем и властелином такого своенравного и неспокойного народа, каким был в то время народ римский…

Римлянин по происхождению, патриций, обладавший цветущим здоровьем[7], красивой и представительной внешностью, знаменитейший поэт и благороднейший монарх того времени — и все же таки этот человек чувствовал пустоту и суетность всего мирского.

Вместо того, чтобы заглушить в себе эти непрошенные, неведомые ему доселе чувства окружающей роскошью, этот благороднейший из римских императоров-язычников жаждал и искал ощупью чего-то высшего, более чистого, святого, чего земная жизнь ему дать не могла, не подозревая того, что чувства эти вселил в его сердце, без его ведома, через Духа Святого, Тот Самый незримо бывший все время возле него Господь Бог, Которого он гнал в лице христиан, заключенных теперь в душной, темной клетке и приговоренных к растерзанию диким зверем за исповедание Его Святого Имени.

Но познает ли когда-нибудь Марк Аврелий того Бога, к Которому он теперь бессознательно простирал руки? Признает ли он тех посланников Господа, с чисто детскою радостью готовящихся еще сегодня расстаться с земной, бренной, полной сует жизнью, чтобы, славословя Имя Господа Спасителя своего, войти в Его радость, в Его вечное, пресветлое Царство Небесное, царство славы бесконечной?

Или же он будет еще ожесточеннее преследовать их, не замечая того, как они близки ему теперь по духу?

* * *

Занеся на доску свои заметки, император поднял голову и взглянул в сторону гладиаторов. Вступление к началу зрелищ было окончено, и теперь происходил примерный бой гладиаторов. Но так как бой на деревянных рапирах не мог доставить большого удовольствия зрителям, то бойцы недолго упражнялись им и вскоре перешли к настоящему поединку. Когда гладиаторам было роздано различное оружие, они приготовились бороться не на живот, а на смерть, выступая поочередно и попарно, с небольшими перерывами.

В первой паре одному из борцов были выданы сетка и копье, тогда как противника его вооружили щитом и мечом. Поединок с подобным оружием считался самым трудным.



Рис. Маргариты Мальцевой

В следующей паре выступили два грека. Их одеяние состояло только из легкого опоясания, оружием же служили тяжелые железные перчатки.

Зато третья пара выступила в настоящем панцирном одеянии, вооруженная остро отточенными мечами. Теперь уже любители сильных ощущений не могли выражать своего неудовольствия, ибо арена, посыпанная до начала зрелищ песком и опилками, вскоре покрылась кровью раненых. Публика неистово аплодировала поочередно то одному, то другому бойцу, смотря по тому, чей удар был более удачен и меток, пока, наконец, один из них, пораженный мечом своего противника, не падал замертво или же испускал дух от нанесенных ему ран; и тогда победитель был приветствуем новыми громкими аплодисментами и радостными кликами зрителей, а бой между соперниками считался законченным…

Затем с арены убирали истекающего кровью раненого или труп убитого, посыпали ее снова песком и опилками, и на нее вступала новая пара бойцов, чтобы через несколько минут один из этой пары также был унесен, как и ранее сраженный его собрат по оружию.

Как ни ужасно было такое зрелище, тем не менее тысячи самых нарядных, знатных дам Рима с большим интересом следили за каждым движением окровавленных бойцов, и даже дети хлопали в ладоши при виде облитых кровью трупов гладиаторов.

Впрочем, удивляться этому нечего, так как это было совершенно в духе жестоких нравов того времени.

Только один император, казалось, если не совсем, то во всяком случае очень мало обращал внимания на зрелища. В силу своего общественного положения, обязывавшего его присутствовать на этих зрелищах, он не мог не явиться сюда, но мысли его были заняты в ту минуту более содержанием книги, которую его паж прочитывал ему ежедневно утром, чем боем гладиаторов.

Что же это была за книга, содержание которой было так интересно, что Марк Аврелий и здесь,

среди этой многотысячной толпы своих подданных, не мог отвлечь от нее своих мыслей?

Кто был автор этой книги, заставившей так усиленно работать мозг этого великого поэта и мыслителя?

Книга эта носила заглавие «Рассуждения Эпиктета»[8].

Несмотря на то, что автор был некогда фригийским рабом, император не стыдился черпать из этого источника и поучаться у него мудрости.

Как странно, наверное, звучали бы некоторые слова этой книги в ушах легкомысленных римлян.

Например, хотя бы следующие:

«Сразу ничего великого не достигнешь…»;

«Прежде чем полакомиться виноградом, надо, чтобы лоза сначала отцвела, а затем дала зрелый плод…»;

«Как можем мы узнать, сделали ли мы успехи в самоусовершенствовании, если наши желания, согласно законам природы, направлены к тому, чтобы быть благородными, свободными, верными, уступчивыми; чтобы мы не желали не предназначенного нам и не боялись ничего сверхъестественного; чтобы наша жизнь была примерною в отношении справедливого и неизменного закона».

Это учение стоиков во времена глубокого нравственного падения могло служить благородным, возвышенным натурам из язычников, для которых слишком было заметно постепенное падение идолопоклонства, последней опорой, которая только и могла удовлетворить, успокоить и обновить их души, бессознательно стремившиеся, по внушению Самого Бога, к чему-то новому, к неведомому им Источнику света и высочайшей мудрости…

В то время, когда тысячи глаз были устремлены на императора, Марк Аврелий, как настоящий стоик, раздумывал о приведенных выше словах Эпиктета. Пока гладиаторы наносили друг другу смертельные удары, их повелитель ломал себе голову над вопросом: какой путь избрать для того, чтобы побороть в себе честолюбие и сделаться мудрейшим правителем и вполне благородным, с самыми чистыми помыслами человеком.

Чтобы достигнуть этой цели, самым лучшим руководством могли быть, как уже решил в уме император, «Рассуждения…» фригийского раба.

Марк Аврелий, может быть, никогда ничего и ни от кого не слыхал еще о Слове Божием. Не знал он, по-видимому, ничего и о Святом Духе, Который является не только утешителем, но и заступником и путеводителем для всех жаждущих познания Истины. Поэтому ничего нет удивительного, что при мысли о той борьбе, которая происходила теперь в его душе, задумавшийся император глубоко вздохнул…

Не было ли это признаком того, что неведомый ему Дух Святой незримо витал около него и направлял все его помыслы к тому, чтобы он мог служить добрым примером для своих подданных?

Благородный император храбро боролся со своим собственным «я», напрягая все усилия к тому, чтобы уничтожить в себе врожденные пороки; но так как он еще не знал Истинного

Света, Спасителя мира, сошедшего с небес и крестными страданиями Своими и смертью искупившего грехи всего человечества, то он и блуждал еще в потемках, считая слепцами тех, у кого уже светился в душе настоящий Свет Истины…

Но вот бой гладиаторов окончился.

Мертвые и раненые бойцы были быстро удалены с арены, и ее снова посыпали свежим песком и опилками. Пока производились эти приготовления к новым зрелищам, публика стряхивала пыль со своих платьев, и все старались устроиться возможно удобнее, чтобы потом спокойнее и с наслаждением заняться созерцанием предстоящего, давно ожидаемого, интересного акта зрелища.

Между тем император покинул Колизей, и его место занял префект, добившийся в день вступления Марка Аврелия на престол приговора христиан к смерти, если они не согласятся снова поклониться прежним их богам и не отрекутся от новой религии.

Тем временем заключенные в своих мрачных кельях христиане, подкрепив себя молитвами и Словом Божиим, которое они не только хорошо изучили и запомнили, но и в сердцах своих запечатлели, стали славословить Имя Господне песнопениями. Как вдруг двери темницы, на которую были устремлены тысячи людских взоров, моментально раскрылись. Заключенные на несколько мгновений были ослеплены быстрым переходом от мрака к свету.

Бывшая в числе заключенных в темнице молодая женщина, по имени Мелита, тихо вскрикнула и бросилась к своему мужу, как бы ища у него защиты.

С невыразимой скорбью взглянул страдалец-муж на бледное, испуганное лицо своей исстрадавшейся любимой жены и, нежно обняв ее, шепнул ей:

— Мужайся, Мелита! Закрой твои глаза и приклони свою голову на мое плечо! Господь Бог пошлет тебе ангела-утешителя, который на крыльях своих отнесет тебя в царство Его небесное…

— Господи Боже наш, да будет воля Твоя святая! — проговорил он, выступая вслед за стариком-отцом своей жены.

Твердой поступью направился убеленный сединой почтенный старец на середину арены и взглянул открытым, бесстрашным взором на префекта.

Страх Мелиты при виде такого множества лиц прошел быстро. Прижавшись к своему мужу, она смело последовала за ним, чтобы соединиться со своим отцом.

Когда двери тюрьмы закрылись, среди публики раздался громкий ропот неудовольствия на то, что вместо назначенных шести, на растерзание льву вывели только трех христиан, которые стояли так невозмутимо спокойно перед префектом, точно они не были приговорены к этой ужасной смерти…

Вид этой слабой, хрупкой женщины, казалось, тронул еще не совсем очерствевшее сердце облеченного почти неограниченною властью префекта. Встав со своего места, он громко обратился к Мелите:

— Полагаю, что ты перестанешь упорствовать и не будешь настолько безумна, чтобы решиться добровольно подвергнуть себя пытке и растерзанию диким зверем! Подумай, еще есть время!..

— Благородный префект! Моя жена твердо решила умереть за веру в Господа нашего Иисуса Христа! — торопливо ответил за Мелиту ее муж.

— Еще раз говорю вам: образумьтесь! Я еще могу освободить вас, если вы согласитесь принести жертву богам Рима, которым поклонялись ваши деды и отцы, и гнев которых вы вызвали вашим упрямством!

— Нет, этого мы не сделаем никогда! — твердо ответил старик, отец Мелиты. — Бог, которому мы служим и поклоняемся, воспрещает нам поклонение идолам!..

— Честь и слава и поклонение Господу Богу нашему Иисусу Христу и Святому Духу отныне и до скончания веков!.. — заключил старик.

— Ко львам христиан! — раздался неистовый, дикий крик тысячи голосов.

Приподняв высоко над головой руку, префект строго взглянул в сторону раздавшихся криков. Жест этот понят был герольдом[9], как приказание заставить нетерпеливых зрителей замолчать. Через несколько секунд спокойствие в рядах, откуда раздались крики, было восстановлено.

По приказанию императора префект должен был употребить все усилия, чтобы спасти этих, по его мнению, глупых и упрямых людей, поэтому, по водворении тишины, префект снова обратился к христианам:

— Можете быть уверены, что Христос, Которому вы поклоняетесь, наверное, не спасет вас от когтей львов!

— Он уже спас нас от вечных мук в аду, Своими страданиями и смертью искупив наши грехи, и, надеемся, не лишит нас Своего Небесного Царствия, — ответил отец Мелиты. — Не старайся смутить нас, ибо мы не отречемся от Того, Кто душу Свою положил за нас, недостойных, и избавил от когтей дьявола. Никакие силы ада не заставят нас поклониться идолам, которых вы называете богами!.. Львы могут растерзать наши бренные тела, души же наши отойдут к Богу!.. Христос, истинный Бог наш, с нами, и нам не страшны когти лютых зверей!..

— Ко львам их! Ко львам! Они оскорбляют наших богов! — снова раздались крики зрителей, жаждавших кровавых зрелищ.

— Довольно! — проговорил не без досады префект. — Боги могут засвидетельствовать, что я желал их спасения, и с особенным удовольствием отменил бы наказания, к которым они приговорены, если бы они согласились поклониться нашим богам! Но, видно, старания мои напрасны! Они должны умереть! Они должны умереть, если мы не желаем быть свидетелями падения Рима! Упрямством своим христиане навлекли на себя и на нас гнев богов, пославших нам гибельное наводнение Тибра!

— Смерть христианам... — вскрикнул он.

— Смерть христианам...

— Ко львам их! Этого требуют наши боги! — раздалось из мест, расположенных вблизи императорской ложи.

Префект сделал знак рукою, и дверца львиной клетки моментально растворилась...

С диким ревом, с всклокоченною гривой и сверкающими от ярости и голода глазами, на арену выскочил громадный лев, которому в течение двадцати четырех часов не давали ничего есть. Завидев такую массу людей, свирепый хищник, как видно, был на минуту ошеломлен. Не сразу заметив своих жертв, лев бросился сначала по направлению к местам зрителей и сделал гигантский прыжок, стараясь перепрыгнуть через высокую стену, отделявшую его от зрителей. Потерпев неудачу, зверь, дико ревя, обежал несколько раз вокруг арены.

Но вот он, не спуская со зрителей глаз, приостановился и насторожился… Очевидно, какое-нибудь легкое неосторожное движение или какой-нибудь звук со стороны стоявших посреди арены христиан привлек его внимание… И он с оглушающим ревом бросился на беззащитных, безоружных мучеников, ускоряя свой бег.

Несчастная Мелита упала в обморок, как только лев был выпущен на арену, и это избавило ее от лишних страданий. В то время, когда лев готовился сделать на нее прыжок, избрав ее своей жертвой, отец Мелиты, со сложенными молитвенно руками и поднятыми к небу глазами, стоял на коленях и молился:

— Отче наш, сущий на небесах… Да будет воля Твоя!.. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим! Прости им, Господи, прости, ибо не ведают, что творят!

Броситься на находившуюся в обмороке Мелиту и растерзать ее по частям на клочки на глазах ее любящего, верного мужа и отца для голодного дикого зверя было делом одной минуты. Когда муж увидел, что его любимая жена была уже избавлена от всяких мучений, на лице его появилась блаженная улыбка, и он, воздевая руки и глаза к небу, спокойным, твердым голосом проговорил:

— Благодарю Тебя, Господи, что ты услышал молитву мою!.. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?

И когда кровожадное животное бросилось уже на него, из уст его послышались слова:

— Господи, прими мой дух!..

Еще несколько минут — и все было кончено…

На покрытой кровью арене видны были только растерзанные человеческие тела да разбросанные клочья одежды пострадавших за веру Христову мучеников, души которых переселились в тот лучший из миров, где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная; где вечно сияет Солнце Правды и где сонм ангелов вечно славословит Творца неба и земли и всего сущего; где песнопениями ангелов Господних услаждают слух свой праведники, радуясь вечной славе Пресвятой Троицы.



Глава III. Патрицианки в катакомбах

Прошло несколько месяцев со времени только что описанных нами событий, в течение которых в Колизее очень редко происходили зрелища. Царственный город с его окрестностями так много перенес невзгод, что даже самые легкомысленные римляне принуждены были подумать о более существенном и более важном, чем увеселения.

Тибр снова вышел из берегов… Наводнением этим были превращены в развалины все дома, расположенные в нижних частях города, где ютилась беднейшая часть населения Рима. Унесло мосты, разрыло виноградники и смыло с полей хлеб. Но этим еще не кончались бедствия. Пышный город готовился к встрече нового врага: лютый голод со всеми его ужасными последствиями должен был вскоре посетить его.

Бедняки, которые, конечно, прежде всех должны были почувствовать на себе этот перст Божий, роптали, хотя и не всегда во всеуслышание, на христиан, как на главных виновников этого нового бедствия. Небольшое общество последних вынуждено было поэтому усилить в такое тяжелое время предосторожности при своих сходках на богослужения и беседы. Только поздно вечером, когда уже становилось темно, христиане решались выходить из своих домов по два-три человека, делая большие обходы, направляясь к месту своих постоянных сходок — небольшой пещере в самой середине одного из холмов, вход в которую был скрыт густым кустарником.

Посещение этой пещеры кем-нибудь из посторонних, не посвященных в тайные входы в них, было в то время редким явлением. Поэтому ничего нет удивительного, если приход туда в один прекрасный вечер неизвестной женщины, принадлежавшей, судя по наружному виду, к числу знатных и богатых патрицианок, вызвал переполох среди христиан, собравшихся там для присутствия на богослужении.

Но друзья, которые привели ее, тотчас же постарались успокоить всех присутствовавших, ручаясь, что бояться им совершенно ничего.

— Бог услышал нашу общую молитву с пострадавшими братьями и сестрами в амфитеатре Флавиана! — сказал епископ Виктор, когда один из пришедших вместе с нею друзей объяснил

ему причину посещения патрицианкой их церкви. — Эта благородная дама была свидетельницей мученической смерти наших братьев и сестер и так была тронута силой воли и поистине ангельской покорностью обреченных на лютую смерть, что захотела поближе познакомиться с религией, в которой мы черпаем для себя в тяжелые минуты силы — терпеливо выносить до конца посылаемое нам нашим Спасителем испытание, с радостью готовые принять даже смерть!.. Она уже отчасти посвящена в эту религию своей рабыней. Теперь же у нее явилось непреодолимое желание присоединиться к нашей церкви и поклониться Тому, Кто сказал: *«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...»* (Мф. 11, 28). Да будет благословен ее приход. Аминь.

— Аминь! — повторили за ним присутствовавшие.

Когда епископ Виктор замолчал, дама сняла с себя длинную, темную верхнюю одежду, откинула густую вуаль и пред глазами присутствовавших предстала знакомая уже нам Флавия.

Хотя она была и не единственная патрицианка на этом собрании христиан, тем не менее посещение ею их церкви было для них знаменательно, так как почти все знали, что она принадлежала к знатному роду патрициев.

Но как ни велико было удивление присутствовавших, каждый старался не показать вида, что посещение это встревожило их. Ее приветствовали просто и предложили занять место между оглашенными, тогда как рабыня ее уселась среди членов собрания.

Подземная пещера с ее шероховатыми, ничем не украшенными стенами, бедно освещенная висящим светильником, спускавшимся с средины потолка на чугунной цепи, конечно, произвела своим видом странное впечатление на знатную патрицианку, привыкшую к известной роскоши и блеску. Ни алтаря, ни дорогого ковра, вообще ничего не было видно, что могло бы ей напомнить языческие храмы и находящихся в них идолов.

У грубой работы деревянного аналоя сидел убеленный сединой старец. Перед ним лежал длинный свиток. Несколько минут спустя по приходу Флавии, старец привстал со своего места. Его примеру последовали все присутствовавшие. Тогда старец, устремив к небу взоры и сложив на груди руки, начал читать молитву. Когда молитва была окончена, он стал читать Евангелие святого Иоанна, вслед за которым всеми собравшимися был пропет гимн, а затем последовал урок оглашенным. На все предложенные Флавии вопросы она отвечала, как и остальные оглашенные, с большой охотой и интересом. Общество, в которое она была введена, было самое разнообразное. Рядом со знатной дамой сидела рабыня, а около нее разбойник, еще так недавно наводивший ужас на жителей окрестных деревень и пригородных поселений и избравший себе жилищем катакомбы. Тут сидел шерсточес, а там — недавно выпущенный из тюрьмы на свободу, за отбытием наказания, преступник. Далее можно было видеть простого каменолома, — человека, который почти всю свою жизнь провел в этих подземных пещерах, ломая туф. Но все эти люди одинаково внимательно вслушивались в слова святого евангелиста, поминутно вздыхая. У многих на глазах блестели слезы.

Когда урок оглашенных был окончен, были приведены дети, которым старец стал рассказывать об Иисусе Христе, Которого в продолжение всей Его земной жизни во всех Его путешествиях по Иудее сопровождали и дети. Рассказывал, как Господь благословлял детей и требовал от народа, отгонявшего их от Него, не возбранять им приходить к Нему поучаться.

По отпуску оглашенных, Флавия спустила на лицо покрывало, накинула на себя свою одежду и удалилась из церкви в сопровождении того же человека, который привел ее туда; он освещал ей путь, идя с фонарем впереди. Неохотно покидала она место, где душа ее так укрепилась и

успокоилась под влиянием Слова Божия. Она хотела бы никогда не покидать этого места и вечно слушать целительным бальзамом лившееся на ее больную душу это Слово Божие. Неизвестно, скоро ли она будет в состоянии снова доставить себе эту благодатную радость, ибо посещение христианской церкви было сопряжено для нее с большими опасностями!..

Пустая подземная пещера казалась теперь возвращавшейся патрицианке настоящим раем, и ее уже нисколько не пугало то обстоятельство, что место это, служа церковью и убежищем для христиан, было вместе с тем и кладбищем.

При проходе извилистыми галереями, направо и налево им то и дело попадались по пути бесчисленные ниши, служившие гробницами умершим. Множество надписей, высеченных на рыхлом камне, указывали, что здесь мирно покоятся до великого дня Страшного суда многие христианские мученики, прославившие своими подвигами имя Господне.

Молниею промелькнули у нее в уме воспоминания об ужасном зрелище в Колизее, и хотя только благодаря виденному ею там свершился переворот в ее жизни, все ж таки она не могла без содрогания вспомнить обо всем происшедшем в тот роковой день на ее глазах.

Бесстрашно следовала она за проводником длинным лабиринтом подземных ходов, пока не вышла в соседний сад, где, прикрытая зеленью дубов и осиновых деревьев, находилась спускная секретная дверь, закрывавшая вход в катакомбы. Но выйдя на свет Божий, она насторожилась, так как, во-первых, не редки были случаи, что по дороге между небольшим лесом и заселенною частью города происходили грабежи, и даже убийства, чуть не среди белого дня; а во-вторых, опасность еще и тогда не миновала совсем, когда она уже вступила в лучшую часть города, ведь она легко могла быть узнана здесь кем-нибудь из равных ей по положению, которые, как нарочно, в этот вечер особенно часто встречались ей на пути. Дорога, ведущая в императорский дворец на Палатинском холме, где должно было происходить торжество, устроенное царицей Фаустиной[10] в честь двух близнецов-принцев, родившихся несколько недель тому назад, была очень оживленна.

Флавия была также приглашена на это празднество, так как муж ее, Фламинус, с недавнего времени приближен был к себе императором и числился у него в службе. Вследствие этого он должен был покинуть свое прежнее жилище, тихую виллу в долине Арике, и переселиться во флигель у «Золотого дворца», построенного Нероном. Но так как Фламиниуса не было в то время в Риме, то жена его, вместо того, чтобы присутствовать на императорском пиршестве, воспользовалась случаем и посетила богослужение христиан, к церкви которых она надеялась быть вскоре присоединенной.

Хоть бы скорее добраться ей до дому и миновать опасность! Как ни плохо были освещены улицы, все ж таки легко можно было заметить быстро идущую, закутанную во все черное, чтобы не быть узнанной, женскую фигуру. Многие горожане, проходя мимо нее, приостанавливались и окидывали ее любопытным взглядом.

Многочисленные нищие, протягивавшие своих голодных, исхудалых и искалеченных детей к богатым прохожим, в надежде возбудить в них больше жалости, беспрестанно преграждали ей путь.

На душе ее было нехорошо. Ей было теперь не до ложного блеска; она видела, как жестоко был наказан ее родной город! А об этом красноречиво говорили бледные, с впавшими глазами лица тысяч жителей города.

Какой контраст между этой голодной толпой и блестяще освещенным императорским дворцом

с его тысячными мраморными статуями и тройными портиками, с его прекрасными, далеко тянувшимися аллеями, начинавшимися у самого подножия холма!

С одной стороны блеск и роскошь, с другой — вопиющая нищета, и так непосредственно близко одна к другой. Неудивительно, что благородный император, всегда озабоченный, как бы смягчить, по силе возможности, ужасное положение своих подданных, иногда с отчаянием смотрел на ту задачу, которую ему предстояло решить. Вполне понятно, что при таком положении вещей ему необходимо было усилить надзор за теми элементами, которые одинаково были вредны как для богатых, так и для бедных жителей города.

Естественно, что Флавия очень боялась, что и ей не легко будет пройти незамеченной в свою квартиру, но, сверх всякого ожидания, дело обошлось вполне благополучно, и она без особенных приключений добралась до своего флигеля.

Во внутренних покоях Флавию встретила Сисидона, с удивлением и тревогой взглянув на вошедшую сестру.

— Что случилось, моя дорогая Флавия? — спросила она, быстро подойдя к ней и обняв ее.

Флавия, стараясь улыбнуться и казаться спокойной, в свою очередь удивленно спросила Сисидону:

— Что ты так взволнована сегодня, моя милая сестренка?

— Наоборот, сестра, не я, а ты, мне кажется, чем-то напугана! Не старайся скрыть… Я вижу это по твоему лицу, — было ее ответом. — Может быть, на празднестве случилось что-нибудь неприятное?

— Я не была на празднестве, — ответила Флавия, покраснев и отводя свой взор в сторону.

— Не была на празднестве… — как эхо повторила за нею младшая сестра.

Только сейчас заметила она, что на Флавии не было ни одного драгоценного украшения и что она стояла перед ней в том же платье, в каком была утром.

Удивление сестры было вполне понятно для Флавии, но она не могла придумать предлога, которым могла бы объяснить свое отсутствие в такую пору.

— Не спрашивай меня, где я была, — не без смущения ответила она. — Мало-помалу ты все узнаешь.

— Но что скажет императрица, когда узнает, что ты не была на ее празднике? — спросила Сисидона после некоторой паузы.

— Отсутствие такого незначительного гостя, как я, она, наверно, и не заметит, — ответила Флавия.

— А здоровы ли дети? — тихо спросила она.

— Полагаю, что да, — ответила Сисидона. — Флавина говорила мне, что с некоторых пор ты не заставляешь их молиться Ларам и Пенатам[11]. Я, конечно, настояла на том, чтобы сегодня вечером это было выполнено.

— Не настаивай опять на этом, дорогая сестра, — робко проговорила Флавия.

На лице Сисидоны выразился неподдельный ужас.

— Флавия, что с тобой?.. Зачем эти тайны?.. Я уверена, что с тобою произошло что-нибудь необычайное. Если ты не объяснишься со мною теперь же по этому поводу, то я потребую этого от тебя по возвращении Фламиниуса, — совершенно серьезно сказала она.

При этой угрозе Флавия сделалась бледна, как мраморная статуя Дианы, к которой она прислонилась, чтобы не упасть. Вся трепеща от одной мысли о предстоящем объяснении с горячо любимым и любящим мужем, гнев которого, без сомнения, должен был обрушиться на нее, как только до его сведения дошло бы, где она была, она умоляюще прошептала:

— О, Сисидона, не делай этого!

Сисидона гордо вытянулась во весь рост, откинула голову назад и с какой-то беспощадностью возразила:

— Ни одна уважающая себя римская матрона[12] не побоится сообщить мужу или сестре о своих посещениях!

— И Фламиниус, и ты, оба вы узнаете все, — с запальчивостью сказала притесняемая Флавия, самолюбие которой было уязвлено. — Но только не сегодня! Молю тебя, пощади меня только на сегодня!..

— Я не требую, чтобы ты посвящала меня в свои тайны, — ответила раздраженно младшая сестра. — Но ты должна понять, что я не могу скрывать того, что знаю, и становиться как бы твоей соучастницей, не зная, где ты была и что делала...

— Ты, значит, хочешь донести Фламиниусу, что я, вместо того чтобы присутствовать на празднестве во дворце, находилась в другом месте? — спросила испуганно Флавия.

— Во всяком случае, муж твой должен будет узнать об этом, как только вернется с императором из Лориума[13], — упрямо ответила Сисидона.

При этой вторичной угрозе Флавия, точно подкошенная, опустилась на стоявшее рядом кресло. Из груди ее вырвался сдавленный стон. Закрыв лицо обеими руками, она с отчаянием прошептала бледными губами:

— О, Сисидона, если бы ты знала, какое горе ты причинишь мне этим!

— Этого я вовсе не хочу сделать, Флавия. Наоборот, я бы хотела оградить тебя от каких бы то ни было неприятностей, — ответила Сисидона мягким тоном. — Но если ты не можешь мне сказать, где ты была сегодня, то будь хоть с Фламиниусом откровенна...

— Я не могу еще на это решиться, — отрицательно мотая головой, проговорила Флавия, — но при случае я хочу, и я должна буду сделать это, Сисидона.

— Скажи, сестра, — добавила она поспешно, — ты не выдашь меня, если я тебе во всем сознаюсь?

— Этого я тебе обещать не могу, — взволнованно отвечала Сисидона, и, бросившись к сестре, она обняла ее за шею и проговорила сквозь рыдания:

— Флавия, ты знаешь, как искренно я тебя люблю. Твой Фламиниус считает тебя за самую

нравственную, самую благороднейшую матрону во всем городе. Ты — сестра моя, и я уверена, что ты не сделала ничего такого, что могло бы опозорить наше имя…

Флавия улыбнулась и сказала сквозь слезы:

— Не сомневайся в этом, моя глупая сестрица! Сердце мое принадлежит только моему милому Фламиниусу, моим дорогим детям и единственной, верной сестре!

— Так почему же ты боишься открыть своему мужу, где ты была? — снова допытывалась Сисидона.

Чтобы избежать прямого ответа на этот вопрос, Флавия быстро проговорила:

— Садись здесь, Сисидона, я хочу рассказать тебе одну историю.

При этом она притянула младшую сестру к креслу, схватила ее руку и начала:

— Ты, наверно, сестра, не забыла того последнего зрелища в Колизее, на котором мы присутствовали?

— Но ведь в последний раз тебя там не было? — перебила ее сестра. — После того, как те упрямые христиане сделались жертвами льва, ты перестала туда ходить…

— И никогда больше не пойду туда, — ответила Флавия совершенно спокойно. — Помнишь ли ты последние победоносные слова, произнесенные мучеником-старцем? Он сказал тогда, что их Бог избавил их от вечных мук в аду, страданиями и смертью своей искупив их грехи. Я знала, что под словом «грех» подразумевалось все злое и нечестивое и все то, что делается в честь наших языческих богов. И я еще до того дня уже начала ненавидеть грех; я искала в себе добродетели, но старания мои были тщетны… Да и где мне было найти то, что я искала? Ни в нашем кругу, ни даже во всем Риме не найти этого. Истинная добродетель в нашем городе — такая же редкость, как в лунную ночь звезды на небе. И если бы сказания о делах и побуждениях наших богов были правдоподобны, — могу себе представить, какой вид должны были бы иметь тогда их жилища! У кого же другого могла я найти эту добродетель, как не у последователей учения Того Бога, Который смертию Своей избавил их от вечных мук, приняв на Себя грехи всего мира…

Точно ужаленная змеем, вскочила Сисидона со своего кресла и сказала сдавленным голосом:

— Не хочешь ли ты этим сказать, что ты ищешь этой добродетели у Бога христиан?

— Я искала и нашла ее у Него, — ответила, склонив голову, молодая христианка. — И я знаю, я верю, что Он и меня избавит от вечных мук в аду, простив мне все мои грехи!

— Флавия, ты с ума сошла! О, сестра, скажи мне, что все то, что я слышала, была простая шутка! Скажи, что я слышала это во сне… — ломая руки и громко рыдая, почти кричала Сисидона.

— Нет, дорогая моя сестра, это не сон и не шутка, — кротко, но твердо сказала Флавия. — Я — христианка и сегодня вечером ходила ходатайствовать о принятии меня в христианскую церковь.

Она готова была говорить и говорить без конца, но Сисидона уже не слушала ее, поспешно удалившись в свою комнату, чтобы дать волю своим слезам и предаться наедине отчаянью по

случаю постигшего их семью горя. Флавия же, пройдя на половину детей, долго еще простояла у их кроваток. Затем она тихо поцеловала их и в раздумье отправилась в свою комнату.



Глава IV. Исповедь

Придя в свою комнату, Флавия почувствовала потребность укрепить себя молитвой к предстоящему тяжелому испытанию. После объяснения с сестрою у нее точно гора свалилась с плеч, и ее уже не так пугала мысль, что она должна будет откровенно признаться во всем Фламиниусу. Сознание необходимости утаивать и дальше хоть что-нибудь от горячо любимого мужа было теперь для нее невыносимо.

Еще до сегодняшнего посвящения, когда она стала настоящей христианкой, ей с каждым днем становилось все тяжелее скрывать это горячее желание не только от дорогого мужа, но и от окружающих. Удивительно было то, как это он еще не открыл ее тайну!? Ведь ни одно пиршество не обходилось без того, чтобы не было испрошено покровительства и помощи языческих богов, вмешательства жрецов, без которых не обходились более или менее значительные события не только домашней, но и общественной жизни. Но до сих пор пока и Флавия, и ее рабыня Нериса избегали обнаружения несоблюдения ими языческих обрядов.

Однако, они ошибались, полагая, что этого никто из домашних не замечал. Вот и сегодня. Не успела Флавия окончить своей молитвы, как тяжелые портьеры распахнулись, и к ней вошла Сисидона.

— Флавия, я пришла сказать тебе, что о произошедшем между нами сегодня вечером разговоре я ничего не скажу Фламиниусу, — проговорила она холодно и сдержанно.

— Как только Фламиниус возвратится домой, я тотчас же сама ему во всем сознаюсь, — кротко сказала, покраснев, Флавия. — Я не могу больше выносить такой таинственности. Я не могу дальше так бесполезно и вероломно скрывать, что я уверовала в истинного Бога, Бога живого…

— Подумала ли ты вообще при этом о твоем муже? — спросила ее Сисидона все тем же холодным тоном.

Вместо ответа Флавия, любящая жена, только склонила голову, закрыв лицо обеими руками. Грудь ее высоко вздымалась и, наконец, она со вздохом произнесла:

— О, сестра моя, что мне делать? Мой бедный, дорогой муж! Что скажет он, когда услышит мое признание?

— Я вижу, что ты еще не совсем стала бессердечной, что тебя боги еще не совсем покинули, — заметила Сисидона. — Так как вся эта история пока еще тайна между тобою и мною, то твоего мужа можно было бы избавить от горя, которое ему причинит известие, что его нежно любимая жена, самая нравственная матрона Рима, приняла религию злополучных христиан, скрывающих за своей верой грубую суровость и другие, еще худшие недостатки, которые…

— Нет, Сисидона, это обвинение ложно, — перебила ее Флавия. — Все христиане, несмотря на то, что большинство из них очень бедны, ведут самую безупречную жизнь. Не гнушаясь бедностью своих единоверцев, они протягивают один другому руку помощи гораздо в большей степени, чем это можно себе представить.

— Ты, кажется, твердо решилась сделаться христианкою? — с тоном неподдельного сожаления спросила Сисидона.

— Оно иначе и быть не может! Отныне я принадлежу им и уверена в том, что все сказанное мною в их пользу — сущая правда, — ответила Флавия.

— Ты не имеешь права так быстро и так решительно называть себя христианкой, — перебила ее сестра, — потому что ты всего только один раз была в их церкви. Ты еще не можешь быть христианкой.

— Ты отчасти права, сестра, — согласилась Флавия. — Но ведь я могла бы неоднократно бывать в их среде и все-таки упорно держаться идолопоклонства… Нет, Сисидона, я научилась любить Бога и Спасителя, Которого почитают христиане. Я верю, что Он есть истинный Спаситель мира, Который может и меня избавить от греха и всякого зла. Я люблю христиан и стремлюсь быть принятой в их общество. Мое сердечное желание — как можно больше узнать о любви Этого Спасителя, чтобы во всю остальную мою жизнь своими поступками доказать, что я одного Его люблю и Ему одному хочу служить.

— Ты все-таки, значит, намерена покинуть римских богов? — спросила Сисидона нетерпеливо.

— Они не боги, а бездушные идолы, — возразила Флавия смело.

— Об этом мы не будем теперь спорить, оставим богов в покое, — ответила Сисидона. — Но… А твой муж? Как думаешь ты поступить по отношению к нему?

— Я скажу Фламиниусу о том, что я нашла Истину, — было ее решительным ответом.

— И хочешь, чтобы его сердце надрывалось при виде, каким позором ты покрываешь не только его имя, но и детей своих и его? — сказала Сисидона уже не холодным, но ласковым, умоляющим тоном.

— О, моя дорогая Флавия! — продолжала она. — Если ты не жалеешь себя, то подумай, по крайней мере, о твоих детях. Подумай, какой позор их ожидает, когда все узнают, что их мать — христианка.

Слыша эти увещания, Флавия, как любящая мать с минуту не могла произнести ни слова. Но когда она подавила в себе душевное волнение и набралась сил, то заговорила голосом, в котором ясно слышалась тяжелая внутренняя борьба.

— Я меньше всего думала о себе… Все мои мысли были около них, — моем милом Фламиниусе и моих дорогих детях… А между тем из сердца моего никогда не выходил Спаситель, Который умер для того, чтобы спасти их и меня. Подумай только, Сисидона, Он умер, чтобы спасти всех

нас: и тебя, и меня, и Фламиниуса, и мою маленькую Фламину, и моего крошку Кассиуса, и всех людей вообще, хотя об этом никто из нас до сих пор не знал и о смерти Его не скорбел… Как же я могу не любить Его и не рассказывать вам о Его любви?

— Ты бесполезно расточаешь мне эти бессмысленные слова! — возразила Сисидона. — И я уверена, что Фламиниус посмотрит на твои затеи такими же глазами, какими смотрю и я. Поэтому советую тебе от души — раз и навсегда забыть те глупые россказни, которыми тебя так ослепили эти ненавистные христиане. Умоляю тебя: избавь твоего мужа от стыда и горя, которые ты можешь причинить ему признанием, что ты присоединилась к секте беспутных христиан…

Флавия удивленно взглянула на сестру. Слова Сисидоны так жестоко, так холодно и бессердечно звучали в ее ушах, что она не хотела верить, что это говорит ее добрая, искренне любящая ее сестра.

— Повторяю тебе, Сисидона, что как только приедет Фламиниус, я тотчас же сообщу ему обо всем сама и ни йоты не утаю от него, — сказала решительнее Флавия, в душе которой страх у ступил место полному спокойствию с той минуты, как она открылась сестре.

— Если ты сама не чувствуешь к себе ни малейшей жалости, то да смилостивятся над тобою боги!.. — проговорила Сисидона, тяжело вздохнув, и быстро удалилась из комнаты сестры.

С поникшей головой Флавия тихо направилась к своей постели и, медленно раздевшись, улеглась… Но, как и следовало ожидать, сон ни на минуту не смежал ее глаз, и она провела томительно бессонную ночь.

Она прекрасно сознавала, что Сисидона нисколько не преувеличивала последствий от ее признания Фламиниусу. Тем не менее она твердо решила сделать этот роковой шаг, и чем скорее, тем лучше, даже если бы сердце ее перестало работать от того горя, которое она могла причинить одному из самых дорогих и верных ей людей.

Одно ей делалось все яснее при всех ее душевных страданиях: что теперь уже она не может и не смеет сойти с этого узкого пути, по которому пошла, если бы даже этот путь привел ее к преждевременной могиле.

— О, какими терниями усеян путь, ведущий в Царствие Небесное! — прошептала она. — А между тем, что такое мои страдания в сравнении с тем, что выносят другие христиане ради Его Имени?!

Хотя она не имела еще ни малейшего понятия о том, какой тяжелый, полный душевных страданий путь ей предстоял впереди, но она чувствовала, как нелегко будет нести предназначенный ей крест Христов, пока, наконец, она достигнет венца славы!..

Какая это была ужасная, длинная без конца ночь!..



* * *

Несколько дней спустя Фламиниус вернулся из Лориума. Так как ему сразу же бросилось в глаза, что в доме что-то произошло в его отсутствие, то он с тревогой осведомился о детях.

Флавия успокоила его, сказав, что дети здоровы и все время с нетерпением ожидали его приезда.

Да и она сама так сердечно обрадовалась возвращению мужа, что в момент его появления даже забыла о предстоящей ей тяжелой исповеди пред ним.

— А ты, моя дорогая Флавия! Здорова ли ты? — нежно спросил Фламиниус. — Я слыхал, что ты не была на празднестве императрицы…

Флавия смущенно покраснела.

— Я не была на этом торжестве потому… Потому, что я была в другом месте… — медленно, едва слышно, ответила она, точно кто-то сдавливал ей горло.

При этом ответе Фламиниус с удивлением взглянул на нее.

— В другом месте? — повторил он с тревогою в голосе. — Объясни, Флавия, что это за место, которое ты не хочешь мне назвать? — продолжал он уже не тем ласковым тоном, каким он имел обыкновение говорить с нею.

Флавия как-то бессильно опустилась на подушку у его ног и положила свою голову ему на колени.

— Я тебе все скажу, Фламиниус, — дрожащим голосом ответила она, — только имей терпение…

— О, Фламиниус, сжалься над твоей бедной Флавией! — добавила она умоляюще, закрывая лицо руками и тихо плача.

Удивленный муж едва верил своим ушам.

— Римская матрона просит своего мужа сжалиться над нею? — вскрикнул он в изумлении.

Склонившись над Флавией и осторожно положив свои руки на ее голову, он прибавил ласковым тоном:

— Ты, наверно, больна, милая Флавия… Твое сострадательное сердце не может спокойно относиться к известиям о бедствиях, постигших за последнее время римлян, живущих вблизи Тибра. Но, дорогая моя, будь веселее: бедные имеют в лице Марка Аврелия не только императора, но и друга и отца.

— Хотя я много думала об этих бедствиях, Фламиниус, но я думала также и о многом другом, — ответила она боязливо. — Верь мне, что многие в нашем положении беднее тех, которых мы считаем наибеднейшими…

— Помнишь ты тех христиан, — продолжала она едва слышно, — которые были брошены на растерзание львам? Хотя мы их и считали негодными людьми, но они принадлежали к благороднейшим, наилучшим людям Рима…

Уже при первых словах напоминания о христианах Фламиниус отдернул свои руки от головы Флавии, и когда она умолкла, он спросил ее строгим тоном:

— С кем ты беседовала об этих ужасных, отвратительных отступниках?

— Я познала истину, которая учит их любить ненавидящих их, — уклончиво ответила Флавия.

Произнося эти слова, она старалась не глядеть на мужа, чтобы не видеть, какое впечатление произвели на него ее слова. Но и не глядя на него, она чувствовала, какой ужас выражался на лице беспредельно любящего ее мужа. А он, между тем, молча сидел, судорожно сжимая губы, как бы желая задержать готовый вырваться наружу звук, который мог выдать его внутреннюю борьбу.

Со скрещенными на груди руками, без малейшей тени участия, выслушал он то, что Флавия несколько дней тому назад говорила своей сестре. Когда же она, наконец, решилась взглянуть на горячо любимого мужа, искаженное лицо его выражало неподдельный ужас.

Бросившись к нему на грудь, Флавия, глубоко потрясенная его видом, вскрикнула в отчаянии:

— О, мой дорогой Фламиниус, как христианка я буду еще больше, еще сильнее любить тебя!.. Отныне я буду тебе еще более преданной, любящей женою, чем была до сих пор!

Мягко, но решительно отстранил Фламиниус от себя жену, произнеся совершенно упавшим, слегка дрожавшим голосом:

— У меня нет более жены!.. Моя Флавия не была христианкой… Она была благородная римлянка…

С этими словами он встал со своего места и твердой поступью вышел из комнаты, оставив Флавию в состоянии, не поддающемся описанию.

Сколько времени пробыла она здесь и как добралась до своей комнаты, она и сама не могла дать себе отчета в этом. Когда же вскоре вошла к ней рабыня ее Нериса, чтобы приготовить ей

ванну, она нашла свою госпожу распростертой на кровати, с которой она не в состоянии была даже приподняться.

Нериса легко догадалась о случившемся в доме и, прикладывая холодные компрессы к пылавшей голове своей доброй госпожи, как могла, утешала страдалицу.

— Благородный Фламиниус сжалится над моей доброй госпожой… — говорила она ей. — Господь внушит ему добрые мысли и направит его на путь истинный… Он и сам также сделается христианином…

Флавия тяжело вздохнула.

— Я очень слаба, — сказала она грустно. — Я иногда даже боюсь, что отрекусь от моего Господа и Спасителя!

— Именно для слабых всегда открыто сердце Господне, и Он во всякое время готов оказать им поддержку, — утешала ее Нериса. — Именно для слабых, убогих и угнетенных сошел на землю Иисус Христос, чтобы Своим примером показать им, с каким терпением и кротостью должны они переносить испытания Господни. А для вразумления их Он творил и будет творить великие чудеса.

В то время каждый христианин глубоко верил, что Иисус Христос всегда пребывал среди Своих последователей, готовый поддержать в трудную минуту искушаемого, поэтому и Нериса нисколько не тревожилась относительно твердости веры своей госпожи. Она была даже уверена в том, что и ее господин со всей остальной семьею обратится в христианство.

Мало-помалу Флавия успокоилась и после некоторого сравнительного отдыха она почувствовала себя настолько хорошо, что решила выйти в столовую к ужину.

Хотя в столовой кушанья уже были поданы, к ее удивлению, к столу вышла только одна Сисидона, которая на вопрос Флавии, где Фламиниус, коротко и сухо ответила, что Фламиниус отправился к императору.

В продолжение всего ужина сестры не обменялись больше ни одним словом. В присутствии прислуживающих рабов ни одна из них не решилась завести разговор о мучительном для них обеих вопросе: какое действие произвело на Фламиниуса признание Флавии. Но как только сестры остались одни, Флавия, желая нарушить томительное молчание, объявила Сисидоне, что Фламиниусу все уже известно.

— И у тебя хватило духа так безжалостно поразить одно из самых благороднейших сердец Рима? — возмутилась Сисидона. — И все это наделали эти мерзкие христиане! Что может быть хуже этих подлых отвратительных богоотступников?!

— Надо было ожидать, — ответила кротко Флавия, — что Фламиниус останется недоволен этим, но я надеюсь убедить его в том, что я, как христианка, буду ему и лучшей женою и более заботливой матерью, терпеливо перенося посылаемые мне Господом испытания, и буду меньше жаждать светских удовольствий и наслаждений…

Сисидона, бывшая последние дни особенно какой-то молчаливой, сделала только нетерпеливое движете плечами, как бы желая этим сказать, что она не имеет ни малейшего желания вступать с сестрою в какие бы то ни было споры по этому вопросу, порывисто встала из-за стола и молча удалилась.

Несмотря на такое отношение к ней сестры, Флавия была сравнительно спокойна. Грустно поглядев вслед удалявшейся Сисидоне, она не торопясь направилась из столовой к длинной галерее, чтобы пройти по ней в детскую и помолиться там у кроваток своих деток, поцеловав и благословив их.

Обыкновенно, по окончании ужина, ее ожидала в галерее прислуга, чтобы освещать ей путь, идя вперед с лампой. Но сегодня, очевидно, рабыня забыла свои обязанности: ее не было на месте.

Не желая беспокоить прислуг, она пошла по темной галерее без провожатой.

Но какое перо может описать ее ужас, когда она, войдя в детскую, нашла ее пустой.

В ней было тихо, как в могиле.

По очереди она стала распахивать тяжелые портьеры у дверей, но свет не показывался ни откуда, и на зов ее никто не откликался.

Сердце ее болезненно сжалось, и мозг усиленно заработал. «Неужели их у меня украли?» — мелькнуло у нее в голове. Такие случаи в Риме были не редки в то время.

В неописуемом отчаянии она стремительно вышла из детской, чтобы первого попавшегося раба послать доложить мужу об этом ужасном открытии, но раб равнодушно посмотрел на нее и сказал, что дети не украдены, а пошли с нянькою гулять тотчас же после обеда.

— Без моего позволения? — взволновано вскрикнула оскорбленная таким отношением к ней Флавия и еще стремительнее бросилась в комнату сестры.

Сисидона сидела у небольшого столика, в раздумье подперев рукой голову и как-то безучастно посмотрела на вошедшую Флавию. Когда же Флавия спросила ее, правда ли, что дети тотчас после обеда ушли гулять и до сих пор не возвращались, Сисидона могла только подтвердить слова раба. По приказу отца Фламина и Кассиус были удалены из дома, но куда их отвели и когда они вернутся, об этом сестра знала столько же, сколько о том, когда возвратится и ее зять.

Отсутствие детей было для такой нежно любящей матери, какой была Флавия, слишком чувствительно. Хотя она утешала себя скорым возвращением их, но когда проходил час за часом, а Фламиниус с детьми не возвращался, положение так жестоко наказанной жены и матери становилось невыносимо.

Сисидона давно уже была в постели, слуги также пошли на отдых, только одна хозяйка дома еще не спала, поджидая в портике отсутствовавших детей и нервно расхаживая взад и вперед между мраморными статуями, по временам искренно молясь Господу Богу о ниспослании ей сил перенести новое испытание.

Малейший шорох заставлял ее вздрагивать…

С напряжением она вслушивалась в шум бившего вблизи фонтана или в грохот приближавшегося и удалявшегося экипажа, в котором, может быть, возвращался с какой-нибудь веселой пирушки богатый римлянин. Поминутно казалось ей, что вот идут дорогие ее сердцу муж и дети с нянькою!

Но напрасны были ее ожидания! Те, которых так нетерпеливо ждало ее любящее сердце, не

появлялись.

Усталая, утомленная долгим и напряженным ожиданием, она отправилась, наконец, в свою спальню.

Здесь ее встретила Нериса, которая, по обыкновению, каждый вечер помогала ей раздеваться.

Нериса знала уже о внезапном исчезновении детей, будучи уверена, что их отец принял эти меры предосторожности из боязни, что мать начнет посвящать и детей в учение христиан. Даже относительно себя она была несколько озабочена. От ее подруг рабынь не ускользнуло то, что она уже не приносила жертв их жреческим богам и не делала в честь их возлияний и однажды, совершенно случайно, услыхала разговор советовавшихся между собою рабынь, — не донести ли им об этом их повелителю.

Какой оборот могло принять все это, она еще не знала, но то, что ей не будет пощады от ее господина, если он откроет, что она христианка, в этом уж она не сомневалась. Не удивительно поэтому, что сердце ее болезненно сжималось при одной мысли о том, что ее могут разлучить с ее любимой госпожой.

Ради Флавии она способна была на все, что только могла допустить ее совесть, но снова приносить ложным богам жертвы было для нее делом совершенно невозможным, и этого она не в состоянии была бы сделать даже и для своей дорогой повелительницы.

Верная служанка всеми силами старалась не выдавать своего волнения, вызванного в ней тревогой за будущее пораженной новым горем госпожи, не желая расстраивать ее еще более. С удивительным самообладанием она всячески отвлекала ее мысли от мрачного будущего и подкрепляла утешениями, что Господь Бог, посылающий любящим Его испытания, сторицею воздаст им на небесах за безропотное перенесение испытаний.



Глава V. Марк Аврелий и его тайный секретарь

Фламиниус после ужасного открытия решил, что позор, которым Флавия покрыла его дом, присоединившись к христианам, должен был остаться тайной для всех, не исключая и императора. Но эта тайна была обнаружена перед ним в тот же день.

Оставив Флавию, Фламиниус отправился прямо во дворец и прошел, по обыкновению, в покои императора.

Несколько минут спустя, войдя в свой кабинет, Марк Аврелий был немало удивлен, найдя там своего секретаря, сидевшего, задумчиво свесив голову.

Дальновидный император сразу угадал, что на душе его любимца есть какое-то горе. Когда же он спросил Фламиниуса о причине его грустного настроения, тот дрожащим от волнения голосом ответил:

— О, государь, я самый несчастнейший из смертных: боги окончательно забыли меня!

— Не говори этого, Фламиниус, строго-наставительно сказал Марк Аврелий. — Наших богов, к сожалению, теперь слишком мало почитают. Нередки случаи, что сами жрецы, и даже волхвы, перестают поклоняться им. Но я, как император и верховный жрец их, верую в них. Что же касается народа, то и он еще усердно молится нашим богам. Об одном только особенно надо пожалеть: это то, что большая часть умнейших философов наших позволяет себе дерзко глумится над нашими богами, называя их бездушными идолами, и старается внушить народу, чтобы он совсем не оказывал им почестей. Но если ты, как верный слуга богов, сознавая свое бессилие, с верою обратишься к ним за помощью, они не оставят тебя без нее.

— Ну, а если та, которая составляет в жизни человека самое дорогое, самое святое на земле; та, которая ему дороже его собственной жизни, публично откажется от поклонения этим богам и начнет поклоняться другому, чужому Богу, что тогда? — спросил взволнованным голосом Фламиниус, забывая всякую предосторожность, как будто перед ним был не его повелитель и верховный жрец Юпитера, а задушевный друг, которому он открывал свою наболевшую душу.

Марк Аврелий вопросительно взглянул на грустное лицо своего секретаря.

— Я догадываюсь, на кого ты намекаешь. Это твоя жена, — проговорил император после некоторого размышления. — Уж не присоединилась ли она к шайке модных сектантов, которые богам Рима предпочли Изиду и Сераписа?

— Если бы только это, то мое горе не было бы так велико! Но ведь она присоединилась к отступникам христианам, — ответил, содрогаясь от ужаса, Фламиниус.

— К христианам? — удивился император. — Да мыслимо ли, чтобы благородная римская матрона присоединилась к такой всеми презираемой, упрямой секте?

— Действительно, они чрезвычайно упрямы. Это смело можно сказать, — подтвердил Фламиниус. — И именно пример тех, которые сделались добычей львов, привлек в их среду мою жену, вместо того чтобы оттолкнуть ее от этих ужасных людей, учение которых так вредно, а вместе с тем, и так страшно заразительно.

— Неужели она на самом деле присоединилась к этим людям? — спросил император, все еще не веря, чтобы это была действительность.

— Вместо того, чтобы присутствовать на празднестве у императрицы, она отправилась к христианам, чтобы присутствовать на их сборище, — ответил Фламиниус беззвучным голосом.

Этого уже никак не мог допустить в своем уме Марк Аврелий. Молча, в некотором замешательстве, стоял он перед убитым горем мужем.

Возможно ли, чтобы римская патрицианка, такая высокообразованная, благородная женщина, какой он ее считал и которую он искренне уважал, предпочла общество рабов блестящему обществу, состоявшему из представителей знатнейших и благороднейших римских фамилий,

сблизившись с самыми ничтожными и гадкими из его подданных?!

Задумчивый, тщетно стараясь разгадать эту загадку, император нервно ходил взад и вперед из одного конца кабинета в другой.

— Если бы твоя жена принадлежала к числу пустых светских женщин, гоняющихся за всем модным, — начал он после некоторого молчания, — то я еще мог бы объяснить себе, в чем тут дело. Тут дело объясняется очень просто: пока мужья бросаются из одного омута веселья в другой, жены стараются, перещеголяв друг друга роскошью и мотовством, предаваясь разным излишествам и, тем самым, подготовляют преждевременную могилу своему счастью. При таких условиях эти люди не могут чувствовать себя счастливыми и ищут ради разнообразия всевозможных приключений, часто ведущих их к погибели. То же самое, как известно, наблюдалось и во времена Сенеки[14]. К сожалению, люди с тех пор не переменились к лучшему. Многие, пресытившись такого рода жизнью, сознательно ищут смерти, если бы даже она явилась им в самом ужасном виде.

— Флавия моя никогда не принадлежала к числу таких женщин, — не без гордости заметил Фламиниус, когда Марк Аврелий умолк. — Она всегда предпочитала тихое домашнее счастье в обществе наших детей самым разнообразным публичным увеселениям и забавам.

— Это мне хорошо известно, и потому-то я и удивляюсь всему происшедшему, — сказал после некоторого размышления император. — Мне кажется, что только одно средство могло бы заставить ее возвратиться к Пенатам, это — разлука ее с детьми.

— Я уже сказал ей, что она мне больше не жена, — ответил Фламиниус с грустной ноткой в голосе.

— Это я одобряю, — ответил Марк Аврелий. — Будь тверд в своем решении и, кроме того, непременно разлучи ее на некоторое время с детьми. Удали малюток с их нянями, чтобы мать не могла постепенно вливать в их молодые души яд опасного учения христиан.

Можно думать, что Марк Аврелий, давший своему секретарю такой жестокий совет, был вообще человек черствый, бессердечный. Наоборот, это был один из самых добродушнейших и отзывчивых людей. Он был твердо уверен, что советом своим оказывает более чем дружескую услугу не только Фламиниусу, но даже и Флавии. Марк Аврелий очень любил своего секретаря и всегда выказывал заботу о его благополучии, а потому, не теряя времени, он отпустил Фламиниуса, чтобы тот, немедленно удалив своих детей от матери, переселился в отдаленный, противоположный конец дворца.

Час спустя, дети уже ехали по дороге в Арику[15], а угнетенный отец вернулся во дворец для исполнения дальнейших приказаний императора.

По отъезде детей Фламиниус погрузился в свои занятия, на недостаток которых он не мог жаловаться, так как молодой государь и сам неутомимо работал над всевозможными проектами, в которых видна была его забота о своих подданных, редко позволяя себе продолжительный отдых, почему и многочисленный штат его секретарей был постоянно по горло занят.

Почти вся корреспонденция по различным вопросам, которыми император интересовался, велась под его непосредственным руководством. А таких вопросов была масса. Его одинаково интересовало и состояние дорог в различных частях государства, и выбор достойных, честных людей в префекты и члены магистрата, и равномерное распределение между нуждавшимися

дозволенной им самим бесплатной раздачи хлеба, и урегулирование движения по улицам громадного города.

Словом, не было такого дела, которое не привлекало бы внимания императора и не приводилось в исполнение под его личным наблюдением.

Самым же трудным делом было управление отдаленными провинциями, в особенности если принять во внимание тогдашние, бывшие почти в первобытном состоянии, пути сообщения.

Два дня спустя после описанной нами беседы Марка Аврелия с Фламиниусом, в Рим явился посол из Британии с известием о вторично вспыхнувшем восстании островитян, которых, по мнению Фламиниуса, очень трудно было обуздать.

— Вполне подчинить их Риму нам никогда и не удавалось, — ответил на это Марк Аврелий. — Но это не потому, что их воины храбрее франков, а потому, что Рим сам по себе стал много слабее в нравственном отношении. К тому же и политика в сношениях с этим народом с каждым новым царствованием изменялась в том или ином направлении. Что же касается меня, то, следуя примеру моего предшественника, я издам для этих дикарей новые законы и сделаю не только обязательным для них изучение наших искусств и ремесел, но заставлю их также поклоняться и нашим римским богам. Хотя в нашей колонии, Лондоне, и есть уже храм, посвященный Диане, а неподалеку от него другой — Аполлону, все ж таки островитяне упорно отвергают наших богов и поклоняются своим собственным.

— Мне кажется, государь, что каждый народ должен поклоняться только своим богам, — осмелился возразить Фламиниус.

— Хотя нельзя не сознаться, что с тех пор, как иудеи поселились в Риме, религия их причинила немало вреда и хлопот римлянам, — добавил он, вздыхая.

— Евреи презирают христиан не менее нас, — ответил Марк Аврелий.

Из дальнейшей беседы со своим тайным секретарем император убедился, что мыслям Фламиниуса надо дать другое направление, и он поручил ему еще сегодня же написать несколько важных писем, чтобы рано утром на следующий день он мог их собственноручно запечатать и отправить. Хотя Фламиниус не был расположен заняться деловой корреспонденцией, он все-таки немедленно приступил к исполнению порученного ему дела, желая написать хоть часть писем еще до приема ванны.

Фламиниус, будучи человеком деятельным, позволял себе принимать ванну только один раз в день, тогда как многие молодые римляне, не дорожившие своим временем, делали это по три-четыре раза в день, а некоторые даже и совсем не выходили по целым дням из купальни, благо в купальнях этих к услугам их были не одни только рабы и ванны, но и все, что могло дать пищу и уму, и сердцу: в них были и библиотеки, и сады, и танцевальные залы, и театры, и всякие другие увеселения.

Хотя знатные римляне имели в своих домах собственные ванны, однако общественные купальни, предназначавшиеся исключительно для людей низшего сословия, были самым излюбленным местом собраний и людей высшего класса. Здесь встречались друзья и в приятной беседе проводили часок-другой; здесь же находили необходимые удобства и люди, избегавшие труда и деятельности, пользуясь всем, что только мог придумать ум человеческий для удовлетворения жажды наслаждений.

Во время своих занятий Фламиниус вспомнил об обещании, данном одному из своих знакомых,

встретиться с ним в портике великолепных модных купален, устроенных на площади вблизи императорского дворца.

Купальни эти были так удобно устроены, что большинство жителей дворцов предпочитало их своим собственным купальням.

Хотя нечего было бояться, что Марциниус, ужаснейший болтун, проводящий целые дни в купальнях, бездельничая и сплетничая о городских новостях, уйдет, не дождавшись его, все ж таки аккуратный Фламиниус стал торопиться, чтобы быть вовремя в назначенном месте.

Марциниус сделал ему намек о каких-то важных сообщениях, вызвавших улыбку Фламиниуса, и он, как ни неудобно было ему прерывать свою работу, решил все-таки сдержать свое обещание и отправился в купальни.

Дойдя до верстового столба, стоявшего на площади, у которого скрещивались все дороги Италии, он чуть было не вернулся обратно, но рассердившись на свою нерешительность, быстро пошел дальше.

По пути ему часто попадались навстречу знакомые, но их приветствия казались ему необыкновенно холодными, а их взгляды были устремлены на него с каким-то особенным нескрываемым любопытством.

Это страшно возмущало его, но, подавив в себе поднимавшееся негодование, он, не встретив Марциниуса в зале купальни, направился в одну из больших комнат, в которой раздевались перед приемом ванн.

В этом роскошном помещении мозаичный пол был составлен из драгоценнейших мраморных камней, а стены были украшены чудными фресками.

В тот самый момент, когда Фламиниус вошел туда, между сидевшими в конце большого стола раздались рукоплескания по адресу какого-то поэта, только что окончившего чтение своих новых произведений.

Фламиниус, никогда не находивший большого удовольствия в этих занятиях, окинул беглым взглядом веселое общество и, не найдя в его среде Марциниуса, отправился принимать ванну. Несколько времени спустя, он, наконец, увидел Марциниуса, который, подходя к Фламиниусу и садясь около него, сказал, зевая:

— А я думал, что ты уже не придешь.

— Я был очень занят, — ответил Фламиниус.

— Удивляюсь тебе, как ты можешь еще заниматься чужими делами, — как-то вяло проговорил Марциниус, пожимая с нескрываемым презрением плечами. — Меня достаточно утомляют уже одни приемы ванн. Я бы ни за что не занимался никакими чужими делами…

— А только торговлей! — перебил его Фламиниус, не без намерения уязвить хвастуна.

Всем было известно, что отец Марциниуса нажил себе громадное состояние торговлей рабами, каковым ремеслом гнушался всякий не только благородный, но и самый простой римлянин.

— Я бы не стал заниматься ни ремеслом, ни торговлей, — продолжал Марциниус.

— Жизнь сама по себе и так уж слишком скучна, — добавил он с таким вздохом, как будто жизнь его и на самом деле была для него невыносимой тягостью.

— Ты ведь мне хотел сообщить что-то очень важное? — начал после некоторого молчания Фламиниус.

— Да, да. Но так как об этом теперь уже все говорят, то оно, вероятно, дошло уже и до твоих ушей, — ответил Марциниус равнодушно.

— О чем это? — спросил ничего не подозревавший Фламиниус.

— О твоей жене, — ответил Марциниус и еще раз зевнул.

Фламиниус, как ужаленный, привскочил на месте.

— Кто осмеливается говорить о моей жене? — вскричал он злобно.

— Все говорят… Она служит темой разговоров во всем городе… Присоединение ее к этим гадким христианам, причинившим нам столько бед, теперь уже ни для кого не тайна, — ответил Марциниус.

— Говорят даже, что она сделалась уже христианкой, — прибавил он злорадно.

Марциниус был в восторге, что и ему, наконец, представился случай поиздеваться над Фламиниусом и хоть этим отомстить ему за презрение и насмешки, которым он постоянно подвергался не только со стороны Фламиниуса, но и других патрициев.

Фламиниус был уничтожен! То, что имя его безупречной, благородной Флавии сделалось теперь достоянием сплетен всего города, было уже свыше его сил.

Что для других было совершенно безразлично, то для него, строго нравственного человека, было положительно невыносимо. Он не дорожил ни своим положением, ни своим богатством, но надменное самолюбие этого отпрыска знатной римской фамилии было чересчур дерзким. В этом отношении он был чрезвычайно щепетилен. Упоминать имя его Флавии в обществе мужчин было, по его мнению, неслыханной дерзостью.

Душевные страдания его не поддавались никакому описанию. Известие из уст вальяжного патриция до такой степени сразило его, что он готов был избить выскочку, но вовремя удержался.

Не удостоив ни единым словом, ни единым взглядом своего собеседника, глубоко оскорбленный муж покинул злорадствующего Марциниуса, чем тот был очень озадачен. Этот неожиданный маневр Фламиниуса был совершенно не в его расчетах.

С каким великим удовольствием доложил бы он этому гордому патрицию о том, как он, Марциниус, следовал по пятам его супруги в памятный вечер посещения ею христианской церкви в катакомбах, зная таинственные ходы в это убежище. Но тот, на котором он хотел теперь излить всю свою желчь и ненависть, молча удалялся от него. И теперь, чтобы хоть чем-нибудь досадить Фламиниусу, Марциниус, не ожидая расспросов соседей, стал громко рассказывать обо всем, только что происшедшем здесь, так что до ушей Фламиниуса, не успевшего еще выйти из прихожей, долетала большая часть его слов.



Глава IV. Каменолом пред императором

Медленно шел Фламиниус по направлению к дворцу, задумчиво склонив голову на грудь.

Стыд, которым Флавия покрыла его имя, не давал ему покоя ни на минуту.

Мрачные думы роились в его голове, и мысль о том, что даже такой ничтожный человек, как Марциниус, и тот может теперь безнаказанно грубо оскорблять его, была для него, гордого патриция, невыносима. И в этот момент он желал бы быть далеко-далеко от Рима, чтобы никто не мог указать на него пальцем и сказать: «Его жена — христианка». Углубившись в свои грустные размышления, он незаметно для самого себя дошел до Палатинского холма[16].

У входа в свою квартиру он в какой-то нерешительности остановился, раздумывая, что ему теперь предпринять. Не постараться ли доказать Флавии всю нелепость ее поступка и уговорить ее на следующий же день принести жертву Юпитеру[17], чтобы этим уничтожить все подозрения относительно присоединения ее к ужасной, мерзкой секте христиан? Но когда он вспомнил о поразительной твердости в исповедании своей веры и страшном упрямстве христиан, он решил, что все его попытки в этом направлении будут бесполезны. В надежде, что придуманное Марком Аврелием средство — разлучить ее с детьми — может оказаться самым лучшим для вразумления Флавии наказанием, он, скрепя сердце, прошел мимо своей квартиры. Пред тем, как лечь спать, он вспомнил, что завтра, рано утром, он должен будет проводить императора в Форум[18], где должны будут обсуждаться очень важные государственные дела.

Как ни был расстроен Фламиниус, он до отхода ко сну закончил порученную ему императором работу — составление важных писем. Хорошо зная, что Марк Аврелий не любил долго спать и вовремя являлся в Форум в назначенное время, он с вечера приготовил для запечатывания писем воск и печати, чтобы утром не замешкаться и вовремя явиться на первый зов императора.

Рано утром к Капитолийскому холму двинулась длинная, величественная процессия. До начала производства суда император всегда имел обыкновение приносить жертву богам. С этою целью он, как глава жрецов, открывал шествие к храму Юпитера, сопровождаемый 12 ликторами[19] в белых одеяниях, которых, в свою очередь, сопровождали судьи, лица магистрата и заседатели.

Все эти лица были в форменных одеждах.

Посредине храма возвышалась статуя Юпитера, державшего в одной руке молнию, а в другой — скипетр.

С правой стороны Юпитера восседала на своем троне Юнона, а по левую — богиня Минерва[20].

Храм сиял от множества золота и драгоценных камней. Казалось, что все сокровища мира были собраны здесь. Неудивительно поэтому, что невежественный народ приближался к своим божествам с благоговейным страхом и трепетом.

Вокруг храма были расставлены изваяния разных животных, увенчанных цветами и венками, жертвоприношениями народа. На ступеньках и в залах храма торжественно расхаживали в своих белых одеяниях жрецы, на обязанности которых было совершать служения в храме. Все они были полны сознания своего достоинства и смотрели с презрением на явившихся сюда искать помощи и милости могущественного повелителя вселенной и приближавшихся к нему со своими жертвами.

Когда император, в качестве верховного жреца, поднялся вверх по длинному ряду ступеней, все благоговейно преклонили свои головы, так как считали Марка Аврелия за самого непорочного и кроткого человека, не имевшего себе подобного.

По окончании молитвы он снял с себя одежду жреца, чтобы, облачившись в сверкавшую золотом и драгоценными камнями императорскую багряницу, пройти в Форум, где он, уже в качестве представителя закона и правосудия, должен был творить суд над римскими преступниками.

Когда император занял в Форуме свое место, в судилище был введен узник, который пожелал лично обратиться к нему с просьбой о снисхождении, в котором ему было отказано судьями.

Дело в том, что по законам древних римлян всякий узник, встретивший на своем пути в тюрьму, куда его отправляли для отбывания наказания, весталок[21], был освобождаем от назначенного ему наказания.

На это право притязал и представший перед императором узник. Он был приговорен к тюремному заключению за долги, и когда его вели в тюрьму, священное шествие шести девственниц-весталок прошло мимо него из храма богини Весты.

Несмотря на это, узник все-таки не был освобожден, почему он и обратился к императору, как верховному судье, чтобы дело его было рассмотрено вторично и приговор произнесен на основании общих законов.

Прежде чем подписать решение, надо было выслушать противную сторону, которая избрала себе опытного оратора. Поэтому было сомнительно, чтобы бедный должник, выступивший сам за себя ходатаем, одержал победу.

Оратор, обвинявший его, особенно напирал на то, что узник, в бытность свою виноградарем в долине Арике, до знакомства своего с некоторыми отверженными каменоломами туфа, которые склонили его к отступничеству от богов и столкнули его, как и многих других, на путь погибели, жил со своей семьей очень богато.

— Обвиняемый, — объяснял оратор, — смело заявляет, что он — христианин, и после этого он

еще осмеливается, назвав римских богов идолами, настаивать на том, что он имеет право на милость во имя жриц!

Император колебался, не решаясь объявить свое решение, подлежит ли осуждаемый наказанию, или он должен быть освобожден. Но народ сразу решил его участь.

Со всех сторон слышались роковые слова:

— Ко львам христиан, или Рим погибнет!

Эти голоса, впрочем, тотчас замолкли, как только император, после очень долгого молчания, обратился к узнику с вопросом: что имеет он еще сказать в свое оправдание?

— Хотя я и христианин, — ответил бесстрашно обвиняемый, — но, будучи гражданином Рима, я имею такое же право на защиту законов, как и всякий другой римлянин.

— Ты имел бы это право, если бы не отступился от истинных богов и служил им, а не Богу, которого Рим не признаёт и никогда не признает… Поэтому и на снисхождение, которое может быть оказано римскому гражданину, тебе надеяться нечего, — ответил оратор.

— Однако от меня же требуют, чтобы я подчинялся законам, и я их не преступаю!.. — возразил обвиняемый. — Ибо Сам Господь сказал: «Кесарево — кесарю, а Божие — Богу». Я не отказываюсь уплатить долг, но прошу только отсрочки. По разрушении моего виноградника, мне было впору ломкою туфа заработать самое необходимое для прожития с моей семьей. А при таких условиях разве я мог оплачивать еще и свои долги?!

— Он говорит справедливо, — заметил Марк Аврелий.

— Ты, значит, не оспариваешь того, — продолжал он, обращаясь к обвинителю, — что святые девственницы попались ему навстречу при следовании его в тюрьму, в силу чего и на основании наших законов, он должен был быть освобожден от заключения в тюрьме?.. Почему же вы не освободили его?..

— Потому что он христианин, — пытался доказать справедливость неисполнения закона обвинитель.

Император наморщил лоб.

— Мне очень жаль, что эти люди, себе же во вред, не признают римских богов. Но все ж таки это не должно лишать их прав, присвоенных всем римским гражданам. Как я требую от них подчинения законам Рима и безусловного их исполнения ими, так равно требую для них и покровительства тех же законов! — строго проговорил император.

— Ты свободен! — обратился он к обвиняемому.

По произнесении приговора император опять занял свое место, а освобожденный обвиняемый с облегченной душой удалился в сопровождении ожидавших его друзей, изливая благодарности по адресу справедливого судьи — императора.

Фламиниус, сидевший рядом с императором и делавший заметки о прениях сторон, при известии о том, что узник — христианин, почувствовал себя очень нехорошо. Даже этот человек, которого он уже давно знал как самого ревностного почитателя богов Рима, и этот принял ненавистную всем римлянам отвратительную веру христиан!..

В чем же состояла притягательная сила этой веры? Было ли это только ослепление, в силу которого эти люди охотно подвергали себя всяким гонениям и преследованиям, не боясь быть отвергнутыми и презираемыми не только друзьями, но иногда даже и родными, или действительно существовал другой Бог, Который был выше и сильнее Юпитера.

Но не успел он прийти к какому-нибудь окончательному заключению, как другая мысль вытеснила эту, дерзкую, из его головы. Какой-то внутренний голос стал упрекать его в том, что вера его в могущество величайшего из римских богов могла, хоть на минуту, но все-таки поколебаться...

Но еще более беспокоило его то, что жена этого узника была сестра Нерисы, прислужницы его жены, неоднократно посещавшая его дом, когда он жил еще в Арике со своей семьей. Может быть, она-то и внесла в его дом это опасное учение. Может быть, это она так подействовала на Флавию?

Чтобы выяснить мучившее его подозрение, Фламиниус решил, не откладывая, отыскать теперешнее место жительства бывшего виноградаря и осторожно расспросить его обо всем интересующем его.

«Может быть, — думал он, — мне удастся выпытать у него тайну некоторых обрядов христиан и узнать, между прочим, действительно ли их Бог требует себе жертв на алтарь. Может быть, и этот несчастный виноградарь также пожертвовал христианскому Богу одного из своих детей». Преследуемый подобного рода мыслями, Фламиниус немедленно удалился из Форума, как только позволили ему сделать это его служебные обязанности.

Быстро промелькнула мимо него местность, в которой находились дворцы, и он медленно стал пробиваться по узким длинным улицам к беднейшей части города, где находились убогие жилища каменоломов.

При виде вопиющей бедности и царствовавшей всюду в этих отдаленных трущобах нищеты, сердце богатого патриция болезненно сжалось.

Выступивший из берегов Тибр превратил в развалины каждый домик, каждую хижину и промыл в земле глубокие и обширные ямы, похоронив под песком и илом своим много разрушившихся построек бедняков.

Когда река опять вошла в свои берега, жители хижин, изгнанные наводнением из жалких жилищ, опять возвратились к своим развалинам, чтобы попытаться спасти хоть что-нибудь после такого опустошения.

Мужчины вырывали из песка балки и бревна, чтобы употребить их на сооружение новых хижин, а женщины отыскивали свой домашний скарб.

Когда Фламиниус стал расспрашивать у одного из этих несчастных о бывшем виноградаре, тот испытующе, со злобным лицом и скрежеща зубами, спросил его:

— Ты, вероятно, тоже принадлежишь к числу тех, которые своими сходками вызвали гнев богов, обрушившийся на наши головы?..

— Нет, ты ошибаешься! Клянусь шлемом Цезаря, я всею душой ненавижу этих отвратительных христиан.

— Но ведь виноградарь, которого ты разыскиваешь, — христианин!.. — продолжал рабочий, как

бы не веря словам Фламиниуса.

— Значит, ты его знаешь? — спросил нетерпеливой Фламиниус, и, взглянув на окружавшую его толпу людей, он прибавил:

— Он тоже здесь работает?

— Нет!.. — раздраженно ответил спрошенный. — Мы прогнали этих отступников вот туда, вниз, заниматься уборкой!

И при этом он указал рукою вдаль.

Видно было, что наводнение в указанном им месте причинило еще более бедствий, чем тут. Не слушая дальнейших разговоров окружавшей его голытьбы, Фламиниус поспешил к тому месту, которое в действительности представляло из себя еще более ужасную картину разрушения, чем то, которое он только что оставил.

Бедным христианам буквально ничего не было оставлено, что могло бы еще быть пригодным для постройки новых хижин: страшное наводнение унесло все, оставив только большие лужи грязи и влажный ил с песком вместо твердой почвы.

Однако благородный патриций был поражен тем, что несмотря на всю тяжесть работы, трудившиеся здесь люди были веселы и бодры. На лицах их не выражалось того недоброжелательства и злобы, которые он видел на лицах только что оставленной им толпы нехристиан.

Нечто вроде палатки служило временным приютом женщинам, детям, старцам и больным, к которым каждый проявлял самую трогательную заботливость.

Фламиниус подошел к одному старцу, который, опираясь на свою палку, помогал, сколько у него хватало сил, подросткам перетащить куда-то громадный чурбан, и обратился к нему:

— Старик, не знаешь ли ты виноградаря Плаутиуса?

— Как не знать! Конечно знаю! — ответил старик. Кто же не знает нашего доброго Плаутиуса? Хоть он и сам беден, все ж таки он так добр, что всем нам помогает, чем может, и даже...

— Ну, хорошо, хорошо, старина. Я не для того спрашиваю тебя о нем!.. — прервал его недовольный Фламиниус, не желая выслушивать, как расхваливают христиан, и при этом он протянул к старику руку, в которой была целая горсть сестерций[22].

Но старик, слегка отстранив от себя руку Фламиниуса, обиженным тоном сказал:

— Нет-нет, я хотя и беден, но не собираю милостыни, а работаю, насколько хватает сил, с тех пор как стал христианином.

— Ну, не рассказывай мне своих басен, а лучше скажи, кто бы мог проводить меня к Плаутиусу? — нервно и нетерпеливо проговорил Фламиниус, оглядываясь по сторонам.

— Он теперь на работе, но я могу проводить тебя к его жене, — ответил старик.

— Ты ошибаешься, он должен быть тут, так как еще сегодня утром он стоял пред судом императора! — возразил Фламиниус.

— Совершенно верно, — подтвердил старик, — но тотчас по своем освобождении он ушел на работы в каменоломни. У него ведь есть жена и дети, о которых он должен заботиться… Только одни плотники заняты здесь постройкой новых жилищ, все же другие, которые могут работать в каменоломнях, ушли туда ломать туф…

Вскоре они добрались до места, которое служило этим беднякам временным жилищем.

Женщины были заняты здесь хлопотами по хозяйству: печением ячменного хлеба, шитьем, починкой платьев и белья или ухаживанием за детьми.

Несмотря на это, все они пели псалмы вместе со своими детьми, окружавшими какого-то старика, к которому, очевидно, все как-то особенно благоволили.

По всему было видно, что он пользовался всеобщей любовью и вниманием.

Когда жена Плаутиуса увидела идущего к ним Фламиниуса, ее обуяли тревожные мысли, что он идет с худыми вестями о сестре. Знакомое лицо повелителя Нерисы невольно напомнило ей о лучших днях, проведенных ею когда-то в уютном домике в долине Арике, и, как бы извиняясь, она растерянно проговорила:

— Обстоятельства наши изменились теперь, благородный Фламиниус!

— Да, вижу! — сказал Фламиниус как-то загадочно. — Все изменилось с тех пор, как люди забыли страх и низвергли богов Рима с их престолов, чтобы возвеличить еврейского пролазу и обманщика, распятого при Понтийском Пилате.

— Они не боги, а идолы!.. Иисус же Христос есть истинный Бог, всюду и над всем царствующий, — смело ответила ему жена Плаутиуса.

Вместо ответа гордый римлянин-патриций только презрительно улыбнулся. По всему видно было, что ему было крайне неприятно распространяться на эту причинявшую боль его сердцу тему. Поэтому он сухо ответил:

— Я вовсе не пришел сюда, чтобы беседовать с тобою о вашем глупом заблуждении, которое вы называете учением христианского Бога… Скажи мне лучше, правда ли, что Плаутиус ушел в каменоломни?

— Да, это правда, он пошел туда… Ему необходимо отблагодарить своих товарищей и помочь им в работе… Пока он сидел в тюрьме, они заботились о нас — обо мне и наших детях. Теперь он помогает им, воспользовавшись своей свободой, — ответила христианка… — Если я могу тебе чем услужить, то охотно, сделаю это.

— Можешь ли ты поклясться мне богами, что ты на все мои вопросы будешь отвечать откровенно и чистосердечно? — спросил ее Фламиниус.

— Нет, клясться вашими богами-идолами я не могу. Да и вообще клясться запрещает мне мой Спаситель, но как христианка, я не буду лгать, — последовал ее ответ.

— Скажи, кто научил мою рабыню Нерису новой вере: ты или твой муж? — спросил Фламиниус.

— Моя сестра приходила в нашу хижину не учиться, а учить, — возразила, улыбаясь, жена Плаутиуса. — Хотя Нериса и была в твоем доме рабой, но она давно уже принадлежит к

вольным гражданкам не только Рима, но и всего мира!.. Одной ей мы обязаны тем, что познали истину, хотя долго все ее попытки были тщетны! Пока мы сами не сделались свидетелями мужества и терпения мучеников во Христе, мы колебались. Но в тот самый день, когда мы оба — и я, и мой Плаутиус — увидели самоотвержение этих мучеников, мы уверовали в истинного Бога и Его Единородного Сына Иисуса Христа.

Фламиниус с досадой сделал нетерпеливый жест рукою, и презрительная гримаса исказила его лицо. Он даже не простился с женой Плаутиуса и быстрым шагом направился к Палатинскому холму.

«Удивительные, редкие люди эти христиане! — подумал он про себя. Именно то, что других удерживает от присоединения к их секте, для них имеет особенную притягательную силу! Значит, Нериса, самая верная, самая надежная, самая преданная рабыня из всех моих служанок, и моя дорогая жена, моя дорогая Флавия, обе они самые преданные христианки! Ну разве я не имею основания и не вправе роптать на то, что языческие боги меня покинули!?»

Размышляя таким образом и тяжело вздыхая, Фламиниус медленно с опущенной на грудь головою без определенной цели подвигался вперед.



Глава VII. Покинутая

Медленно, тоскливо тянулись дни Флавии, которая, чтобы не вызвать подозрения со стороны слуг, всеми силами старалась скрыть свое удрученное состояние, боясь у кого бы то ни было

спросить, где находятся ее дорогие дети и нежно любимый муж.

Сестра же ее в это время была занята совсем другим. Через несколько месяцев ей предстояло устроиться в своем собственном гнездышке с Клаудиусом Руфом, — с тем молодым человеком, с которым мы уже познакомились в первой главе нашего повествования, во время поездки семейства Фламиниуса в Риме, на зрелища в Колизее.

Невеста все время находилась в страшном затруднении, не зная, как поступить: поведать ли жениху, как требовал того долг, обо всем происходившем в их семье, или предоставить случаю открыть ему их позор.

То же происходило с ней и сегодня. Пока рабыни были заняты одеванием молодой девушки, Сисидона, сидя перед большим металлическим зеркалом и внимательно следя за их работой, серьезно раздумывала: права ли она будет, если откроет своему будущему мужу их семейную тайну.

Ее размышления были прерваны одной из старших сестер-камеристок, которая приказала стоявшей тут же рабыне подать ей золотую пудру.

— Не жалей золотой пудры! — сказала ей Сисидона. — Мой дорогой Клаудиус очень любит, когда у меня красиво блестят волосы...

— Ах, как идет моей госпоже прическа в виде шлема! — восторженно воскликнула рабыня, любуясь пышной прической Сисидоны и стараясь при этом обильно напудрить золотою пылью белокурые ее волосы.

Сисидона осторожно коснулась рукою своей прически, сделанной из своих и чужих волос, и сказала:

— Да, это совсем в моем вкусе... А Фламиниус уже вернулся? — спросила она, обращаясь к одной из прислуживавших ей рабынь. — Если ни зять, ни жених не придут, все наши труды пропадут задаром!

— Нет, моя добрая госпожа, благородный повелитель отправился с императором в Форум, — ответила камеристка, прикрепляя прическу шпильками, чтобы она не развалилась.

Наконец, одевание было окончено. Сисидона еще раз осмотрела себя в зеркало и, по-видимому, осталась довольна работой своих прислужниц.

Так как император возвращался из Форума обыкновенно в эти именно часы, то надо было предполагать, что Фламиниус и Клаудиус не замедлят явиться.

Чтобы встретить их, Сисидона отправилась в зал, занявшись игрой с двумя ручными змеями, любимицами зятя и сестры, заставляя их танцевать.

Она знала, что зять непременно обратит внимание на змей, и пока он с ними будет возиться, она постарается угадать по его настроению, как обстоят дела, чтобы, наконец, не откладывая более, посоветоваться с зятем относительно открытия Клаудиусу перехода Флавии в христианство.

Прошло более часа, а Фламиниус все еще не являлся. Наконец Сисидона, уставшая от напряженного ожидания и игры со змеями, приказала одной из рабынь отнести эти своеобразные игрушки в клетку, а сама направилась в комнату сестры, чтобы осведомиться у

нее, не возвратился ли Фламиниус.

Флавию она застала одетой особенно изящно и с изысканным вкусом, что она сделала в надежде на радостную, так долго ожидаемую встречу со своим мужем.

К сожалению, Флавия знала о том, где находится сейчас Фламиниусе столько же, сколько и ее сестра. Она только сказала Сисидоне, что обратила внимание на какое-то странное, до сих пор не замечавшееся ею, таинственное перешептывание между собою ее слуг.



Это было все, что она могла сказать Сисидоне.

— По-видимому, тебя начинают подозревать, — заметила Сисидона. — Если ты теперь же не принесешь достойных жертв Юпитеру и тем самым не докажешь, что ты почитаешь римских богов, слухи о твоем позоре и отступничестве пойдут по всему Риму.

— Я буду очень рада, если и действительно весь Рим узнает о том, что я — христианка. Ты вольна считать за позор — быть христианкой, но для меня не может быть выше радости, как считать себя преданной дочерью церкви, христианской и истинной последовательницей божественного учения Спасителя моей души.

Сисидона взглянула на полное грусти, бледное лицо сестры и не могла не удивиться в душе, как это у нее еще хватает сил переносить все эти страдания.

То, что она, как нежно любящая жена и мать, будучи разлучена с Фламиниусом и дорогими детьми, невыносимо страдала, ясно доказывало ее лицо, несмотря на то, что с ее губ не сорвалось до сих пор ни одной жалобы.

Еще немного, и любовь Сисидоны к сестре взяла бы верх. Еще момент, и она готова была бы броситься сестре на шею и со слезами начать просить у нее прощения, утешать ее в том, что была так жестоко наказана за ее временное, как была в этом уверена Сисидона, ослепление. Но, к сожалению, эти готовые было вырваться наружу лучшие чувства были тотчас же вытеснены другими, волнительными страстями…

Гордая девушка сжилась с мыслью, что Флавия совершенно испортила не только свою

будущность, но, благодаря своему несносному упрямству, навлекла стыд и позор на головы любимого мужа, детей и всех близких, дорогих ее сердцу.

Не высказав сестре ни единого слова утешения, Сисидона собралась было уже уйти от нее, убедившись в тщетности своих попыток возвратить римским богам отступницу, как вдруг портьеры быстро распахнулись, и к ногам Флавии бросилась, задыхаясь от быстрого бега, ее верная Нериса, на лице которой выражался неподдельный ужас.

— Спаси меня! Спаси меня! — с отчаянием в голосе кричала она.

— Что с тобой? Что случилось? — тревожно спросила Флавия, голос которой дрожал от волнения.

— Говори! — строго приказала Сисидона. — Говори скорее! Разве ты не видишь, что твоей госпоже от испуга может сделаться дурно?

— Мой повелитель… Мой повелитель… — бормотала несчастная рабыня, заливаясь горючими слезами.

С искренним состраданием посмотрела Флавия на расстроенную бедную девушку, не зная, чем утешить ее.

— Я сама пойду на передний двор, чтобы узнать, в чем дело! — строго проговорила Сисидона, потерявшая всякое терпение.

— Если окажется, что всему причиной какая-нибудь ничтожная ссора этой девушки с ее подругами, то я советовала бы тебе не церемониться с ней и хорошенько наказать ее за устроенный переполох, последствия которого могли быть очень дурны!..

Оставшись одна со своей любимой госпожой, Нериса решилась поднять заплаканные глаза, поцеловать ей руку и поведать свое, так неожиданно посетившее ее горе.

— Мой повелитель узнал, что я христианка… Он продал меня, продал! — заливаясь слезами, проговорила прерывающимся голосом Нериса.

Флавия так поражена была этим известием, что едва могла проговорить:

— Он продал тебя?

— Да, мой повелитель продал меня фесалоникийскому торговцу рабами, — ответила Нериса, тщетно силясь задушить свои рыдания.

Флавия точно онемела и неподвижно вперила глаза в свою несчастную прислужницу. Невыносимая боль сжимала ей грудь при мысли, что она ничем не может помочь этой бедной девушке, всегда с таким самоотвержением служившей ей. Кроме того, она любила ее еще и как сестру во Христе.

Закрыв лицо обеими руками, Флавия, эта добровольная страдалица, громко и тяжело вздохнула.

— Бедная ты моя Нериса! — прошептала она, наконец, тихо. — Я только могу молиться за тебя! Господь, всегда пребывающий среди верных, любящих Его и идущих по Его путям людей, не замедлит прийти и к тебе на помощь!.. — с чувством проговорила Флавия, глаза которой

горели каким-то неестественным огнем.

Но это утешение не действовало теперь на Нерису. Она медленно покачала головой и уныло ответила:

— Уже много тяжелых лет прошло с тех пор, как братия поддерживает себя надеждой, что пришествие Господа нашего близко!.. И много истинно верующих в Него погибло под жестокими муками ради славы Его, — а Он все еще не идет…

Дух сомнения сквозил в каждом Слове страдалицы.

— Ты забыла, моя бедная Нериса, что Иисус Христос учит нас терпеливо ждать и Сам служит нам примером в этом отношении! — продолжала утешать госпожа свою рабыню, сама не менее ее нуждаясь в таком утешении.

— Если бы Он, наш Искупитель, пришел теперь же, то что сталось бы с теми, которые, как я, многогрешная, только что уверовали в Него, познав и полюбив Его всем сердцем и всей душою своею? Так знай же, моя дорогая Нериса, что Спаситель наш, будучи многомилостивым и долготерпеливым, дает время людям обратиться к Нему! Но будет время, и оно скоро настанет, когда нива, засеянная Им, созреет и жатва будет обильна…

— Зачем не превратит Он храм языческого бога-идола Юпитера в развалины и не воздвигнет на его месте Свой престол? — в отчаянии проговорила Нериса. — Зачем не прекратит Он страданий верных Своих?

— Не ропщи на Господа Бога твоего, Нериса! Ты не так жестокосердна, какой хочешь казаться… Подумай только о судьбе тех тысяч несчастных, которые поклоняются ложным богам, Юпитеру и другим, и которые должны познать истинного Бога — Иисуса Христа! — возразила с ужасом Флавия.

И при этом она невольно подумала о своем муже, об их общем покровителе — Марке Аврелии и о многих других умных и благородных римлянах, в слепоте своей душевной поклоняющихся идолам, почитая их за истинных богов, и подвергающих гонению поклонников истинного Бога, во искупление грехов всего человечества пролившего Свою Кровь и принявшего крестную смерть, сжигая их на кострах, усекая им головы, распиная их и отдавая на растерзание хищным зверям для умилостивления своих ложных богов.

— Если Господь медлит это сделать, Нериса, то этим Он только показывает Свою беспредельную любовь и милосердие к людям, — продолжала Флавия после короткого размышления. — И милосердием Своим Он скорее обратит врагов Своих на путь истины, чем Своим могуществом. Ибо могущество Его не в силе, а в беспредельной любви. И настанет время, когда они сами будут прославлять имя Его — да и теперь уже прославляют через гонения свои — и повергнутся к стопам Его, прося помиловать их за прежние заблуждения. Господь знает, когда исполнить Свое обещание, Он явится с помощью именно тогда, когда увидит, что для того настал час!..

— Да, да, Он исполнит Свое обещание, а мы должны непрестанно молиться и терпеливо ожидать Его… — порывисто проговорила Нериса, с умилением глядя на свою добрую госпожу, совершенно забыв в эту минуту о своей печальной участи и видя, насколько вера еще недавней ученицы ее была сильнее веры самой учительницы.

До сих пор она, Нериса, поддерживала свою госпожу в трудные минуты испытаний, теперь же было наоборот. Заметив многоговорящий взгляд бывшей своей учительницы, Флавия, стараясь

улыбнуться, сказала ласково:

— Отныне Иисус Христос — мой единственный руководитель, Нериса. Я чувствую, что когда мое сердце, тоскуя по разлученным со мною дорогим моим детям и муже, по временам готово разорваться на части, Он один поддерживает меня невидимо, взяв под Свое особое покровительство…

— О, как счастлива моя госпожа! Как сильно нуждаюсь теперь и я в Его поддержке, руководительстве и заступничестве! — скорее простонала, чем проговорила Нериса.

— Молись и проси Его, моя дорогая сестра, и Он поможет тебе! — прервала ее дрожащим от волнения голосом Флавия. — Как бы сильно ни было твое горе, Нериса, оно не может сравниться с теми пытками, которые переживаю теперь я! Ты не поймешь, насколько я больше тебя нуждаюсь в Его помощи! Ты не поймешь, какое ужасное горе находиться в постоянной, а может быть и в вечной разлуке с самыми дорогими и близкими своими на земле… И если Господь не изменит образа мыслей моего мужа, страданиям моим не предвидится конца…

— Прости меня, моя добрая госпожа, что я пришла к тебе изливать свое горе! Крест, который ты несешь, во сто раз тяжелее моего! — проговорила Нериса и поникла головой.

— И твой, и мой кресты одинаково тяжелы! Но если даже нам обеим суждено пасть под этой ношей, будем помнить одно — что Господь вознаградит нас за наши страдания в Царствии Его небесном! — искренно ответила ей Флавия.

— А теперь прощай, Нериса! Да пребудет с нами Господь наш Иисус Христос во веки веков! Да благословит Он тебя за все, чему ты меня научила! Будем надеяться, что мы вскоре снова увидимся!

В то время, когда Флавия произносила последние свои прощальные слова, одна из портьер медленно распахнулась, и рабыня, пришедшая к Флавии с каким-то поручением, в недоумении остановилась на пороге, будучи поражена таким сердечным прощанием госпожи со своей рабою. Заметив свою сослуживицу, Нериса сразу же догадалась о цели ее прихода сюда. Медленно приподнялась она с колен и, еще раз простившись со своей доброй госпожой, тихо вышла из комнаты.

Тоскливо было на душе Флавии, когда Нериса удалилась, и только твердая, непоколебимая вера ее в своего Искупителя поддерживала ее в эту минуту нового испытания.



Рис. Маргариты Мальцевой

* * *

То, что Фламиниус избегает общения с женою — это было, к сожалению, слишком ясно не только для самой Флавии, но и для окружавших ее. С каким удовольствием страдалица пошла бы к нему просить за свою верную рабу, но она хорошо понимала, что теперь это только может повредить делу и что лучше повременить, пока гнев его окончательно не уляжется.

Тем временем она решила осторожно действовать и как можно больше разузнать, где находятся ее дорогие дети. С этой целью и чтобы узнать некоторые подробности о Нерисе, о ее предателе и о лице, которому она продана, Флавия, спустя несколько часов по уходе Нерисы, отправилась в комнату сестры, которая, по просьбе вошедшей, удалила на некоторое время служанок, прислуживавших ей.

Когда рабыни удалились, Флавия, заметив, что сестра ее собиралась переодеться, робко спросила ее, не собирается ли она к Фламиниусу. Сисидона подтвердила ее предположение. Затем, вынимая из ларчика свои драгоценные украшения, которые она намеревалась надеть, сказала Флавии, что отправится вместе с ним к императрице, которая устраивает вечером беседы и игры.

— Фламиниус ничего не говорил тебе о детях? Он не передавал через тебя никаких поручений мне? — спросила после довольно продолжительной и томительной паузы Флавия.

— Он сказал, что дети только тогда будут возвращены тебе, когда ты отвергнешь то, чему научила тебя поклоняться твоя Нериса! — безжалостно ответила Сисидона, не глядя на сестру.

— Кто этот гнусный раб, который выдал мою добрую, мою верную сестру во Христе, Нерису? — спросила Флавия, в голосе которой слышалось негодование, а глаза на секунду загорелись тем недобрым огоньком, который наблюдали в своей госпоже, в минуты проявления ею гнева, когда она была еще язычницей, прислуживавшие ей рабыни.

При этих словах Сисидона вся вспыхнула.

— Я бы хотела знать, кто из рабов посмел бы скрыть от своего повелителя то, что уже сделалось достоянием всего сплетничающего города?! — холодно-вызывающе, ничуть не растерявшись, ответила Сисидона.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Флавия удивленно.

— О боги! Да разве это известие для тебя новость? — в свою очередь спросила Сисидона. — В таком случае, я могу только сказать тебе, Флавия, что имя твое теперь у всех на языке. Везде: и в купальнях, и на улицах, и на зрелищах, и на собраниях, — только и разговора, что о твоем позоре!.. И я удивляюсь, как это бедный Фламиниус может еще жить в Риме и посещать торжества, всегда сопутствуя нашему доброму императору!..

— Замолчи, Сисидона! — сдержанно-негодующе перебила сестру Флавия. — Я уже неоднократно говорила тебе, что, как истинная христианка, я нисколько не стыжусь быть рабой Царя царей!..

Слова эти были встречены громким, полным ехидства смехом Сисидоны.

— Твой Царь царей никогда не будет царствовать в Риме! — гордо подняв голову, проговорила надменная патрицианка. — Никогда храм Его в катакомбах, который произвел на тебя такое чарующее действие, не дерзнет выйти из своей трущобы на землю и не достигнет того величия и славы, какими пользуются храмы наших добрых богов — Юпитера и Аполлона!

— О, можешь быть уверена, сестра, что недалеко то время, когда имена ваших ложных богов-идолов, Юпитера и Аполлона, будут вызывать точно такой же смех, каким ты, по слепоте своей душевной, смеешься над Тем, Кто из любви к тебе, недостойной, пролил Свою Кровь Святую! И имена эти будут забыты, а имя Спасителя, Просветителя и Очистителя душ наших, Иисуса Христа могущественной волною бесконечной своей любви вытеснит все злое и языческое и покроется славой вечной и нетленной, какой ни один народ еще не слышал!.. И восцарствует Он тогда от восхода солнца и до заката, и преклонятся пред Ним все языки и народы, все князья и цари мира сего!.. — восторженно и бесстрашно проговорила Флавия, глаза которой горели теперь каким-то неестественным огнем, а щеки пылали густым, ярким румянцем.

— Ты, право, какая-то странная, — заметила уже несколько мягче и как будто смущенно Сисидона, пожав плечами, и при этом удивленно посмотрела на восторженную сестру, не зная, смеяться ли ей над этой восторженностью Флавии и над ее верой, или пожалеть ее слепое, по ее мнению, заблуждение.

Флавия же, думая, что слова ее произвели на сестру, впечатление, хотела воспользоваться случаем и прибавила:

— О, дорогая сестра моя, если бы ты только могла понять, какую радость испытываешь, когда можешь считаться апостолом Иисуса Христа, Избавителя всего мира от грехов и первого Помощника во всех горестях и печалях наших, ты бы ни на минуту не задумалась протянуть к Нему руки и сказать Ему: «Приди и вселися в меня, и просвети меня, недостойную!»



Рис. Маргариты Мальцевой

— Остановись, Флавия! — перебила Сисидона сестру. — Я не могу и не хочу тебя больше слушать и прошу тебя в последний раз: забудь о том, что говорила тебе Нериса об этом еврейском сумасброде и пролазе!

— Бедная Сисидона! — невольно пожалела Флавия сестру. — Как глубоко твое невежество и как ужасна твоя слепота...

Сисидона только нервно-нетерпеливо двинула плечами, но ничего не сказала.

— Бедная Нериса! Куда тебя, несчастную, отведут! — прошептала с участием Флавия после небольшой паузы.

— Как тебе уже известно от нее же самой, Фламиниус ее продал, так как попытка убедить ее поклониться нашим богам не привела ни к чему! — сказала Сисидона и громким хлопаньем в ладоши она опять позвала своих рабынь, давая этим понять сестре, что она не расположена более продолжать неприятный для нее разговор.

* * *

Фламиниус, между тем, тешил себя надеждой, что удаление детей и продажа верной рабыни-христианки сломят, наконец, упрямство Флавии, и посещение ею христианской церкви в катакомбах, о котором заговорил весь город, должно было тогда, по его мнению, само собою предаться забвению.

Но надежды его, однако, так и оставались только надеждами, осуществление которых трудно было ожидать. Отказ Флавии посещать храмы языческих богов и отсутствие ее вместе с мужем на различных увеселениях продолжало быть заметным для всех. Кроме того, вскоре стало известным, что любимец императора, его первый секретарь Фламиниус, разъединясь с женою,

устроился на другом конце дворца. Немудрено поэтому, если Сисидону и Фламиниуса забрасывали вопросами об отсутствии Флавии. Вначале еще было нетрудно изворачиваться, не открывая истины, но это продолжалось недолго и вскоре сделалось положительно невозможным утаивать то, что было на самом деле известно всем.

Теперь же и муж, и сестра смело могли объявлять всем на задаваемые им вопросы, что Флавия больна.

Как ни сильна она была духом, как ни пламенна и ни тверда была ее вера, тело ее не выдержало целого ряда нравственных пыток и… она слегла, думая только о своей смерти. Известие об опасном состоянии здоровья больной поразило Фламиниуса. Со дня ее исповеди он не видел ее. Не хотел он показаться ей и теперь, а тихо проник в ее комнату, когда она спала.

Но кто в состоянии описать его ужас, горе и отчаяние, когда он увидел ее мертвенно-бледное, осунувшееся лицо и ввалившиеся щеки — следы тех нравственных мук и страданий, которые несчастная мать и жена перенесла в своем одиночестве.

— О, Сисидона! — прошептал пораженный изможденным видом жены Фламиниус, заламывая руки и закрывая ими лицо, на котором ясно отражалось его душевное состояние. — Ее надо спасти, во что бы то ни стало! Я сейчас же велю отправить в храм Фортуны жертвоприношения и осведомиться у врача о причине ее болезни.

Очевидно, подавляемое им до сих пор чувство любви к Флавии с удвоенной силой дало ему понять, что он должен обвинять одного себя за то печальное состояние здоровья жены, которое было следствием его почти ледяного к ней отношения. Как часто Сисидона передавала ему просьбы тосковавшей и не находившей себе места нежно любящей жены и матери, чтобы он вернул ей ее дорогих детей, но всякий раз он отказывал в этой просьбе одними и теми же словами:

— Пусть она сначала отречется от своего нового Бога.

Разве не он велел передавать ей, что если она любит своего Бога больше, чем детей и мужа, то им гораздо лучше будет жить в разлуке с нею… Наконец, не он ли сам старался уверить себя в том, что ошибся во Флавии, считая ее раньше за кроткую, уступчивую и беспредельно любящую жену, тогда как на самом деле в ней с такой силой проявились все дурные качества, присущие христианам: жестокость, упрямство, бессердечие по отношению к близким и даже нелюбовь к мужу и детям…

Вытянувшаяся во весь рост, исхудавшая больная заставила его сбросить завесу, застилавшую до сих пор его глаза. Только теперь он убедился в том, как сильно страдало это любящее сердце и что именно только тоска по своим дорогим близким подточила силы и здоровье этой верной жены и искренне любящей матери.

Приглашенный Фламиниусом врач пустил в ход все имевшиеся в его распоряжении лечебные средства, чтобы поднять больную, но это ни к чему не привело. Состояние здоровья больной все ухудшалось, а страх и горе мужа увеличивались, и когда Сисидона снова рискнула попросить Фламиниуса возвратить несчастной матери детей, отказа с его стороны на сей раз не последовало.

Как и надо было ожидать, возвратившиеся любимцы матери оказались на самом деле лучшим лекарством для больной. Она, хотя и медленно, но все-таки заметно поправлялась — к общей радости как родных, так и остальных, окружавших ее. Радость, конечно, еще удвоилась бы, если бы исполнилось желание Фламиниуса, то есть если бы его нежно любимая жена снова

возвратилась к старым богам. Но именно этого добиться было труднее, чем отыскать живительный источник холодной воды в песчаной пустыне.

Когда выздоровевшая, наконец, Флавия наотрез отказалась принести благодарственную жертву богам, Фламиниус решился предоставить жене полную свободу в новом исповедании. Кроме того, он твердо решил просить императора назначить его куда-нибудь в одну из провинций, с позволением никогда более не возвращаться в Рим, в котором произошел такой переворот в его мирной и спокойной ранее семейной жизни.



Глава VIII. Переселение в Смирну

Изгнанная язычниками маленькая колония христиан, о которой говорилось в предыдущей главе, поселилась в местности, во всех отношениях не благоприятствовавшей для поселения.

Не говоря уже о том, что близко под руками не было никаких строительных материалов для возведения новых мало-мальски сносных жилищ, но трудно было ожидать, чтобы колония эта могла здесь, приложив все свои старания, извлечь выгоды, которые могли бы, хотя наполовину, обеспечить их жизненные потребности. Хотя бедные христиане ничтожные свои запасы, оставшиеся после наводнения, братски разделили между собой поровну, все ж таки трудно было избежать голода в холодную зиму, последовавшую тотчас за наводнением.

Их соседи-язычники, хотя и не в такой степени бедные, как они, были неоднократно снабжаемы хлебом из императорских кладовых.

Но разве смели христиане, которые в глазах народа являлись исключительными виновниками этого бедствия, также просить вспоможения, ссылаясь на свою нужду? Разве, явившись за этой помощью, они не навлекли бы на себя более сильного гнева невежественной толпы и варварского ее обращения с христианами? И без того они постоянно служили для язычников мишенью всяких поношений и издевательств, следовали учению своего Божественного Наставника, платя своим притеснителям и гонителям за зло добром.

Но удивительная кротость христиан и их покорность своей судьбе еще более раздражали грубых язычников, хотя среди них находились уже и такие, которые осторожно, но чутко прислушивались к учению Распятого Пророка и даже временами проявляли желание ближе познакомиться с этим учением.

Результатом этого было то, что не только шерсточесы и каменоломы, но изредка и члены богатых и знатных римлян тайно пробирались в подземный храм христиан, чтобы послушать

повествования о чудесной и беспредельной любви к человечеству Божественного Иисуса.

Хотя холодная зима и была довольно счастливо пережита христианами, но наступившая весна принесла неожиданно новые беды: повальные болезни и ужасную смертность, одной из первых жертв которой сделалась дочь бывшего виноградаря Плаутиуса, хорошенькая девочка восьми лет, с которой мы познакомились в первой главе нашей повести.

С тех пор, как Плаутиус переселился сюда с семьей из долины Арики, маленькая девочка все время похварывала. Несколько же дней мучительной болезни окончательно сломили ее и без того уже слабое здоровье, и она переселилась в тот лучший из миров, где нет ни печалей, ни воздыханий, но жизнь бесконечная.

Покорно и безропотно, как и подобает истинным христианам, переносили родители постигшее их испытание — эту горестную утрату, и отец приготовил для своей дочурки в одной из ниш катакомб, где он и сам часто работал, последнее и вечное место ее упокоения.

Над гробницей дочери, на мягком туфе, Плаутиус высек виноградную лозу, а возле нее отделившуюся небольшую ветку этой лозы. Незадолго перед тем тут же был похоронен один сапожник, над гробницей которого были высечены два башмака.

Подобные эмблемы над гробницами того времени вообще были не редкость, так как этими эмблемами желали указать, к какому сословию принадлежит погребенный здесь член христианского общества.

Но Плаутиус не удовольствовался тем, что высек над гробницею своей дочери эмблему, напоминавшую настоящее ремесло ее отца; по его просьбе, один из друзей его высек на камне слова: «Она покоится здесь в мире».



Не успели еще бедные родители прийти в себя от постигшего их испытания, похоронив свою маленькую Юлию, как в одно прекрасное весеннее утро заболел ее братец, а неделей позже глубоко огорченные родители вторично шли по той же дороге, по которой еще так недавно прошли они с останками дочери.

В ту же неделю похоронили они и дорогого, доброго своего пастыря — епископа Аникиту, гробница которого была устроена у самого входа в церковь. Над гробницей его высечена была эмблема, в которой каждый приходящий христианин, даже не посвященный в науки, легко мог разгадать ее смысл.

Это была эмблема веры, надежды и любви.

Эмблема эта состояла из круга (вечность), внутри которого находились буквы Х и Р, соединенные в виде креста, по сторонам которого, внизу, стояли две греческие буквы: а (альфа) и w (омега), т. е. начало и конец греческой азбуки. Каждый христианин сразу же узнавал, что под этими буквами подразумевался Господь наш Иисус Христос, сказавший: *«Я есмь альфа и омега, начало и конец, в бесконечности»*[23].

Над этой эмблемой была высечена другая, изображавшая рыбу! Рыба — по-гречески Icqaj и если это слово расчленить на отдельные буквы, то каждая буква явится началом следующих слов: «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Кроме того, на самом изображении рыбы, было высечено греческое слово, которое означало «спаси нас». Это слово, равно как и изображение самой рыбы, часто можно было видеть высеченными над гробницами христиан.

Смысл же этих двух эмблем был такой «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель (мира), умерший на кресте, вечен, ибо Он есть начало и конец».

Бедные христиане, преследуемые не только своими гонителями-язычниками, но и самой природой, могли находить себе теперь утешение только в одной вере!

Не было семьи, которую не посетил бы ангел смерти и не унес бы кого-нибудь из ее членов. Поэтому праздник Пасхи, этот праздник из праздников христиан, был встречен ими в тот год с особенной радостью, как праздник любви и всепрощения; как праздник утешения и подкрепления духовных сил.

Присутствовать на этом празднике разрешено было только тем, кто уже присоединился к обществу христиан через таинство Святого Крещения, так как в этот день, обыкновенно, присутствовавшие причащались Святых Христовых Таин.



Рис. из оригинала текста «Узкий путь…»

После богослужения и причащения христиане собирались к общему обеденному столу. Обед состоял только из вина, хлеба и продуктов растительного царства. С одной стороны стола, поставленного под открытым небом, садились мужчины, с другой — женщины.

Следуя наставлениям святых апостолов, все христиане при встрече братски целовались друг с другом.

Когда все верующие собрались, праздник начался с молитв и пения псалмов.

Затем последовала трапеза. Во время обеда велись беседы о земной жизни Иисуса Христа, о Его чудесах исцелений больных и воскрешения мертвых, а равно и о Его божественном учении.

Тут же обсуждались и текущие дела местной христианской церкви.



Как и в большинстве случаев, беседу начал епископ Виктор, который, между прочим, коснулся и последнего посещения Рима епископом смирнским Поликарпом[24].

Это было в 158 году, когда на римском престоле восседал император Антонин, прозванный Кротким, а епископом римским был недавно умерший епископ Аникита. Епископ Поликарп явился тогда в Рим, чтобы сговориться с епископом Аникитою[25] относительно установления времени общего празднования дней Пасхи.

Любимый ученик Иисуса Христа, святой апостол Иоанн, учеником которого, в свою очередь, был епископ Поликарп, относительно празднования Пасхи придерживался древнего иудейского обычая, то есть празднуя ее в 14-й день мартовской луны, каким бы ни был этот день в седмице, в воспоминание крестной смерти Спасителя.

Его примеру следовали и все восточные христиане, тогда как христиане Рима, Карфагена и Александрии чтили дни смерти, погребения и воскресения Господня: то есть пятницу — как день смерти, субботу — как день погребения и воскресение — как день Воскресения Его из мертвых.

Епископ Виктор, занимавший теперь место покойного епископа Поликарпа, с особенным увлечением рассказывал собравшимся о Смирнском епископе Поликарпе во время его пребывания в Риме, об апостоле Иоанне, единственном тогда остававшемся в живых ученике Иисуса Христа и представителе апостольского периода.

Собравшиеся со вниманием слушали, боясь проронить хотя бы одно слово из рассказа своего любимого пастыря о том, как епископ Поликарп пешком пришел в Рим из Смирны; как покойный епископ Аникита, считая приход его в Рим важнейшим в то время событием, старался оказать ему подобающие его сану почести. Он видел в нем не только старшего брата во Христе, но даже и начальника своего, хотя благочестивый старец, в свою очередь, старался убедить Аникиту, что явился в Рим не для того, чтобы домогаться власти над римской и другими церквами, и положительно запретил оказывать ему какие бы то ни было почести. Рассказывал епископ Виктор и о том, как оба епископа, Поликарп и Аникита, всесторонне обсуждали живо интересовавший их вопрос, высказывая друг другу различные мнения по этому поводу. Тем не менее, во время прений оба епископа были чрезвычайно спокойны и, в конце концов, пришли к тому заключению, что хотя мнения их в некоторых, несущественных

пунктах и не сходны, но они не должны тормозить дела распространения среди народов учения Христова. Христианство обоим им одинаково дорого и дороже всяких личных их взглядов на тот или другой пункт обсуждавшегося вопроса.

— Самое дорогое для меня воспоминание заключается в том, — сказал, заканчивая свою беседу, епископ Виктор, — что я удостоился принять благословение и Святое Причастие из рук, которые, может быть, не раз лежали в руках проповедника бесконечной любви, апостола Иоанна (Богослова), в свою очередь удостоившегося принять это Причастие из рук своего божественного Учителя, Господа нашего Иисуса Христа, за несколько дней до Его крестных страданий.

Некоторые из присутствовавших и раньше уже слышали рассказ епископа Виктора, относящийся ко времени посещения Рима епископом Поликарпом, но Плаутиус и его жена слышали его впервые. Поэтому они почувствовали себя после этого так же, как если бы сами пережили все то, что пережил рассказчик. Им казалось, что они жили еще в то время, когда Господь Иисус Христос ходил по земле и поучал народ, разделяя даже трапезу со своими друзьями и учениками.

— Жив ли еще епископ Поликарп? — тихо спросил Плаутиус одного из своих соседей.

— Да, по воле Господа нашего — да будет благословенно имя Его! — он еще жив, — ответил ему тот.

— О, как бы я желал хотя бы один раз увидеть его! — воскликнул Плаутиус.

При этом он невольно вспомнил о своей свояченице Нерисе, которая была продана Флавиусом, за принадлежность ее к христианскому обществу, смирнскому торговцу рабами и которая могла теперь видеть и слышать этого благочестивого старца, чтимого и любимого всеми христианами.

По окончании трапезы епископ Виктор развернул пергаментный свиток, оставленный епископом Поликарпом братии Рима. Свиток этот заключал в себе Послание святого апостола Иоанна. По прочтении из него одной главы, христиане снова начали петь псалмы. Затем епископ Виктор произнес заключительную молитву, по окончании которой присутствовавшие сердечно простились, обняв друг друга, и разошлись.

Прошло несколько времени, и Плаутиус начал замечать, что жена его с каждым днем становилась все слабее и слабее. Боясь, что здоровье ее не выдержит, и она в один прекрасный день последует за своими дорогими детьми, оставив его одного доживать свой век, он решился попытаться возвратиться на их прежнее место жительства — в прекрасную долину Арику, надеясь, что климат ее благотворно повлияет на здоровье его жены.

С этою целью Плаутиус отправился однажды туда навести справки, не найдет ли он себе там работы в виноградниках. Но в долине его ожидала полнейшая неудача. Так как весть о том, что Плаутиус переменил религию и присоединился к ненавистным христианам, дошла и до прежних его соседей, то никто из них не хотел уступить ему в аренду ни жилища, ни клочка земли для обработки, из боязни, что отступник может навлечь на них справедливый гнев их богов, могущих причинить жителям долины массу неисчислимых бед.

Огорченный и разочарованный Плаутиус вернулся в Рим, раздумывая, как бы помочь своему горю. Он хорошо понимал, что для того, чтобы жена его и последний ребенок не были похищены смертью, ни один из них не должен был оставаться долго в самом Риме. Только быстрая перемена теперешнего их местожительства в нездоровой местности могла спасти их.

Но куда переселиться? Вот вопрос, разрешить который было гораздо труднее, чем Плаутиус мог даже представить себе.

Возвратясь из долины, он даже боялся сначала передать своей бедной больной жене о неудавшейся попытке опять устроиться там. Но она приняла его сообщение гораздо хладнокровнее, чем он ожидал.

— Господь все делает к лучшему. Мне только очень хотелось бы еще хоть раз повидать Нерису, — спокойно сказала жена Плаутиусу.

То обстоятельство, что сестра ее находится теперь в Смирне, а они в Риме, нисколько не смущало ее. Ведь дорога туда, рассуждала она, и для них открыта так же, как и для других. Конечно, о том, что Рим отделяет от Смирны большое расстояние, наивная женщина, не знакомая с географией, совсем и не думала. Что же касается научных познаний в этом отношении самого Плаутиуса, то познания эти ограничились предположением, что Смирна должна находиться где-то по другую сторону моря и представлять собой большую морскую гавань Италии.

Плаутиус улыбнулся, когда услышал желание своей жены, зная, как оно трудно выполнимо. Тем не менее, вместо того, чтобы отвлечь мысли ее от этого желания, хотя бы временно, он стал сообщать ей об этом далеком городе сведения, достоверность которых была весьма сомнительна, так как и сам он почерпнул их из источников, проверить которые было для него более или менее трудно. Он рассказывал жене, между прочим, что Смирна лежит в плодородной стороне, где сбор винограда производится дважды в год; что, кроме винограда, страна эта изобилует финиками и пряностями; что опытному и трудолюбивому виноградарю в Смирне не трудно зарабатывать свой насущный хлеб… Неудивительно поэтому, что жена Плаутиуса, слыша рассказы своего мужа о такой благословенной стране, в которой они могли бы безбедно существовать, стала уже настойчивее выражать желание возможно скорее перебраться туда.

Но для свершения такого путешествия, конечно, недостаточно было одного только простого желания, а нужно и нечто более существенное, хотя бы это путешествие и было предпринято такими невзыскательными людьми, как наш виноградарь и его жена, которые не стали бы предъявлять в пути претензий на какие-либо удобства, не говоря уже об излишествах. Для этого нужен был кошелек, и притом кошелек не пустой! А то, что кошелек Плаутиуса, если только таковой вообще имелся у него, не был наполнен золотом и серебром, это не подлежало никакому сомнению. Однако не одно только безденежье служило помехой рискнуть и решиться на такой шаг. Не менее важную роль играла забота о жене и ребенке, на здоровье которых поездка могла оказать неблаготворное влияние. Ведь в Смирну можно было добраться только водным путем, а запугать свою жену морской болезнью, о которой она имела столько же понятия, сколько и о географии, любящему мужу рассчитывать было очень трудно, если совсем невозможно.

Когда Плаутиус старался доказать ей все трудности этой поездки, она только беззаботно, с чисто детской наивностью возражала:

— А зато в Смирне мы увидим не только сестру Нерису, но также и благочестивого епископа Поликарпа.

Но в тот же момент радостное, полное надежд выражение ее лица сменилось грустным. Ведь если они переселятся в Смирну, то навсегда должны будут покинуть Рим, в гробницах катакомб которого покоятся останки дорогих детей… И она зарыдала как маленький ребенок.

Плаутиус всячески старался утешить плакавшую жену, говоря, что они пока не уехали из Рима, а если бы даже и покинули его, то в Смирне им удалось бы устроиться и жить гораздо лучше, чем в Риме, так как в Смирне заработок их был бы больше, да и перемена вредного климата, в котором они живут теперь, должна одинаково благотворно повлиять на расстроенное здоровье ее самой и на здоровье их больного ребенка. Эти доводы немного успокоили жену Плаутиуса, и она перестала плакать, а через несколько дней стала готовиться к переселению в Смирну, ни над чем более не задумываясь.

О приобретении средств для поездки Плаутиусу не пришлось заботиться, так как первый же судовладелец, к которому он обратился, согласился перевезти его с женой и ребенком в Смирну бесплатно, но под тем непременным условием, что Плаутиус будет помогать в дороге команде корабля. Нечего и говорить, что условия эти были приняты с радостью.

Таким образом, главное, казавшееся непреоборимым препятствием, — недостаток средств, — было устранено совершенно неожиданно и с гораздо большей легкостью, чем приобретение участка земли в долине Арике.

Простившись со своими друзьями и со всем, что было для них дорогого в Риме, Плаутиус с женою перебрались на корабль, который через несколько дней мчался по синим волнам Средиземного моря, унося их в далекий, чужой еще для них, край.



Глава IX. В Ефесе

На поданное Фламиниусом императору прошение — разрешить ему покинуть Рим и переселиться с семьей куда-нибудь в провинцию, ответ последовал гораздо раньше, чем можно было даже ожидать. Ему было предложено место правительственного чиновника в Ефесе, которое он охотно принял, а так как время было весеннее, то есть лучшая пора для путешествия по морю, то он немедленно начал собираться в дорогу.

Через несколько дней ненавистный теперь Фламиниусу Рим находился далеко уже позади него.

Полный радужных надежд, он всеми помыслами своими стремился к месту нового своего назначения.

Кроме семьи Фламиниуса, на том же корабле ехало много других богатых римлян, временно покидавших Рим, доверясь коварному морю. Большая часть пассажиров ехала не по делам службы, а, пресытившись разного рода увеселениями царственного города и ища хоть какого-

нибудь разнообразия, отправлялась в Ефес для того, чтобы присутствовать там на празднествах в честь богини Дианы (Артемиды)[26]. Эти празднества происходили всегда в мае месяце, почему и месяцу этому было дано название «Артемизий» или «месяц Артемиды».

Так как Ефес в это время года всегда был переполнен чужеземцами, являвшимися туда, чтобы поклониться богине и насладиться царившим там почти сказочным весельем, то за городом обыкновенно разбивали множество палаток для тех из приезжих, которые не могли найти себе приюта в центре самого города.

Вот в такое-то неудачное время, когда все ефесяне лихорадочно заняты были приготовлениями к торжественным празднествам, в Ефес приехал со своим семейством и Фламиниус. На улицах города было шумно и многолюдно. Центром сутолоки была статуя богини Дианы. Толпившийся около нее народ ни о чем больше не думал, ни о чем не говорил, как только о своей могущественной Диане. Да и во всех домах города единственной интересной темой разговоров была как сама богиня, так и игры и увеселения, которые должны были быть устроены в честь ее во все дни празднеств.

Если бы Фламиниус не был влиятельным государственным человеком, то он вряд ли мог бы рассчитывать на то, чтобы его ожидала там в такое время всеобщей сумятицы, когда в город отовсюду понаехало столько народа, торжественная встреча. Только благодаря своему сану, а также предупредительности проконсула, который отрядил на пристань команду рабов для защиты от натиска толпы как экипажей, так и носилок высокопоставленного императорского чиновника, своего будущего сослуживца, приехавшие благополучно добрались до нового своего местожительства.

Флавия, здоровье которой за время путешествия по морю несколько улучшилось, приподняла немного занавеску носилок, когда они двигались среди пестрой и шумной толпы и, узнав, что толпа эта спешит, чуть не давя друг друга, к храму богини Дианы, с состраданием взглянула на этот муравейник, и из груди ее вырвался глубокий вздох.

— К сожалению, Ефес, как и Рим, поклоняется идолам! — проговорила она, взглянув на сестру.

Сисидона вспыхнула при этом замечании сестры и спросила ее смущенно:

— Почему ты говоришь это мне? Уж не думаешь ли, что и я почитание наших богов считаю идолопоклонством?

— О, я вовсе не хочу навязывать тебе этого! — кротко ответила ей Флавия. — Но, дорогая Сисидона, не ты ли сама, перед отъездом из Рима, сказала мне, что у тебя вера в твоих богов, хотя только и отчасти, но все-таки подорвалась?

При этом напоминании Сисидона быстро отвернулась и как-то нехотя проговорила:

— Ты не всегда, сестра, должна обращать внимание на то, что я говорю… Во всяком случае, лично я, как я неоднократно тебе уже говорила, желала бы, чтобы не было никаких богов вообще! Этим все мы сразу избавились бы от томящих наши сердца и волнующих наши чувства сомнений и неясностей, какому из богов должны мы поклоняться.

— О, мой друг, сомнения закрадываются только в душу того, у кого нет веры! Для истинно же верующего нет неясностей! — возразила Флавия, нежно положив свою руку на руку сестры.

Сисидона нервно отдернула ее и сказала возбужденно, опять поворачиваясь лицом к сестре:

— Ты, очевидно, забыла, Флавия, о том, что я дала слово никогда более не затрагивать вопроса об этих вещах. И хотя я и прекрасно сознаю, что это нисколько не обязывает молчать тебя, тем не менее, я хочу остаться верной своему слову…

— Я не всегда умею укрывать пред тобою свои мысли, — продолжала она еще более возбужденно. — Да и зачем это делать? Ведь ты обладаешь непонятной для меня способностью угадывать внутреннее состояние моей души, как ты ее называешь… Но я не могу… Понимаешь ли ты это?.. И не смею об этом говорить… Я должна молчать!..

Флавия с участием взглянула на говорившую с таким жаром сестру, в словах которой сквозила какая-то тревога и внутренняя неудовлетворенность, вполне понятная только одной Флавии, которая в свое время сама пережила подобное состояние.

— Ты несчастлива, моя дорогая сестра, хотя стараешься уверить меня в противном, — нежно и трогательно проговорила Флавия. — А так как ты и сама сейчас сказала, что твой зарок нисколько не обязывает меня молчать о том, что одинаково волнует и твою, и мою души, хотя испытываемые нами при этом чувства различны, то я и не буду молчать! Я буду всегда говорить об этом и, кроме того, буду молиться за тебя Господу моему, чтобы Он помог мне направить тебя на тот путь, на котором ты почувствуешь себя вполне счастливой и удовлетворенной. И я твердо верю, что это наступит скоро. Гораздо скорее, чем ты можешь ожидать, и совершенно неожиданно для тебя самой!

Сисидона как-то неопределенно улыбнулась и ничего более не ответила, задумчиво глядя в пространство.

До остановки носильщиков перед домом, в котором они должны были поселиться, сестры не проронили более ни одного слова. Часть рабов, отряженных проконсулом на пристань, сопровождала господ до дома, часть же осталась на пристани для охраны и доставки на место привезенных Фламиниусом из Рима вещей: мебели, фамильной домашней утвари, портретов предков Фламиниуса и Флавии и тому подобное…

Первой заботой Флавии по приезде было — осмотреть все помещение в отведенном для них доме. Выбрав две самые светлые и сухие комнаты, она устроила в них детей и временно поручила их попечению и надзору преданной няньки, которая ни за что не хотела остаться в Риме и последовала за своими «милыми птенчиками», как она называла детей своих господ. Затем она позаботилась устроить своего мужа, отведя для него самые удобные, после детских, комнаты. Не менее заботы проявила она также и относительно помещения для сестры, и только тогда, когда все домашние были пристроены и никто из них не выразил претензий на какие-либо неудобства, Флавия поместилась в оставшейся незанятой небольшой комнате, скромно заявив, что этого помещения для нее совершенно достаточно.

Добрая госпожа не забыла также и своих слуг, устроив и их новый приют возможно удобнее.

На другой день по приезде их в Ефес, Фламиниус пригласил Сисидону сопровождать его в храм Дианы (Артемиды), чтобы вместе совершить там жертвоприношение богине, а затем присутствовать на торжественном открытии празднеств и игр в ее честь.

Священное изображение, находившееся в величественном храме города Ефеса и всегда, обыкновенно, скрытое от глаз народа занавесями, ниспадавшими с потолка храма, открывали только один раз в год — в день праздника в честь богини. В этот день занавеси торжественно раздвигались, и глазам стекавшегося сюда народа богиня представлялась во всем своем блеске.

В толпе народа, двигавшейся по направленно к храму, находились и Фламиниус с Сисидоной, сопровождаемые рабами.

Но, о, боги, как была разочарована ожидавшая чего-то фантастически великолепного, чего-то не от мира сего молодая девушка!.. Она громко вскрикнула от ужаса, когда занавес раздвинулся и глазам ее представилась та, пред которой должна была пасть ниц вся эта собравшаяся здесь толпа невежественного народа...

Ничего безобразнее она себе никогда не могла даже и представить, как это уродливое, каменное изваяние, у которого только голова, руки и грудь имели надлежащую форму, тогда как все остальное походило более на обыкновенный черный обломок камня, чем на человеческую фигуру.

Горько разочарованная только что виденной картиной уродливого идола, девушка была несказанно рада, когда могла покинуть, наконец, еще так недавно восхищавший ее до глубины души храм этого идола.

По дороге домой Фламиниус купил себе серебряное изображение храма, которое было предложено ему одним продавцом подобных изображений.



Рис. Маргариты Мальцевой

За последнее время Фламиниус особенно усердно посещал храмы. Он не хотел пережить в Ефесе вторично того, что уже пережил в Риме. Он напрягал все свои усилия к тому, чтобы сохранить себе и всем членам своей семьи вид истинных и верных почитателей народных богов. Это было твердое решение Фламиниуса, и вот почему он так настойчиво требовал, чтобы свояченица его также оказала богам требуемое внимание и поклонение. Сисидона же, эта избалованная, упрямая римлянка, наоборот, относилась с полнейшим равнодушием к планам своего зятя. Она никоим образом не намерена была насиловать себя в чем бы то ни было и всячески старалась не посещать с ним храмов. То ей было тяжело идти туда, то она ссылалась на то, что ей надо идти в цирк или на другое какое-либо зрелище. Вообще, она вдруг сделалась

такой любительницей всяких увеселений, что Фламиниус, далеко не жадный и не мелочный человек, счел своей обязанностью, как опекун ее, сделать ей внушение, чтобы она не тратила так много денег понапрасну.

Так как римский закон воспрещал оставлять наследство в руках женщин, то Фламиниус взял на себя заботу охранять ее собственность, обещая заботиться о ее будущем, и обещание это Фламиниус честно и добросовестно исполнял. Взятая им на себя ответственность относительно молодой неопытной девушки придала ему мужество ласково, не затрагивая ее самолюбия, напомнить Сисидоне, что она вверена его попечениям не только ее покойным отцом, но также и Клавдиусом, ее женихом.

Если бы Клавдиус не был командирован в Галлию до их отъезда в Ефес, то свадьба их давно уже состоялась бы. Разрешение императора на этот брак последовало еще до командировки Клавдиуса, но состояться он не мог только из-за срочности и неотложности командировки.

Можно себе представить поэтому, с каким нетерпением Фламиниус ждал возвращения Клавдиуса. С выходом замуж свояченицы он был бы избавлен от тяжелых и ответственных обязанностей опекуна.

Все это он высказал Сисидоне, которая, капризно откинув голову назад, возразила:

— Тебе, Фламиниус, право, очень трудно угодить!.. С Флавией я не должна разговаривать, потому что ты боишься, чтобы и я не сделалась христианкой… Что я посещаю театр и зрелища, тебе тоже не нравится…

— Ни слова больше, Сисидона! — возбужденно-повелительным тоном перебил Фламиниус обидевшуюся девушку. — Я бы очень желал, и у меня есть слишком много причин на то, чтобы ты была такова же, как и твоя сестра!..

— Но… Флавия… христианка!.. — раздраженно возразила Сисидона.

— Упоминать об этом совершенно излишне! — ответил Фламиниус. — Если я говорю, что желал бы, чтобы ты была такова же, как и Флавия, то это еще не значит, что я желал бы, чтобы ты отвергла богов Рима и стала поклоняться Богу, Которому поклоняется Флавия, но…

— Я, вообще, не верю больше ни в какие божества! — злобно ответила ему Сисидона и судорожно зарыдала.

Не ожидавший, что объяснение примет такой оборот, и не зная, что ответить свояченице, Фламиниус стоял перед нею растерянный. Несколько минут спустя он сказал ей уже более ласково:

— Успокойся же, Сисидона! Я тебя не хотел обидеть!.. Да, я был немного резок с тобою, но на душе у меня так много накопилось всего, что гнетет… И все это я должен один таить на сердце и скрывать от всех, а главное — от Флавии, на которую, как тебе известно, ужасно действуют всякие неприятности!.. — говорил он, как бы стараясь оправдать себя в глазах свояченицы.

— А почему ты не хочешь со мной поделиться твоими горестями? — спросила Сисидона, поднимая взор на него и быстро вытирая слезы.

— Ну если уж тебе так хочется все знать, то слушай! — продолжал он. — Оказывается, и здесь, в Ефесе, есть целое общество христиан… И жрецы Артемиды уверяют, что ужасный пожар, который так свирепствовал недавно здесь, был следствием гнева богов, вызванного изменой им

этими несчастными… Кроме того, серебряных дел мастера забрасывают нас жалобами, что они терпят в своем деле большие убытки, благодаря распространению этой новой религии… Но что еще более ухудшает дело, так это то, что уже появились доносчики, которые несколько раз предлагали составить точный список приверженцев новой веры, причем в список этот до сих пор заносились только богатые люди… Эти негодяи настолько хитры, что направляют свои стрелы именно на них, так как с них доносчикам больше всего удается наживаться, когда богачи эти хотят скрыть от властей свою принадлежность к обществу христиан!..

— А как намерен ты поступить? Чью сторону будешь ты держать? — спросила Сисидона, пытливо глядя в глаза Фламиниуса.

— Я не проконсул и обязан только блюсти римские законы!.. — ответил он, стараясь увернуться от прямого ответа.

— Значит, ни ты и ни кто-либо другой в Ефесе не намерены защитить хотя бы единым словом этих добрых людей? — возразила Сисидона.

— Фламиниус! — продолжала Сисидона, причем она еще пытливее поглядела на зятя. — Можешь ли ты предположить, что христианская религия, которая делает своих приверженцев такими сильными и мужественными, какими выказали себя христиане, не имеет в корне своем истины?

Молча, с широко открытыми глазами Фламиниус несколько минут глядел на свою свояченицу. Наконец, как бы не доверяя себе, он робко спросил Сисидону:

— Что ты хочешь этим сказать, Сисидона?

— Я думаю, — ответила она ровным, спокойным голосом, — что если существует вообще Бог, то это именно Тот, Которого почитают христиане!

Проговорив это, она медленно прошла в свою комнату, не дожидаясь, какое действие произведут на Фламиниуса ее слова…



Глава X. Гроза надвигается

Сегодня мы находим Флавию, все время мужественно боровшуюся с разными препятствиями, встречавшимися на ее пути, переносившую вследствие этого много неприятностей и все-таки оставшуюся верной исповедуемой ею новой религии, — у постели тяжело больной любимой своей сестры. Ее бледные, провалившиеся щеки и мутные глаза ясно показывали, сколько тревожных дней и сколько бессонных ночей она провела у этой постели, искренно молясь за больную Сисидону христианскому Богу. Заменяя ей сиделку, Флавия сама все время ухаживала за ней, всячески стараясь облегчить ее страдания, чтобы только вырвать из когтей смерти.

Вот и теперь, низко наклонившись над больной, она нежно прошептала:

— Ты меня не узнаешь, Сисидона?

— Где я? — спросила больная слабым голосом.

Но в тот же момент она повернулась к стене и едва слышно проговорила:

— Ах, да, теперь я опять все вспоминаю! Я… я… сирота… и совсем одинока на земле!

— Нет-нет, сестра моя, ты не одна!.. Иисус Христос всегда с тобою! — старалась внушить ей Флавия.

— Я слишком мало знаю твоего Бога, чтобы поверить твоим словам! — едва внятно проговорила больная. — Судя по упреку, который бросил мне Клавдиус, я, должно быть, уже христианка… Но скажи мне, Флавия, какая же разница между мной и тобою? Ведь ты не выходила так из себя, и тебя не била так лихорадка, когда Фламиниус…

— Успокойся, успокойся, дорогая моя сестрица, — перебила ее Флавия. — Как тяжело отрекаться от того, кто для тебя дороже всего на свете, — знает только тот, кто испытал это сам… Да Господь, Который посылает силы и мужества испытуемому, чтобы он мог легко перенести это испытание…

— Но ты… ты ведь имела так много мужества, — тихо сказала ей больная, — а я не в силах перенести моей утраты… О, Флавия, если бы ты знала, как я люблю моего Клавдиуса!..

— Иисус Христос с Его беспредельной любовью заменит тебе твою утрату, — утешала Сисидону Флавия, глядя на нее глазами, полными слез.

Она нежно обняла больную, которая склонила свою головку на ее плечо.

Придя немного в себя после этого утомлявшего и волновавшего ее разговора, Сисидона снова начала слабым голосом:

— Теперь, больше чем когда-либо, я нуждаюсь в твердой опоре, Флавия, на которую я могла бы смело опереться, как теперь на тебя. Как давно уже длится вся эта борьба, и как меня все это утомляет! Как я устала… Если бы изображение Дианы было красивее… То есть я хочу сказать, — достаточно красивым для того, чтобы я могла без омерзения поклониться ему, я бы выбрала Диану своей опорой, своей покровительницей… Но уродство этого изображения внушило мне одно только отвращение к ней, и так как я позволила себе чистосердечно высказать это Фламиниусу, то на меня и посыпались сразу все неприятности, причинившие мне столько горя.

— Но ведь то, что ты высказала Фламиниусу, — сущая правда, и я надеюсь, что ты, сестра,

познав истинного Бога, Бога христиан, скоро исцелишься от своей душевной болезни! И ты никогда не пожалеешь в будущем, что поклонилась Ему, милосердному!.. — трогательно сказала Флавия, боязливо выжидая, какое впечатлите произведут на сестру ее слова.

— Хотя я и отказалась исполнить требование Клавдиуса и поклониться богам Рима, так как сделать этого теперь я уже не могу в силу укрепившегося во мне убеждения, что боги эти бессильны, — тихо проговорила больная, — тем не менее, мне кажется, что хотя я и страдаю, как христианка, но все-таки не имею в себе достаточно ни веры, ни надежды, которыми сильны христиане и которые поддерживают их в трудные минуты их жизни!.. — добавила она грустно.

— Господь наше упование, наша сила и крепость! — подбодряла ее Флавия. — Верь, как верит дитя, и ты сразу же получишь облегчение!

— О, если бы я могла сделать это! Если бы я могла уверовать, что Бог христиан и мой Бог! — с горечью проговорила Сисидона, глядя куда-то в пространство и тяжело вздыхая.

Флавии, этой истинно любящей сестре, которая и сама так же быстро сделалась когда-то христианкой, несмотря на то, что ей пришлось преодолеть много препятствий и пережить немало тяжелых душевных страданий, не трудно было ответить на тревожный вопрос больной девушки. Приводя из Священного Писания примеры терпения Искупителя грехов рода человеческого во время суда над Ним людей и крестных Его страданий, Флавии скоро удалось успокоить Сисидону, на которую, как на ребенка, благотворно действовали слова сестры.

— Флавия, — сказала вдруг Сисидона, все время внимательно слушавшая сестру, — если бы я могла так же уповать на Господа, как уповаешь ты, да и все христиане вообще, я бы легко и совершенно безропотно перенесла разлуку с Клавдиусом.

— Молись, моя дорогая сестра, Господу Богу и Спасителю нашему, ниспосылающему силу и крепость слабым, и Он укрепит в тебе веру твою… Молись за себя, молись и за Клавдиуса, чтобы Господь и его вразумил; чтобы и он так же познал истину, как познали ее мы с тобой…

Выслушав этот совет, больная взглянула на сестру и спросила удивленно:

— А разве и ты молилась за Фламиниуса?..

— Впрочем, я не то хотела сказать… — перебила она сама себя. — Я знаю, что ты делала это раньше, делаешь и теперь. И однако, несмотря на это, Фламиниус с каждым днем все более и более презирает христиан. Он даже счел своей обязанностью донести Клавдиусу, что и я нахожусь в опасности, будучи склонна присоединиться к обществу христиан.

При упоминании об этом поступке Фламиниуса, густая краска разлилась по щекам Флавии, этой беззаветно любящей жены. Заметно было, что слова сестры задели самое больное ее место — честь ее дорогого Фламиниуса.

— Не суди так строго Фламиниуса! — умоляюще проговорила она. — Ты должна понять, что только взятые им на себя обязанности опекуна заставили его сделать то, что сделал бы на его месте всякий порядочный и уважающий себя человек, — написать Клавдиусу. Я знаю, что он презирает и нас, христиан, и веру нашу, но я знаю также и то, что некий человек, долгое время бывший врагом и гонителем христиан, впоследствии сделался не только их приверженцем, но по внушению свыше и великим апостолом и просветителем язычников. Человек этот — апостол Павел! Я твердо убеждена в том, что и Фламиниус познает, наконец, свет истины и всей душою полюбит то, что теперь так порицает и ненавидит! Один Бог только может изменить его мысли, и Он сделает это непременно, когда настанет время. Я же буду терпеливо ожидать Его милости

и непрестанно молиться Ему!

Сисидона ничего не ответила сестре и только безмолвно, восторженно и удивленно глядела на свою сестру.

С этой минуты она решила молиться за Клавдиуса, втайне лелея надежду уже на христианский брак с ним, в чем она, не стесняясь, и созналась своей сестре. Флавия нисколько не порицала этого естественного желания с ее стороны и посоветовала только больной уповать на Бога, Который что ни делает, делает все к лучшему.

* * *

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Фламиниус поселился со своей семьей в Ефесе.

Тяжелые времена пришлось переживать ефесянам! Одно бедствие следовало за другим: не успели прекратиться в городе пожары, как появилась чума, а за нею беспощадный, со всеми его ужасными последствиями, голод. В довершение всего последовала опустошительная война, увеличивавшая со дня на день страшную народную нужду.

И здесь, как и в Риме, во всех этих бедствиях ефесяне усматривали проявление гнева богов, которые были уязвлены христианами, переставшими поклоняться им, познав какого-то нового Бога. Жрецы великой богини Дианы беспрестанно подстрекали чернь, указывая на ненавистных лично им, но ни в чем не повинных христиан, как на главных виновников всех бедствий. На рынке и на площадях то и дело происходили беспричинные нападения язычников на христиан. Часто раздавались зловещие, дикие, угрожающие крики черни:

— Смерть христианам! Да поможет нам могущественная Диана Ефесская!

Евреи, жрецы и торговцы изображениями богини старались перещеголять один другого в издевательствах над христианами. И только изредка вмешательство римских воинов на время обуздывало разъяренную чернь…

Временами ярость толпы доходила до того, что даже проконсул терялся и не знал, что предпринять для ее усмирения, сознавая свое бессилие.

В конце концов, не только проконсулу, но и другу его и ближайшему советнику Фламиниусу стало ясно, что надо изыскать какие-нибудь средства, чтобы успокоить разбушевавшихся ефесян, чтобы не вызвать с их стороны жалоб на бездействие властей — жалоб, которые могли дойти до Рима, а стало быть, и до императора, что омрачило бы его царствование. Однако оба они — и проконсул, и Фламиниус — одинаково сознавали, что для того, чтобы удовлетворить эту чернь, надо принять серьезные меры против христиан, являвшихся оскорбителями языческих богов.

Вскоре по приказанию проконсула последовавшему благодаря доносу, были схвачены три гражданина, обвинявшиеся в поношении храма великой богини Дианы и самой богини. Неудивительно поэтому, что Фламиниус, узнав о таком приказе, стал серьезно опасаться за участь своих близких, так как Флавию с Сисидоной могли выдать какие-нибудь негодяи. И если бы Фламиниус предложил тогда такому предателю все свое состояние — дела этим он не поправил бы, а напротив, только ухудшил бы его. Даже если бы он сам лично принес громадные жертвы богине, все-таки он не мог бы спокойно ни есть, ни спать и находился бы в постоянной тревоге не только относительно завтрашнего дня, но даже данной минуты.

При таких-то обстоятельствах, озабоченный изысканием средств, как бы получше обеспечить

спокойствие и благополучие своей семьи, стойкий и мужественный Фламиниус встретил сегодня Флавию далеко не в веселом настроении, даже без улыбки на лице, как это бывало всегда.

Любящая жена при первом же взгляде на мужа поняла, что у него не совсем спокойно на душе. Она тотчас же отправила детей с няней в их комнату, подсела к нему и стала расспрашивать его о причине такого удрученного состояния.

— Не получил ли ты ответа от Клавдиуса? — осторожно спросила Флавия мужа.

— Нет! — ответил Фламиниус. — Ожидаемый мною посол еще не прибыл из Рима. По всей вероятности, внимание императора теперь всецело поглощено исходом войны с парфянами…

— Разве император лично руководит войною? Разве он полководец отряда? — спросила Флавия, желая путем дальнейшей беседы выпытать у мужа причину его грустного настроения.

— А разве ты не помнишь, что со вступлением своим на престол император передал предводительствование войсками своему приемному брату Верусу? — ответил Фламиниус на вопрос жены вопросом же.

— Тогда скажи мне, мой дорогой Фламиниус, почему ты так грустен? — ласково спросила мужа Флавия. — Что могло так расстроить тебя?

Фламиниус серьезно и пытливо взглянул в красивые, кроткие глаза жены, которые были устремлены на него с неподдельным участием.

Нежно погладив ее шелковистые, каштанового цвета волосы, он сказал глухим, беззвучным голосом:

— Флавия, что сказала бы ты, если бы узнала, что именно ты и твои единоверцы-христиане навлекли на страну все эти бедствия: и войну, и наводнения, и чуму, и голод, и все прочее?

Молодая женщина едва верила своим ушам.

— Что же я могла такого сделать, Фламиниус, что вызвало бы в стране все эти страшные бедствия и эту ужасную войну? — удивленно спросила Флавия.

— Как ты недогадлива! Неужели я должен повторить тебе то, что еще вчера так громко объявляла чернь? — ответил серьезно Фламиниус.

— Разве в городе опять произошло смятение? — дрожащим от волнения голосом спросила Флавия.

— Только благодаря тому, что проконсул обещал толпе заставить отступников-христиан с уважением относиться к богам Рима и Ефеса, возмущение черни, хотя и временно, но на этот раз предотвращено… — последовал ответ Фламиниуса.

— Стало быть, теперь надо ждать преследования христиан? — испуганно спросила Флавия.

— Они должны будут поклониться и принести жертвы богине Диане или же, в противном случае, будут лишены свободы и всего своего имущества!.. — уклончиво ответил Фламиниус.

Флавия сразу не поняла, к чему клонили последние слова мужа. Ей стоило большого труда разогнать грустное настроение Фламиниуса, обещая ему не причинять семье нового горя и

стыда.

Но разве, дав мужу такое обещание, она не отреклась тем самым от Царя Небесного, от своего Спасителя?

Молча стояла она рядом с любимым мужем.

Все ниже и ниже опускалась голова ее на грудь, а из глаз тихо лились горячие слезы, крупными каплями падая на мраморный пол.

Фламиниус же, как бы онемевший на время и глядевший куда-то в пространство, сказал, наконец:

— Флавия, взгляды мои на этот счет тебе хорошо известны. Но я обещал не препятствовать тебе исповедовать твою новую религию. А ты знаешь, я всегда верен своему слову…

Уверения эти были совершенно лишни, так как Флавия прекрасно знала, что муж ее, как и всякий порядочный римлянин, свято исполнял данное им обещание, считая всякое обещание равносильным клятве.

— О, мой дорогой Фламиниус, — кротко ответила Флавия, не переставая плакать. — С какой радостью пошла бы я не только в тюрьму, но даже на верную смертную казнь, если бы могла обратить и тебя к Тому, Кто даровал всему человечеству жизнь вечную! Но кто может понять всю горечь разлуки с дорогими сердцу родными людьми?! Разъединяя мужа с женою, люди эти, точно острыми копьями, пронзают их сердца!

Но Фламиниус сделал вид, что не понял слов жены, и несколько минут спустя обратился к ней, все еще плачущей, со следующим вопросом:

— Скажи мне, дорогая моя Флавия, что я могу ответить, если ко мне обратятся с вопросом: согласна ли ты будешь принести жертвы и поклониться богам Рима и Ефеса?

— О, Фламиниус, пощади меня… — с мольбою обратилась Флавия к мужу…

Обессилевшая за последнее время от бессонных ночей и заботливого ухаживания за больной сестрой, Флавия, как громом, была поражена вопросом, заданным ей Фламиниусом.

Не в силах будучи удержаться на ногах, она упала бы на колени, если бы ее вовремя не поддержал верный Фламиниус.

— Я не виноват в гонении на христиан, дорогая Флавия! — сказал он спокойно и сдержанно, насколько ему это удавалось, стараясь замаскировать свое внутреннее волнение. — Но раз гонения уже начались, то трудно предвидеть, когда им наступит конец, и кто знает, чья очередь будет сегодня или завтра стать жертвой гнусных доносчиков! Я не в силах буду спасти тебя, моя дорогая жена! Спасение твое зависит от тебя самой…

— Нет, не от меня, а от Господа, Спасителя моего, Который Своею Кровью искупил меня… Я не в силах отказаться от Него, единственного моего Утешителя! — ответила Флавия со слезами на глазах.

— Это твое окончательное решение? — глухо спросил Фламиниус, точно ему кто-нибудь сдавливал горло.

Кто может отгадать, что происходило у него на душе в эту тяжелую минуту…

— Я не могу, я не смею дать тебе другого ответа! — едва могла выговорить Флавия, задыхаясь от слез.

Слишком неожиданно постигло ее новое испытание.

Боясь, что кто-нибудь из рабов может подслушать их разговор, Фламиниус отвел плачущую жену в ее комнату, заботливо уложил на кровать и сказал, успокаивая:

— Флавия, выслушай меня сначала и не бойся ничего. Прошу тебя, ради детей наших, будь осторожна во всех твоих поступках и постарайся меньше отлучаться из дома… Остерегайся также говорить что-нибудь лишнее при рабах… Легко может статься, что это гонение не коснется тебя, и на тебя не донесут… Может быть, то обстоятельство, что я искренне поклоняюсь римским богам, избавит и тебя от преследования…

— Если бы ты, Фламиниус, поклонялся Тому Богу, Которому поклоняюсь я и Который в трудные минуты жизни человека посылает ему силы безропотно переносить всякое горе, в надежде на лучшее будущее, я бы не боялась никакого гонения, никакого преследования, — сказала Флавия, ласково глядя на мужа.

— Твое желание так и останется одним бесплодным желанием… — коротко ответил он, нахмурив брови.

— Нет, я твердо верю, что молитвы мои не будут бесплодны! — возразила Флавия.

— Если эти твои молитвы действительно будут услышаны твоим Богом и все сбудется по твоему пророчеству, то твой Бог должен представлять из Себя на самом деле Существо великое и могущественное… Во всяком случае, предупреждаю тебя, что я не Сисидона, которой наши боги уже наскучили!.. — решительно сказал ей Фламиниус и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

Несколько минут спустя он остановился у ее изголовья и осведомился о здоровье Сисидоны, детей и о многих домашних обстоятельствах, не забыв даже и рабов.

По уходе Фламиниуса Флавия еще долго лежала на своей кровати и тихо молилась, прося у Господа, ради мужа и детей, отвести от них это новое испытание. Она нисколько не сомневалась, что занимаемое ею высокое положение не могло спасти ее, если бы ефесяне узнали, что она христианка, так как для дам высшего света не делалось исключения и они наравне с простыми смертными подвергались не только изгнанию, но и смертной казни за их богоотступничество. Хотя все рабы Фламиниуса знали, что госпожа их принадлежит к презираемой ими секте христиан, тем не менее, Флавия утешала себя тем, что рабам этим вполне можно доверять.

Среди христиан города Ефеса Флавия считалась влиятельным членом. Главной ее заботой стали беднейшие сестры и братья во Христе Иисусе, которые были разлучены со своими родными и заключены в темницы, а иные уже и казнены. Богатые христиане вообще считали своей обязанностью в таких случаях приходить на помощь своим единоверцам и делить с ними их горе.



Глава XI. В Смирне

Однако пора уже нам вернуться к нашим старым знакомым, виноградарю Плаутиусу и его жене, с которыми мы расстались в момент отплытия их на судне в Смирну.

Теперь мы встречаем Плаутиуса и Юлию с их единственным ребенком уже в самой Смирне. Трудное путешествие по морю было совершено ими довольно счастливо. Вновь прибывшие были встречены и сердечно приветствуемы смирнскими братьями во Христе.

В описываемое нами время христиане, к какой бы национальности они ни принадлежали и какое бы общественное положение они ни занимали, тесно сближались и поддерживали друг друга. Ничто не могло умалить их братской любви друг к другу и даже любви к их врагам. Поэтому Плаутиуса с семьей приветствовали в городе Мирра-Ликийском не менее радушно, чем когда-то в Риме при их переселении из долины Арики в этот царственный город. Даже сам старый епископ христианской общины, почтенный Поликарп, явился к месту остановки корабля, чтобы сердечно приветствовать приехавших.

На другой день по приезде Плаутиус рано вышел из дома, чтобы отыскать себе работу. Юлия же снарядилась в путь для наведения дальнейших справок относительно своей сестры Нерисы.

Так как Юлия уже была осведомлена, что Нериса не значилась в числе членов смирнского христианского общества, то ею овладело беспокойство, а вместе и страх, что ее сестры нет и в городе Мирры-Ликийские.

Однако, несмотря на разочарование Юлии, последовавшее вслед за неудачными поисками Нерисы, переселенцы не имели особенной причины жаловаться на происшедшую в их жизни перемену: ребенок их становился день ото дня крепче, да и здоровье матери с первых же дней их пребывания в Смирне стало заметно улучшаться. Кроме того, Плаутиус, найдя себе работу в одном из виноградников, копошился там целыми днями на свежем, здоровом воздухе и принял свой прежний, бодрый, веселый, довольный и счастливый вид.

Но счастье на земле никогда не бывает полно и продолжительно. Вскоре к заботам Юлии о судьбе Нерисы прибавились новые. В Смирну стали приходить неутешительные известия о войне с парфянами, вслед за которыми проконсул получил от императора указ, предписывавший ему оказать помощь императорским войскам на востоке. Предписание это могло быть выполнено только с введением новых налогов, а новые налоги неминуемо должны были вызвать среди граждан ропот.

Введение этого тяжелого оброка грозило и торговцам, и ремесленникам полнейшим разорением, тем более что еще недавно граждане вынесли на своих плечах довольно ощутительный налог, вызванный постройкой великолепного храма в честь императора. Можно судить поэтому, насколько неосторожно было обременять их этим новым налогом. Однако, так или иначе, а средства должны были быть добыты. Войне же, между тем, не предвиделось

близкого конца.

Неудовольствие в городе все возрастало; отовсюду слышался ропот, усиливавшийся со дня на день. Языческие же жрецы строили козни против христиан.

— Зачем обременять народ разными налогами и строить храмы, если боги, посылающие нам и обильные урожаи, и всякие блага, подвергаются всевозможным поношениям? — говорили они, обращаясь к народу.

— Кто же эти дерзкие, которые осмеливаются поносить наших добрых богов? Кто осмеливается поносить тех, кому мы обязаны обильными урожаями? — сыпались со всех сторон вопросы на замечания жрецов.

Конечно, последние не задумывались над ответом.

— Кто же осмелится называть наших добрых богов идолами и демонами, как не христиане, эти ужасные богохульцы, эти мерзкие богоотступники?

Этого было совершенно достаточно, чтобы наэлектризовать и привести в ярость стоявшую на ступенях храма толпу, пришедшую поклониться языческим богам.

— Так это христиане? Это та отвратительная секта, члены которой не хотят принимать участия в празднествах в честь наших добрых Реи[27] и Диониса[28]? Это те негодные богоотступники, во главе которых стоит известный епископ рабов Поликарп?

— Именно они! — подтверждали жрецы. — Они не только враги наших богов и Смирны, но также враги и императора! Пока их не было, наши боги даровали нам все в изобилии, и только этим богоотступникам обязаны мы тем, что на нас со всех сторон посыпались всякого рода бедствия, ниспосылаемые разгневавшимися богами!

— Смерть Поликарпу! Смерть христианам! Мы не хотим больше видеть в нашем городе этих гадких богоотступников! — раздавались крики язычников.

Многие из них, разгоряченные обильными возлияниями вина, щедро отпускаемого прислужниками храма, готовы были сейчас же идти отыскивать христиан и их маститого пастыря, чтобы учинить над ними расправу, как вдруг крикуны были прерваны тихим голосом одного из присутствовавших.

— Скажите, кто из вас слышал когда-нибудь при встрече с этим старцем на улице, чтобы он бранил наших богов? — спросил он.

При этом вопросе присутствовавшие смущенно посмотрели один на другого, но никто из них не осмелился ложно свидетельствовать против епископа Поликарпа. Что было делать? Ведь представить старца на суд префекта без всяких улик в возводимом обвинении было и смешно, и не имело никакого смысла.

Но смущение крикунов продолжалось недолго.

— Скажи, а кому не известно, что все христиане, без различия пола и возраста, при всяком удобном случае, стоит лишь заговорить с ними о их вере, порицают наших богов, называя их идолами? Вот, например, на днях один виноградарь, недавно приехавший из Рима, открыто выразил желание, чтобы граждане прекратили поклонение Дионису… — громко крикнул кто-то из толпы.

— Так и судите этого римлянина, а не почтенного и всеми уважаемого старика Поликарпа, — заметил случайный защитник епископа.

Так как разгоряченной толпе было безразлично, на ком бы ни излить своей злобы, то в ответ на это замечание сейчас же послышались неистовые крики:

— Смерть римлянину! Смерть христианам!

Однако этим крикуны не удовольствовались.

Они с неистовым бешенством бросились к префекту и буйно стали требовать от него удаления из города или уничтожения христиан.

Префект всеми силами старался успокоить рассвирепевшую толпу, уверяя ее, что честь богов Смирны находится под охраной законов и властей; что нет той силы, которой можно было бы заставить граждан перестать поклоняться Юпитеру и Рее; что Бог христиан, в честь Которого в Смирне нет даже ни храма, ни статуи, скоро будет забыт и самими христианами. Но все было напрасно; слова его не производили должного впечатления.

Убедившись, что если он не исполнит требований толпы и не арестует виноградаря, то может произойти серьезное народное возмущение, во время которого могут пострадать не только христиане, но и богатые язычники, проконсул обещал им отдать распоряжение немедленно отыскать упомянутого римлянина и предать его суду, причем предложил желающим явиться на следующий день в суд со своими свидетелями и доказательствами вины виноградаря.



Глава XII. Плаутиус и Германикус в тюрьме

В то время, когда у храма Реи происходили описанные выше народные волнения, Плаутиус, окончив свои дневные работы в виноградниках, шел домой на отдых. Он медленно продвигался вперед, о чем-то задумавшись. Мысли его были далеко отсюда: они витали в его родной стороне, где теперь уже приближалась зима, около милой его сердцу долины Арики.

Он уже был на полпути от своего жилища, как вдруг почувствовал на своем плече давление чьей-то тяжелой руки. Обернувшись, Плаутиус увидел, что это была рука римского воина, который объявил Плаутиусу, что имеет приказ арестовать его.

Кто может описать ужас и удивление этого ни в чем не повинного, ничего преступного не сделавшего и даже не замышлявшего, честного труженика, когда он услышал объявленное воином?! О сопротивлении нечего было и думать. Ему даже не дозволено было побывать дома, чтобы объявить о своем аресте жене.

Воина окружала небольшая группа каких-то странных людей, которой, по-видимому, предводительствовал тот самый человек, которого Плаутиус видел вышедшим из-за миртовой изгороди в день своего прибытия в Смирну, когда он шел с женою и молодым их спутником, Германикусом, к новому местожительству.



Рис. Маргариты Мальцевой

— Она сама скоро узнает, где ты будешь находиться, — проворчал этот человек, видимо взявший на себя роль сыщика. — Когда ты завтра будешь стоять пред судом префекта, то кто-нибудь из твоих единоверцев, таких же собак-христиан, как и ты, сейчас же донесет ей об этом! Сомневаюсь, однако, чтобы и твоя жена не была привлечена вместе с тобой к ответственности!

— Что же мы такое сделали? В чем провинились мы? — спросил, недоумевая, Плаутиус. — Мы мирные, честные люди, трудом рук своих добывающие свой насущный кусок хлеба и…

— И причиняете нам массу зла, вызвав вашим отступничеством гнев наших богов, обрушивших всякого рода бедствия на все государство! — перебил его доносчик.

— Если бы я был на месте цезаря, то не оставил бы ни одного христианина в живых, за это я тебе ручаюсь! Ну, нечего попусту тратить время. Марш вперед! — добавил он повелительно, осмотрев предварительно, основательно ли закреплены кандалы, которыми связаны были руки арестованного.

Толпа со связанным Плаутиусом направилась к тюрьме, находившейся у городских ворот.

Здесь Плаутиуса ожидала мучительно долгая, бессонная и тревожная ночь. Его страшили не столько муки, которые предстояло перенести ему лично, сколько судьба его бедной жены, едва успевшей оправиться от недавней серьезной болезни. Но Плаутиус не знал еще, какие ложные свидетельства будут употреблены против него невежественной толпой, жаждавшей его крови не менее, чем дикие звери. И когда он на следующее утро, стоя пред судом префекта, услышал то, что говорилось разными лицами (которых бедный виноградарь в первый раз в своей жизни видел) для того, чтобы обвинить его, — он точно остолбенел от ужаса.

Чтобы закончить возможно скорее всю процедуру суда, префект предложил Плаутиусу принести жертву языческой богине Рее или богу Дионису, уверяя его, что тотчас же по исполнении этого он будет освобожден.

Плаутиус взглянул украдкой на треножник, на котором курился фимиам. Один из прислужников суда, заметив взгляд арестованного и вообразив, что он готов выполнить предложение префекта, поднес ему немного ладана, чтобы обвиняемый бросил его в священный огонь. Но Плаутиус, отстранив рукою поднесенный ладан, спокойно проговорил:

— Уж не думаешь ли ты, что я отрекусь от истинного Бога, Который Своей смертью избавил мою душу от вечной погибели, и поклонюсь вашим немым идолам?

Положение префекта, желавшего спасти обвиняемого, было чрезвычайно затруднительно.

В толпе раздался негодующий ропот.

— Смерть христианам, иначе и наш город будет наказан богами землетрясением, как наказан ими город Филадельфия[29]! — раздался мощный голос кого-то из толпы, слышный на далеком расстоянии.

Толпа снова заволновалась, громко требуя поголовного истребления в городе всех ненавистных ей христиан. Когда Плаутиус отказался принести жертвоприношение богам, префект передал его ликторам[30] для бичевания, после чего обвиняемого снова отвели в тюрьму.

А что переживала в это время Юлия, жена несчастного виноградаря, тщетно поджидавшая возвращения его с работ? Какая-то необъяснимая тоска давила ей грудь и увеличивала и без того сильное ее беспокойство. Предполагая, что с мужем приключилось что-нибудь в винограднике, Юлия, после тревожно проведенной бессонной ночи, с утренней зарей отправилась на его розыски. Но куда бы она ни заглядывала, полная страха, отыскать его нигде не могла.

Усталая, чувствуя свою полную беспомощность, она возвратилась домой и опустилась на землю у самого входа в их жилище. Но не прошло и пяти минут, как она увидела идущего по направленно к ней епископа Поликарпа. Быстро заработали тревожные мысли в ее голове при виде благочестивого старца, и она торопливо пошла ему навстречу.

— Ты, если я не ошибаюсь, жена виноградаря Плаутиуса? — спросил епископ, когда Юлия приблизилась к нему.

— Да! — последовал едва слышный ответ.

Безотчетный страх охватил все ее существо, когда ее взгляд встретился с серьезным и полным грусти взглядом епископа.

— Проводи меня в твое жилище! — обратился к ней Поликарп и направился вместе с ней в занимаемый виноградарем домик.

Усадив поудобнее неожиданного дорогого гостя, Юлия с тревогой и замиранием сердца обратилась к нему:

— Случилось какое-нибудь несчастие с Плаутиусом?

— Успокойся, дочь моя! Господь наш Иисус Христос послал ему силу и мужество объявить при народе, что он исповедует Его Святое Имя и следует Его божественному учению и Его святому завету, поклоняясь Святой Единосущной Животворящей и Нераздельной Троице! — уклончиво ответил епископ.

Сердце Юлии как бы замерло на секунду.

— Моего Плаутиуса, моего дорогого Плаутиуса бросили на растерзание зверям?! — вскрикнула она, громко рыдая и ломая кисти рук.

Ужасная сцена, свидетельницей которой она была некогда в Риме, и возмутившая тогда ее отзывчивую душу, молнией пронеслась в ее мозгу.

— Успокойся, дочь моя! Плаутиус еще жив и весьма возможно, что ты его скоро опять увидишь! — ответил Поликарп.

При этих словах он взял из рук матери ребенка, посадил его к себе на колени и стал его ласкать.

— Так ты думаешь, что он скоро вернется? — спросила сквозь слезы Юлия епископа. — А я так боялась за него, да и теперь еще боюсь этих злых людей, ищущих, скорее всего, его гибели…

И она невольно взглянула по направлению двери, питая тайную надежду увидеть своего мужа уже входящим и готового обнять своих дорогих жену и ребенка.

Юлия не принадлежала к числу сильных волею людей. Это была самая обыкновенная, слабая женщина, поэтому в трудные моменты жизненных передряг природа брала верх над ее верой. Поликарпу, принимавшему близко к сердцу все, что касалось его паствы, тяжело было слышать раздиравшие душу причитания…

— О, мой милый Плаутиус, мой дорогой Плаутиус! Кто будет заботиться о нашем ребенке, если тебя отнимут у меня злые люди? Что я буду делать здесь в чужом краю, одна, без тебя, всем чужая?..

Хотя епископу Поликарпу и не в первый раз приходилось быть свидетелем подобных сцен, тем не менее, только что происшедшая сцена произвела на него удручающее впечатление. Однако, как пастырь своего стада, он должен был пересилить свои чувства и как возможно мягче внушить бедной женщине, с каким смирением подобает христианину переносить всякое испытание, ниспосылаемое ему Господом Богом.

— Ты грешишь против Господа, дочь моя, позволяя себе сомневаться в том, что Господь не оставит тебя Своей помощью… Ты не чужда Ему, многомилосердному… — кротко заметил Поликарп Юлии. — Разве ты забыла Его обещания вдовам и сиротам: не покидать их в трудные минуты жизни? И разве обещания эти не имеют одинаково силы и для тебя? Или ты думаешь, что братья и сестры твои во Христе оставят тебя без помощи в такую трудную минуту? Я пришел сюда за тем, чтобы объявить тебе, дочь моя, что ты и твой ребенок, на время отсутствия твоего мужа, можете найти приют у нашей уважаемой дьякониссы…

— Хотя дьяконисса и не понимает языка, на котором ты изъясняешься, но любовь и сострадание выражаются и без помощи слов, а в этих качествах у нее недостатка нет… — заключил епископ, продолжая ласкать ребенка Юлии.

Юлия, подойдя к старцу, взяла с колен его свою маленькую дочь, посадила ее к себе на колени и, крепко прижимая к своей груди дитя, снова судорожно зарыдала. Видя, что женщину эту не легко успокоить одними словами утешения, Поликарп дал ей выплакаться. Когда же она постепенно стала успокаиваться, он еще раз указал ей на кроткого Мученика, Который Сам, без вины много выстрадав на земле от людей, протягивает с небес Свою руку помощи всем страдающим за Его Святое имя… Который близко принимает к Своему многолюбящему сердцу

не только ее горе, но и посылает силы Плаутиусу мужественно переносить лишения в тюрьме.

Но Юлия только покачала головой и тоном полнейшего отчаяния проговорила:

— О, учитель! Я так слаба и маловерна! Смею ли я надеяться на Его милость, когда у меня только одно желание, — чтобы мой дорогой Плаутиус не был отнят у меня! Даже во имя моего Спасителя, пролившего за меня, грешную, Свою Святую Кровь, я не в силах была бы перенести вечной разлуки с моим дорогим Плаутиусом!

— Успокойся, успокойся, дочь моя! Господь, зная сердце человеческое, понимает и слабости сердца женщины. Но Он же сумеет сделать его и сильным, и крепким… — утешал епископ Юлию. — Именно потому, что вера твоя мала, а сердце слабо, Он и возьмет тебя под Свое покровительство!.. Все мы, Его верные дети, соединяясь своими душами, пойдем к Нему мысленно и будем молить Его, чтобы Он пришел на помощь тебе и Плаутиусу, и всем нам, братьям во Христе, в эти дни тяжелых испытаний!

После этих слов благочестивый старец опустился на колени, поднял глаза на небо и стал вслух молиться.

Юлия, не переставая плакать, последовала его примеру и также опустилась на колени, устремив на небо немой молящий взор. Окончив молитву, епископ призвал Юлию собрать необходимые ей и ребенку вещи и замкнуть дверь своего домика. Когда все это было сделано, Юлия взяла на руки дочурку и, сопровождаемая епископом, направилась в город.

По дороге Юлия поведала Поликарпу, что в Смирне где-то должна быть ее сестра, которую зовут Нерисой. Выслушав внимательно повествование жены виноградаря о том, как попала в Смирну ее сестра, он, тем не менее, не в состоянии был дать ей каких-нибудь сведений относительно местопребывания ее сестры, но предполагал, что Нериса все-таки могла быть в городе.

— Смирна — город очень богатый, и граждане его живут в баснословной роскоши… Многие знатные дамы имеют при себе от трех до четырехсот рабынь… Сестра твоя Нериса, может быть, прислуживает одной из таких дам и за неимением свободного времени, не в состоянии была присоединиться к какому-нибудь обществу. Несомненно, однако, что в этом языческом городе многие тайно исповедуют Господа Иисуса Христа. Да будет благословенно Имя Его Святое! — сказал епископ.

Юлия весьма радушно была встречена дьякониссой христианской общины. Это была женщина пожилая, вдова, муж которой принял мученический венец в царствование императора Адриана[31]. Уже по этому одному можно судить, сколько искреннего участия могла она проявить в сердце своем Юлии.

Хотя дьяконисса ни слова не понимала из того, что сквозь слезы говорила ей удрученная Юлия, тем не менее, она на каждом шагу проявляла сердечное участие к глубоко опечаленной своей гостье-чужеземке, исповедующей одну с нею веру.

Пристроив, таким образом, жену виноградаря у дьякониссы, епископ, отдохнув немного от утомительного пути, стал собираться снова в дорогу.

Сколько дела предстояло еще сделать благочестивому старцу! Сколько забот и усилий должен был проявить он, чтобы поддержать в своей пастве бодрость духа и терпеливо переносить гонения, которым не предвиделось конца! Он воспретил всем членам своего общества без особенной нужды объявлять себя христианами перед начальством и таким образом подвергать

свою жизнь опасности. Если же кто вынужден был, в силу сложившихся обстоятельств, объявлять о том, что он принадлежит к христианскому обществу, то ему внушалось не отрекаться от Господа своего, если бы даже ему предстояло принять мученический венец…

Поликарп проповедовал своей пастве осторожность и сдержанность и уговаривал ее молиться не за одних братьев своих во Христе, но и за врагов Христа, проклинавших и притеснявших последователей Его святого учения. Подобным же образом верный служитель церкви некогда увещевал и филиппян, когда благочестивый наставник их, епископ Игнатий, был схвачен и предан на арене мученической смерти. А такое увещевание, во всяком случае, не было лишне теперь…

Многие члены христианской семьи возмущены были поступком властей с Плаутиусом и даже открыто, вслух высказывали свое негодование.

Если префект и думал, что осуждением Плаутиуса он успокоит разыгравшиеся страсти толпы и удовлетворит подстрекателей-жрецов, то он вскоре мог убедиться, что ошибся в своих расчетах и что поднятое против христиан гонение на этот раз не легко было унять, так как, кроме черни, в гонении приняли участие и евреи, которые, имея постоянные сношения с городом и ведя с ним большие торговые дела, постоянно находились тут.

Волнение в народе со дня на день возрастало, так что власти стали серьезно побаиваться, чтобы не произошло всеобщего возмущения. К этому же, как нарочно, в Смирне были получены тревожные известия о вспыхнувшем возмущении в Ефесе, причем в городе распространился слух, что тамошний проконсул принужден был начать преследование христиан, многие из которых, чтобы избавиться от жестоких пыток, согласились принести жертвы языческим богам.

Конечно, известия эти были приняты в Смирне различно. Христиане были повергнуты этими известиями в уныние, и епископ Поликарп, написав письмо епископу города Ефеса с целью узнать об истинном положении дел там, сделал распоряжение, чтобы в обществе смирнских христиан усердно молились за своих ефесских сестер и братьев во Христе по случаю поднятого на них гонения.

* * *

Что же касается язычников и евреев, то ими известия о возникших гонениях на христиан были радостно приветствуемы. Каждое новое подобного рода известие еще более возбуждало их против ненавистных им христиан, и вскоре в городе снова раздались дикие, необузданные восклицания:

— Смерть христианам! Иначе город, а с ним и все граждане, погибнут!

Префект потерял голову и решил сдаться.

Он старался усыпить свою проснувшуюся совесть тем рассуждением, что «эта горсть несчастных, хотя, признаться, и ужасно упрямых христиан, совсем не нужна была и бесполезна государству…» Так думал он про себя, придя к тому заключению, что через несколько лет вся эта секта безумцев-фанатиков вымрет и будет забыта. Довольный таким выводом, префект махнул на все рукой и пошел принимать ванну, размышляя о том, какой величины сделать новый пруд для рыб.

Между тем, несправедливо осужденные этим «нелицеприятным» судьею и брошенные в тюрьму христианские мученики, в числе которых находился и известный нам юноша

Германикус, также сделавшийся жертвою преследований, подкрепляли себя в своем заточении молитвой, прося Господа послать им силу и мужество смело объявить своим врагам о непоколебимой верности Христовым заветам до самой могилы.

Плаутиус, узнав, что жена и ребенок его нашли себе сердечный и надежный приют у дьякониссы, несколько успокоился, так как главная его забота была — их судьба. Теперь он с более легким сердцем и спокойнее относился к новому испытанию, посланному ему Господом.

Германикус же, наоборот, хотя и не был обременен никакими житейскими заботами, однако, несмотря на свою молодость и цветущее здоровье, пребывал в самом удручающем состоянии духа, дрожа за свою жизнь.

С того ужасного дня, когда несчастный юноша был до крови избит бичами и, израненный, без всякой помощи брошен в ту же смрадную яму, называвшуюся тюрьмою, в которой унывал и Плаутиус, — с того дня юноша окончательно пал духом.

Единственной отрадой для юного Германикуса было то, что его не разлучили с Плаутиусом, и они могли, по крайней мере, часто предавать себя общей молитве. Это значительно облегчало постигшую их горькую участь, так что они, подкрепляя друг друга, ждали покорно своей участи.



Рис. Маргариты Мальцевой

Глава XIV. В Пергаме

Тяжелые дни наступили для дома Фламиниуса. Гонение на христиан не утихало. Широкой волной разливалось оно по улицам Ефеса и грозило потопить и его любимую жену Флавию.

Глубокое облако печали не сходило с чела Фламиниуса. Он горячо любил свою жену, и ему во что бы то ни стало хотелось сохранить ее целой и невредимой среди наступивших гонений. Флавия не могла не заметить этого, и ей с каждым днем становилось все труднее и труднее поддерживать в себе бодрость духа. Не раз тайный голос искусителя шептал ей: для мужа, для семьи не грех принести только один раз жертву богине Диане.

«Только один раз»… Но вера побеждала минутную слабость страшного искушения, и Флавия отгоняла далеко эти искусительные мысли.

Тяжесть борьбы облегчилась для Флавии крещением Сисидоны. Но о крещении Сисидоны узнали язычники. Был сделан донос проконсулу. Смерть глядела в глаза Флавии и Сисидоне. Но Бог хранил Своих ревностных дочерей. Проконсул любил Фламиниуса и дал ему добрый, дружеский совет — на время оставить Ефес и уехать куда-либо в укромный уголок. Время шло, надо было торопиться. Флавия и Сисидона быстро уложились, и караван тронулся в далекий путь — в городок Пергаму.

Дорогой Фламиниус захворал. Но, несмотря на это, он наотрез отказался от врачебной помощи, надеясь, что Эскулап[32], языческий бог, исцеляющий от всяких болезней, скоро поставит его на ноги.

Как ни больно было Флавии, что ее муж искал себе исцеления у идола и через жрецов, тем не менее, она с облегчением и радостным сердцем приветствовала высокую гору, за которой скрывалась Пергама. Множество храмов, посвященных Диане, Венере, Юпитеру, Аполлону и другим богам, украшали собой живописно расположенный у подошвы этой горы город. Само собою разумеется, что и любимец народа, языческий идол Эскулап, с его неразлучным спутником — громадной змеею — тоже не был забыт. Сопровождаемый двумя рабами, Фламиниус, тотчас по прибытии своем отправился в храм Эскулапа. Принеся обильные жертвы идолу Эскулапу и проделав все, положенное по уставу и по предписанию жреца, он узнал от последнего, что только ночью, под сенью священных стен этого храма, он может получить себе исцеление от своей болезни.

Флавия, конечно, и не подозревала об этих предписаниях жреца, узнав только от посланного к ней Фламиниусом слуги, что муж проведет ночь в храме языческого бога-врача и вернется не ранее следующего утра.

Возмущенная в душе этим поступком мужа, Флавия, насколько могла, спокойно выслушала доклад слуги.

— Бог-врач! — не без горечи и иронии произнесла она, когда слуга удалился.

— Сисидона, помолимся усердно нашему Творцу, чтобы Он, единственный Врач и Целитель и истинный Господь, помог моему доброму Фламиниусу! — обратилась она к сестре и тут же, опустившись на колени, стала молиться с верой и усердием.

Ее примеру последовала и Сисидона. В то время как жаждавший исцеления больной спал под сенью храма, сестры молились Господу, прося у Него спасти мужа.

Фламиниус был ярым поклонником и почитателем римских и греческих богов. Поэтому можно себе представить, как разочарован и огорчен он был, когда, проснувшись на другое утро в храме, он не почувствовал ни малейшего облегчения. Тогда Фламиниус стал припоминать, не являлся ли ему во сне Эскулап и не обещал ли исцеления, но, к великому огорчению, ничего не мог вызвать в своей памяти. Ни во сне, ни наяву никто ему не являлся и ничего не обещал.

Разгневанный Фламиниус собрался было уже покинуть храм, как вдруг увидел идущего к нему жреца, который ласково осведомился у больного, как он себя чувствует. Фламиниус высказал ему свое разочарование, причем не мог не заметить ехидной улыбки на устах жреца, которую тот не сумел скрыть.

— Меня это, впрочем, нисколько не удивляет! — небрежно сказал жрец. — Со многими так

случается! Но советую тебе не волноваться! Вблизи храма есть лечебница, в которой я считаюсь врачом, и ты можешь там полечиться.

— Так ты, значит, врач, а не жрец?

— Как хочешь, так и называй! — ответил тот смело. — Я и то, и другое…

— Я пришел сюда не для того, чтобы отдать себя в распоряжение врача, но чтобы получить исцеление от самого Эскулапа! — сказал раздраженно Фламиниус.

— Да разве ты настолько глуп и слеп, что всему веришь? Что…

— Я верю, что только Эскулап может вылечить меня! — злобно перебил его больной.

— Ну, так пусть он тебя исцеляет!

И с этими словами жрец, ядовито улыбаясь, отошел от Фламиниуса.

Фламиниус молча посмотрел вслед удалявшемуся жрецу. В сердце его поднималась целая буря при виде того, как эти ничтожные врачи хотят умалить значение бога Эскулапа, который, как был убежден Фламиниус, один мог исцелять больных. И если уж сами жрецы говорят о своем боге с таким пренебрежением, тогда нечего удивляться тому, что христиане всячески поносят их.

С такими мыслями в голове взбешенный до последней степени выходкой жреца Фламиниус покинул храм.

А дома его с нетерпением поджидала Флавия.

Раздосадованному, разочарованному Фламиниусу стоило больших усилий сдерживать себя, чтобы не выдать жене своего неудовольствия. Однако, ему трудно было скрыть от нее накопившуюся злобу. Она ясно видела, что с ним произошло что-то неладное. Однако, на пытливые вопросы жены Фламиниус ответил только, что он слишком крепко спал и ничего не помнит, но решил вторично отправиться в храм и принести жертву.

Так он и поступил. Подкрепив себя немного сном и ванной, Фламиниус отправился к алтарю знаменитого Эскулапа. Жертва, которую взял с собою в носилки один из его рабов, состояла на сей раз из двух белых голубей и довольно значительной суммы римского золота.

Как и полагалось знатным людям, больного сопровождало значительное число рабов. Как только он приблизился к священной роще, то тотчас же вручил очередному жрецу свои жертвы. Масса других жрецов, в длинных белых одеждах, имевших каждый на руках колесо с обвитой вокруг него змеею, шеренгой стояли на пути к алтарю. С благоговением приблизился Фламиниус к алтарю и обратился к одному из жрецов с просьбой узнать, что скажет о нем оракул бога-врача.

Жрец обещал тщательно осмотреть внутренности пожертвованных Фламиниусом голубей и немедленно сообщить ему о результатах своих исследований. С удивительной ловкостью он при нем же умертвил обоих голубей и вскрыл одному из них грудку для исследования печени; у второго же голубя он вскрыл голову и тщательно осмотрел мозги.

По окончании исследований голуби были сожжены вместе с благовонным ладаном. Затем все жрецы громко и быстро начали петь. Пение это вскоре перешло в какой-то дикий рев, под

который один из жрецов, крича и танцуя, как сумасшедший, бросился на изображение идола. Затем хриплый рев его стал как бы утихать, и он постепенно успокоился, растянувшись во весь рост на земле, чтобы в таком положении выждать ответ языческого идола бога-врача. Слова, которые только одному ему и были слышны, передали ожидавшему тут же больному Фламиниусу.

— Тебе надо провести еще одну ночь в храме! — объявил ему, наконец, поднявшийся на ноги жрец.

Фламиниус, хотя и недовольный таким результатом, решил возвратиться домой, намереваясь последовать совету жреца. Чтобы не чувствовать усталости и быть бодрым в течение предстоящей ночи, он почти целый день спал, а вечером снова отправился в храм.

Но больному нечего было опасаться, что он может заснуть ночью в храме, так как нервы его были теперь слишком напряжены. Ведь он верил, что только Эскулап может восстановить его разрушенное здоровье. А от его выздоровления зависела теперь честь знаменитого идола-бога. Он, который так ревниво верил в могущество своего бога и имел намерение, во что бы то ни стало доказать всю несостоятельность требования жреца, — мог ли он при таком состоянии души своей уснуть?!

Вместо того чтобы лечь, как это сделал он в прошлую ночь, на приготовленное для него ложе, больной, жаждавший исцеления, сел у входа в храм и стал созерцать блеск небесных звезд, которые быстро сменяли одна другую на лазоревом небе. Трудно сказать, какие мысли копошились в его болезненно настроенном мозгу.

Задумчивость Фламиниуса была прервана голосами людей, которые что-то пели и, по-видимому, приближались к храму. Пение, долетавшее до его ушей, было похоже на похоронное. Фламиниус стал вслушиваться и уже мог различать слова, которые произносились на греческом языке. Пели, действительно, похоронную песнь.

«Разве мыслимо, чтобы убитых горем могло утешить подобное пение? Конечно, нет! Этого быть не может! Ничего бессмысленнее и быть не может! Те, которые поют пред открытыми могилами, в надежде доставить этим утешение близким и родственникам умершего, вполне могут быть названы сумасшедшими!» — думал про себя внимательно слушавший пение больной.

Уже не в первый раз приходилось ему слышать подобное пение; и если бы он хотел, то мог бы получить объяснение значения этого пения от Флавии, которая охотно поделилась бы с ним тем, что знала об обрядностях своей религии. Теперь же, ничем не занятый, в тиши ночной, ожидая появления Эскулапа, который должен был исцелить его, Фламиниус невольно внимательно вслушивался в пение христиан. Конечно, он ни слова не скажет об этом Флавии, чтобы она не подумала, что пение это произвело на него впечатление. Так рассуждал сам с собою гордый римский патриций, прислонясь к одной из колонн храма, откуда ему удобнее можно было наблюдать за шествием.

По телу его невольно пробежала дрожь, когда он услышал, что певцы упоминают Имя Того Бога, Который с Небес управляет всеми и всем, и милосердие Которого ко всем людям не имеет предела.

— Иисус Христос! — повторил несколько раз про себя Фламиниус, сам не замечая, что произносит Имя Того, Которого он до сих пор презирал от всего сердца, так как Имя это принесло уже ему немало душевных страданий и мук.

— Значит, эти люди — христиане, а я сегодня сделался невольным свидетелем христианского погребения?

Вместо того чтобы с презрением отвернуться или продолжать равнодушно глядеть на эту процессию, как это сделал бы он раньше, Фламиниус тихими и бесшумными шагами вышел из храма, подошел к тому месту, откуда раздавалось пение, и притаился в тени деревьев.

Когда тело покойной было предано земле и пение утихло, какой-то старец обратился к родственникам и друзьям умершей с речью. Он уговаривал не убиваться, как те, которые не имеют надежды свидеться у престола Всевышнего. Он говорил, что Господь Бог был так милостив, что взял покойную к Себе, и она теперь имеет вечное обиталище среди ангелов небесных и хвалит вместе с ними имя Господа Спасителя нашего. И многое еще другое говорил этот старец в утешение скорбевших родственников и друзей.

Фламиниус первый раз в жизни услышал подобные слова, которые почему-то не казались ему теперь странными. Неужели все это истина? Может ли быть, чтобы люди эти ошибались? Ему особенно пришлось по душе то, что христиане совершали погребение своих умерших ночью, чтобы не привлекать внимания праздных людей и не рисоваться перед ними.

Тихо и бесшумно возвратился Фламиниус в храм.

Остальную часть ночи мысли его так серьезно были заняты всем виденным и слышанным им, что он не на шутку испугался, когда увидел, что утренняя заря незаметно подкралась и возвестила наступление дня.

Размышляя о виденном и слышанном, Фламиниус вошел внутрь храма и уселся на своем ложе в ожидании появления своего бога. Но вместо него вскоре появился жрец, осведомившийся, как и вчера, о здоровье Фламиниуса. Когда больной ответил ему, что он во всю ночь никого не видел и ничего не слышал, жрец снова по-вчерашнему предложил ему обратиться в лечебницу, помещавшуюся по соседству с храмом.

— И ты это серьезно говоришь? — удивленно спросил его Фламиниус.

— Совершенно серьезно! — последовал ответ жреца. — Можешь быть уверен, что Эскулап нисколько не лучше других наших богов. Так как больные исцеляются врачами его именем, то само собою разумеется, что в поклонниках у него недостатка нет, а на приносимые ему жертвы содержится многочисленный штат жрецов, их помощников и рабов.

Фламиниуса ошеломило это признание жреца. Хотя до этого ему нередко приходилось слышать подобные богохульные речи и от других, но он старался не слушать их и оставался верен своим добрым богам. Теперь же признание жреца произвело на него особенное впечатление и точно сразу сорвало завесу с его глаз.

Убедившись в том, что жрец не шутит и говорит совершенно серьезно, Фламиниус содрогнулся всем своим телом от омерзения. Глубоко веровавший до сих пор и почитавший языческих богов, Фламиниус безмолвно, с каким-то особенным отвращением к ним вышел из храма, куда его раньше так сильно тянуло, чтобы больше никогда уже не входить туда: вера его была поколеблена в самой основе ее.



Глава XV. От мрака к свету

Когда Флавия узнала, что муж ее, не получив исцеления от Эскулапа, решился провести вторую ночь в его храме, чтобы добиться милости прославленного бога-идола, сердце ее болезненно сжалось при сознании своего бессилия убедить мужа в бесплодности его ожиданий.

Все время она ходила удрученная, придумывая, каким бы путем обратить мужа ко Христу. Поминутно обращалась она к Сисидоне, спрашивая у нее совета на этот счет и выражая сильное беспокойство.

Конечно, Сисидона не в состоянии была дать сестре полезного совета; не могла также и успокоить ее.

Наконец, остановившись перед сестрой, Флавия сказала сквозь слезы:

— О, если бы ты знала, Сисидона, как скорбит моя душа… Видно, молитва моя не угодна Господу, что Он не услышал ее до сих пор и не обратил моего дорогого Фламиниуса на путь истины…

Теперь, в свою очередь, Сисидона стала утешать сестру, которая до сих пор так твердо верила, что Господь всегда слышит просьбы верующих в Него и помогает им.

В Сисидоне едва ли кто узнал бы теперь прежнюю веселую, капризную и упрямую светскую девушку.

Желая утешить Флавию, она кротким, сердечным голосом сказала ей:

— Не отчаивайся, дорогая моя сестра! Все то, что так медленно, как нам кажется, делается Господом, делается Им ради оказания нам же особой милости! И то, что ты просишь у Него, ты непременно получишь. Ведь для Него все возможно! Ты сама же прежде постоянно твердила мне об этом…

— Ах, — ответила Флавия, глубоко и тяжело вздыхая, — я сама вижу, что с некоторых пор я стала такая слабая, точно вера во мне поколебалась!.. Господи, укрепи во мне веру в Тебя, моего Создателя и Спасителя!..

И действительно, тяжело было ей нести возложенный ею же самой на себя крест… Но ко всем невзгодам теперь присоединилась еще забота о слабом здоровье ее дорогого мужа. Поэтому-то ей и было теперь вдвойне тяжело!

Когда Сисидона удалилась, Флавия, как любящая и внимательная мать, еще раз нежно взглянула на своих спящих малюток и затем прошла в свою спальню.

Желая наедине помолиться Богу, она раньше времени отпустила прислуживавшую ей рабыню на отдых, чтобы та не помешала ей. Долго и искренно молилась Флавия, прося у Господа для себя сил, а для наболевшей души своей покоя и крепости.

И молитва, после которой на душе ее стало светлее и легче, не была бесплодна.

В то время, когда Флавия усердно молилась, а Фламиниус терпеливо ждал в храме Эскулапа помощи от языческого бога, Сисидона присутствовала на похоронах, с которых вернулась довольно поздно, так что Флавия увидела ее только на следующее утро. Сестры успели усесться в уютном уголке сада, как к ним явился раб с докладом о возвращении домой Фламиниуса.

Флавия быстро вскочила со своего места и бросилась навстречу мужу. На ее тревожные вопросы о его здоровье и о том, как он провел ночь, Фламиниус как-то странно взглянул на жену и, уклоняясь от прямого ответа, в свою очередь, спросил ее:

— Ты участвовала сегодня ночью в похоронной процессии?

Флавию до такой степени поразил заданный ей вопрос, что в ответ на него она только могла отрицательно покачать головой.

— Но тебе, вероятно, известно, что минувшею ночью были похороны какого-то христианина? — снова спросил Фламиниус жену, несмотря на то, что заметил ее растерянный, смущенный вид.

Флавия, успевшая несколько успокоиться, объявила своему мужу, что хотя ей и было известно, что ночью должны были происходить похороны жены епископа, тем не менее, она не присутствовала на них, так как чувствовала потребность остаться одной, чтобы помолиться.

— Так значит я не ошибся в своих догадках, что это были похороны христианина! — неопределенно глядя куда-то в даль, как бы про себя тихо проговорил озабоченный Фламиниус.

Флавия снова с тревогой взглянула на мужа, не понимая, к чему клонились его вопросы, и в душу ее стал прокрадываться страх за судьбу единоверцев.

Вдруг она стремительно опустилась перед мужем на колени, судорожно обхватила его колени и скорее прохрипела, чем проговорила, каким-то неестественным и тревожным голосом:

— О, Фламиниус, неужели ты приехал в Пергаму для того, чтобы начать здесь преследование христиан?

Тронутый слезами и испуганным видом жены, Фламиниус торопливо поднял жену, ласково взглянул ей в лицо и едва слышно проговорил, точно кто-то сдавливал ему горло:

— Этих людей я не в состоянии был бы теперь тронуть и кончиком ногтя, а не то что преследовать их!..

При этих словах Фламиниуса выражение лица его ясно доказывало, что в душе его происходила сильная борьба. И это не могло ускользнуть от любящей жены. Но вообразив, что мужу делается дурно, Флавия хотела выйти из комнаты, чтобы позвать на помощь одного из рабов, однако Фламиниус остановил ее, успокоил и объявил ей, что бог-идол Пергама Эскулап ничем не помог ему и что состояние его здоровья не только не улучшилось, но, напротив, ухудшилось.

Наконец, убедился он в том, что все эти олимпийские и римские боги никому и никакой пользы и помощи принести не могут, а то, что приписывается этим идолам народом, — не что иное, как наглый обман и ложь мошенников-жрецов.

Флавия, что называется, во все глаза глядела на мужа, не понимая, что с ним творится. Ей казалось, что все это она слышит не наяву, а во сне. Но менее чем через минуту она уже снова стояла на коленях и, скрестив на груди руки, со слезами умиления на глазах тихо шептала:

— О, великий Боже! Еще раз благодарю Тебя, Ты услышал мои молитвы…

Слова эти не проскользнули мимо ушей Фламиниуса, сосредоточенно глядевшего на пол, и он, сжимая руками голову и тяжело вздохнув, громко сказал:

— О, Флавия, я самый несчастнейший человек на земле! У меня нет более бога.

— Не говори этого, Фламиниус! — испуганно и торопливо перебила его Флавия. — Бог вечный, Бог бессмертный, не имеющий ни начала, ни конца, Бог истинный и единственный — всегда со всеми нами, и следовательно и с тобою! Господь уже посетил тебя и внушил тебе всю бессмыслицу идолопоклонства! Он со Своим любвеобильным сердцем пришел к тебе на помощь в трудную минуту, и тебе остается только протянуть к Нему руки, чтобы навеки соединиться с Ним!

— Теперь это слишком уже поздно! — как-то беспомощно простонал больной. — Достигнув зрелого возраста и оставаясь до сих пор верным Юпитеру и Юноне, я не могу менять теперь своей веры наподобие того, как меняют старое платье на новое.

— Почему же нет? — возразила Флавия. — Раз мы увидели и убедились, что идем не той дорогой, какой нам следует идти для спасения нашей души, так почему же нам не свернуть с нее и не пойти по настоящей?

— Но где эта дорога? — спросил колеблющийся Фламиниус. — Если она и есть, то нет путеводителя, который своим светильником освещал бы нам этот путь!

— Не говори так, Фламиниус! — возразила Флавия с уверенностью. — И дорога эта есть, и путеводитель стоит на ней со своим светильником, освещая им заблудившимся странникам путь, ведущий к источнику мудрости! Путеводитель этот — Дух Святой, Которого дал нам для этого Господь Иисус Христос!

— Я не понимаю, о чем ты говоришь?! О каком светильнике говоришь ты?.. Кто такой Этот Дух Святой? — с недоумением спросил Фламиниус.

— О светильнике, о котором говорится в Слове Божием, в Послании Господа к людям! — ответила Флавия.

— А у тебя есть это Послание? — с живостью спросил жену Фламиниус.

— Да, у меня есть история всей земной жизни Иисуса Христа, Сына Божьего, Который пришел на землю для того, чтобы исполнить волю пославшего Его Отца и Отца нашего, и умереть за нас, грешных людей. И кто уверует в Него, получит жизнь вечную! — все более и более вдохновляясь, говорила Флавия, стараясь убедить мужа, который теперь очень внимательно слушал ее…

После паузы, длившейся несколько секунд, Фламиниус попросил жену познакомить его более подробно с этим удивительным учением, которое имеет такую магическую, притягательную силу для людей.

Флавия не заставила мужа повторять своей просьбы. Сердце ее было переполнено радостью, и она с особенным воодушевлением начала рассказывать о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, в то время как Фламиниус с жадностью вслушивался в каждое ее слово.

Эти беседы окончились тем, что Фламиниус вполне убедился, что Иисус Христос есть истинный Бог, пришедший на землю для того, чтобы взять на Себя грехи всего мира. Он и есть сама Истина, сама Правда!

Вскоре Фламиниус занесен был в список оглашенных и готовился принять святое крещение.

Как только он настолько окреп, что мог принимать участие в собрании христиан, над ним был совершен обряд святого крещения, а затем его допустили к принятию Святых Христовых Таин и причислили окончательно к обществу христиан.

Несмотря на то, что жизнь христиан в Пергаме была далеко не спокойная, такие сильные духом христиане, какими были Фламиниус, Флавия и Сисидона, не особенно тревожились теперь за свою участь. Но остальные, то есть местные христиане, не отличались, к сожалению, стойкостью своих убеждений и во многом уступали языческим властям из боязни навлечь на себя гонение.

Многие из них не решались удалить сразу после принятия христианства всех богов-идолов из своих жилищ, как сделал Фламиниус, считая это делом большой неосторожности.

Между такими христианами наша римская семья чувствовала себя, конечно, не особенно хорошо, почему Фламиниус и решил, как только окрепнет и будет в состоянии предпринять новую поездку, покинуть Пергаму и вернуться обратно в Рим или Ефес.



Глава XVI. Фламиниус — защитник христиан

Прошло несколько дней после крещения и Фламиниус окреп настолько, что мог совершенно спокойно оставить город Пергаму и переселиться в небольшой городок Фиатиры.

Среди язычников-ткачей, жителей этого городка, было немало христиан. Дело у них шло хорошо.

Но настали дни гонений, и часть христиан была заключена в тюрьму. Тяжелые дни настали для фиатирских христиан: сторонников и защитников у них не было ни одного, а врагов много.

В самый разгар этих дней Фламиниус с семьей и прибыл в Фиатиры. О его обращении слухи уже дошли сюда. Знали также, что Фламиниус очень знатный человек, когда-то приближенный секретарь императора.

Поэтому к Фламиниусу, как к человеку уважаемому, фиатирцы обратились с горячей просьбой защитить христиан, заключенных в тюрьму.

Не сразу дал им свое согласие Фламиниус.

Ему было тяжело и страшно выступать открыто защитником христиан. Он не боялся страданий, но трепетал от одной мысли — оставить сиротами свою семью.

Но вера победила. Фламиниус пообещал, и действительно выступил на суде защитником взятых в тюрьму христиан.

Ясная и горячая речь Фламиниуса достигла цели. По суду христиане были признаны невиновными. Весть об этом быстро разнеслась по ближайшим местностям, и имя Фламиниуса произносилось с благоговением. Поэтому не было ничего удивительного в том, что по переезде в соседний с Фиатирами город Сарды Фламиниус и его семья были встречены местными горожанами с глубоким радушием. Особенно близко с Фламиниусом сошелся епископ Сардийский — Мелитон.

Под руководством Фламиниуса епископ Мелитон написал свою апологию, в которой жаловался императору Марку Аврелию на то, что власти, преследуя по всей Малой Азии ни в чем не повинных христиан, плодят доносчиков и даже разбойников, и просил у Марка Аврелия заступничества за несчастных, которых предают лютой смерти наравне с величайшими преступниками только за то, что они именуются «христианами».

Когда апология была написана, явился вопрос — кого послать с ней к императору. Найти подходящего посла было довольно трудно, а потому решено было, что епископ сам поедет в Рим и вручит ее непосредственно императору Марку Аврелию.

По просьбе сардийских христиан Фламиниус согласился разделить с епископом эту трудную миссию. Решено было сначала заехать в Ефес, а затем уже отправиться в Рим.

Флавия, имевшая намерение сопровождать мужа, усердно хлопотала и помогала Фламиниусу в приготовлениях к дальнему путешествию. Детей она решила оставить на попечение Сисидоны.

Несколько дней спустя они были уже в гавани Смирны. Перед отъездом из Смирны Фламиниус и епископ Мелитон присутствовали на богослужениии в квартире смирнского епископа, который предложил усиленное моление об успехе их ходатайства.

Когда члены собрания почти все разошлись, почтенный старец, сердечно обняв Мелитона и простившись с ним, обратился к Фламиниусу, пообещав ему, в отсутствие его и Флавии, непрестанно заботиться об их детях и Сисидоне.

Тяжело было Флавии расставаться со своими дорогими детками. Поминутно она прижимала к своей груди то Кассия, то Фламину, временами упрекая себя за то, что решилась покинуть их ради того, чтобы сопровождать мужа в его трудном пути…

Если бы бедная мать знала, какая опасность ждала впереди ее маленького сына и что предстояло ему перенести через несколько недель, она ни за что не решилась бы расстаться с детьми…

Прощание было самое трогательное.

Наконец, Флавия, со слезами на глазах, в последний раз обняла и расцеловала своих детей.

Когда корабль двинулся с места, Кассий мужественно отер струившиеся по его розовым щечкам слезы и стал утешать свою сестренку:

— Не плачь, Фламина!.. Ведь маме тяжело видеть наши слезы!.. Если бы мама могла, она, наверное, взяла бы и нас с собою!.. Будем же молиться Богу, как она учила нас, чтобы Он помог маме и папе поскорее вернуться к нам!..

Долго еще Кассий усердно махал ручонками, хотя, кроме белевших парусов корабля, ничего нельзя было видеть на нем.

Глава XVII. У императора

Перенесемся теперь, любезный читатель, в Рим, во дворец императора, и войдем в его рабочий кабинет в то время, когда Марк Аврелий сидел за столом, заваленном различными свитками рукописей.

Перед императором лежала апология епископа Мелитона, а рядом с нею почти тождественного содержания рукопись мученика Иустина. Обе апологии были писаны, каждая в свое время, с одной и той же целью. В глубоком раздумье сидел император в своем кресле, взвешивая добытые из этих рукописей сведения о христианах, и сравнивал учение Христа с философией, которую он изучал в продолжение всей своей жизни.

Мысли его вращались в ту минуту около прав христиан, за которые ратовали обе апологии. Он чувствовал, что еще ничего не сделал для того, чтобы улучшить положение той части своего народа, которая переживала различные невзгоды.

Император давно бы пришел на помощь к христианам, если бы не его друзья-философы. Они постоянно вооружали Марка Аврелия против ненавистного им учения. В своей ненависти они не разбирали средств, лишь бы только уничтожить христианство. Клевета, доносы, всякие басни — вот что всегда слышал о христианах от своих друзей Марк Аврелий. Но, несмотря на старания философов окончательно восстановить Марка Аврелия против христиан, он все-таки не оставил без внимания ходатайства епископа Мелитона.

«Если христиане и могут быть названы упрямыми безумцами, тем не менее, они такие же верные поданные его, как и остальные», — подсказывал ему здравый смысл. Сверх того, не бесполезным оказалось упоминание епископом Мелитоном в своей апологии о том, что почти все предшественники Марка Аврелия принимали христиан под свою защиту, и что только

императоры Нерон[33] и Домициан[34] были постоянными гонителями последователей Христа.

Именно это упоминание, не оставшееся незамеченным Марком Аврелием, помогло делу более всего. Колебавшегося императора, не решавшегося вследствие отрицания философами учения Христа открыто перейти на сторону христиан, осенила счастливая мысль, которая помогла ему развязать этот гордиев узел. Так как его предшественники брали христиан под свое покровительство, оставаясь в то же время верными своим богам, то и он решил последовать их примеру.

Результатом этого решения было то, что в Малую Азию был послан императорский эдикт, которым предписывалось проконсулам прекратить гонения и преследования христиан.

Надо ли говорить, что сердце епископа Мелитона преисполнилось неизъяснимой благодарностью к Марку Аврелию, когда до него дошло известие об этом эдикте?

Что же касается христиан города Рима, то радости и ликованиям их не было пределов.

Чтобы особенно торжественно отпраздновать такую великую милость императора, в катакомбах совершено было благодарственное богослужение, на котором присутствовало громадное число христиан.



Глава XVIII. Надвигающаяся гроза

Была страдная пора, и на полях уже заканчивали жатву. Жители Смирны и окрестностей были усиленно заняты приготовлениями к празднествам в честь языческого бога Бахуса, покровителя виноделов. На этот праздник обещал приехать даже проконсул.

Пользуясь удобным случаем, языческие жрецы и иудеи решили ходатайствовать пред проконсулом о принятии самых строгих мер против христиан.

Как только христиане узнали об этом, они стали просить своего епископа Поликарпа не подвергать себя опасностям и хотя бы на время уехать из города.

Но верный пастырь своего духовного стада ни за что не соглашался на это. Он не хотел допустить и мысли о том, чтобы оставить именно теперь, когда приближалась Пасха, своих духовных детей, всегда нуждавшихся в его нравственной поддержке. И только после долгих слезных упрашиваний святитель Поликарп решил на время оставить Смирну.

Местом, где решено было скрыть епископа, избрана была вилла Фламиниуса. Сисидона с особенной радостью встретила Поликарпа. Наступали дни празднеств. По улицам, и особенно около дворца проконсула Статия Кодрата, бродили толпы остервенелых, полупьяных язычников с одним воплем:

— Смерть христианам!

— Смерть этим богоотступникам!

— Смерть Поликарпу!

— Ко львам Поликарпа! Теперь его очередь!

Проконсул был побежден этими требованиями.

Он отдал приказ привести в судилище Поликарпа.

Но жилище епископа оказалось пустым. Каким-то образом, очевидно, через доносчика, язычники узнали, что старик-епископ скрылся в загородном имении. Туда был отправлен отряд солдат, который исходил все окрестности Смирны, но напрасно. Поликарпа не находили. Наступил вечер. Усталые солдаты с руганью возвращались домой. Кто-то из них заметил за изгородью виноградника мальчика и подозвал его к себе. Мальчик доверчиво подбежал к воину и на вопрос, знает ли он людей, называющих себя христианами, смело ответил:

— Да, я и сам христианин!

— Ха, ха, ха! Так ты христианин, мой мальчуган? — огорошил его своим циничным смехом грубый солдат, хватая его за руку. — Ну-с, тогда, стало быть, и тобою в скором времени мы покормим диких зверей!

При этой угрозе личико мальчугана покрылось смертельной бледностью.

— Меня зовут Кассий! — испуганно пробормотал он. — Отпусти меня!

— Значит, ты с удовольствием убежал бы от нас? — продолжал ехидно солдат. — Ну, хорошо! Я освобожу тебя тотчас же, если ты ответишь мне на мои вопросы. Не правда ли, ты знаешь Поликарпа, старшего учителя христиан?

Глазенки Кассия заблестели, когда он услышал это имя, но он ничего не ответил солдату.

— Ну, да я знаю, как заставить тебя говорить! — проговорил грубо солдат, и при этих словах он схватил Кассия за плечики и стал злобно трясти его.

Но мальчик молчал.

Это еще больше ожесточило солдата. Видя, что от Кассия трудно добиться ответа, солдат

начал нещадно бить несчастного ребенка, изрыгая самые отборные ругательства на христиан. Но слабенький, худенький мальчик мужественно выносил истязания и только сжимал от боли свои губы.

В конце концов, бедный Кассий, сын Флавии и Фламиниуса, до того был избит варваром-солдатом, что тут же, истекая кровью, испустил свой дух.

Совершив это гнусное убийство, жестокий воин хотел уже было уйти со своими спутниками, как вдруг его внимание привлек другой мальчишка, шедший неподалеку от имения Фламиниусов из соседнего поселка.

Мальчика тотчас же схватили и со всевозможными угрозами и проклятиями подвергли допросу.

На вопрос, известно ли ему местонахождение епископа Поликарпа, перепуганный мальчик, видя мертвое тельце бедного Кассия и слыша угрозы, что и его постигнет такая же участь, если он не скажет правды, указал на прекрасную виллу Фламиниуса.

Как разъяренная стая волков, солдаты императорской гвардии ворвались в дом. Поликарп и Сисидона были схвачены и отведены в Смирну.

Епископ Поликарп немедленно был представлен к допросу, а Сисидону заключили в тюрьму.

Допрос был снят быстро, и святитель Поликарп мученически закончил свою жизнь на костре.

Глава XIX. Клавдий Руф

Не успела Сисидона отдать себе отчета обо всем произошедшем и опомниться, как очутилась в темнице.

Сисидоне было объявлено, что она легко может избавиться от тюремного заключения. Для этого ей нужно всего лишь принести жертвы римским богам.

Но девушка наотрез отказалась исполнить это требование, и потому ее отправили на суд к проконсулу.

Когда Кодрат узнал, что заключенную обвиняют в том же, в чем вчера обвинили почтенного епископа Поликарпа, то он даже отвернулся.

По его мнению, достаточно было и одной жертвы для удовлетворения народной злобы.

Он уже намеревался высказать своему молодому помощнику неудовольствие на этот счет, как был поражен видом последнего. Готовые было сорваться с языка слова так и замерли на его устах. Помощник его был бледен, как мертвец, и чем-то страшно взволнован.

Напрасно проконсул старался разгадать причину этой быстрой перемены в настроении своего помощника — ему это не удавалось.

Взглянув на приведенную к нему христианку, лицо которой было так же бледно, как и лицо его помощника, а большие, широко открытые глаза упорно смотрели на молодого человека, — проконсул пришел в еще большее недоумение и велел Сисидону отвести в темницу. Когда же Сисидона снова очутилась в сырой, холодной и темной яме, служившей ей местом заточения, она очнулась.

Но тут ей еще резче обрисовалось ее безусловно беспомощное, безвыходное положение, и в душу несчастной узницы стало закрадываться сомнение, в силах ли она будет перенести постигшее ее испытание, и только молитва успокоила ее.

Не успела Сисидона окончить своей молитвы, как дверь темницы тихо открылась и на пороге появился мужчина. При тусклом освещении светильника, Сисидона узнала в нем Клавдиуса, бывшего своего жениха.

При виде любимого человека девушка, забыв свое горе, испустила радостный крик и, шатаясь, бросилась к нему навстречу. Но тут силы окончательно изменили ей, и она упала бы навзничь, если бы Клавдиус не поддержал и не усадил ее на полу.

— О, Сисидона, где нам приходится встретиться! — дрожащим от волнения голосом проговорил молодой человек, стараясь подавить подступавшие к глазам слезы.

Когда оба они немного успокоились, Клавдиус стал расспрашивать бывшую свою невесту, давно ли она арестована и за что, где находится Фламиниус, Флавия и их дети. На первый и последний вопросы девушке не трудно было ответить, но на вопрос «за что», — она только могла сказать, что она христианка.

— Если ты не будешь упрямиться, то дело легко можно будет поправить! — сказал ей Клавдиус, стараясь казаться спокойным.

— Кодрат согласится тотчас освободить тебя, если ты пообещаешь завтра же принести небольшую жертву богам, — продолжал он.

— Нет, нет, Клавдиус! Сделаться снова язычницей и принести жертву богам только для того, чтобы быть твоей женой, я не могу!

— Не говори этого, Сисидона! — умолял ее Клавдиус. — Ничто не мешает тебе, изредка посещая наш храм, оставаться при своем суеверии! Чтобы сказать тебе об этом, я решился тайно от народа пробраться сюда.

Ласковые уговоры жениха не поколебали твердости Сисидоны. Она решительным тоном сказала ему:

— Я не могу и не должна отрекаться от Господа моего, Который ценою собственной Крови приобрел спасение моей душе!

— А подумала ли ты о последствиях, которые должны произойти после этого? — спросил Клавдиус.

Сисидона содрогнулась, но храбро проговорила:

— Растерзание дикими зверями?!

— А разве такая смерть не страшна тебе?

— Нет! — ответила Сисидона. — Христос отнял у смерти ее жало, и она не страшна верующему в Него. Мучения скоро пройдут, но за гробом меня ждет вечное блаженство! О, Клавдиус! Если бы я была уверена, что и ты уверуешь в Иисуса и удостоишься вечного блаженства, я с особенным удовольствием отдала бы себя на растерзание зверям! — добавила она взволнованно.

Молодой человек несколько секунд стоял молча, опустив голову. Видно было, что в душе его происходила какая-то, может быть, даже ему самому непонятная работа. Затем, вздрогнув всем телом, он поднял голову и заговорил дрожащим голосом:

— Сисидона, ты говоришь о своем вечном блаженстве в загробной жизни… А подумала ли ты о том, какова будет моя жизнь, если я лишусь тебя?

— Ты последуешь за мною, как я последовала за Христом, и будешь служить Ему еще усерднее, чем служила я! — едва слышно прошептала Сисидона.

— Как? Мне сделаться христианином после того, как христианство лишит меня всего, что было для меня так дорого здесь, на земле? — сказал взволнованно молодой человек.

— Нет, никогда, Сисидона, и ни за что не сделаю я этого… — решительно проговорил Клавдиус.

— Не говори так, Клавдиус! Именно об этой милости я всегда молила и молю моего Господа! А для Него все возможно… — ответила она.



Глава XX. Из львиной пасти

Проконсул очень интересовался ходом переговоров Клавдиуса с Сисидоной.

Клавдиус пытался еще раз сломить твердость Сисидоны, но безуспешно. Теперь смерть глядела его невесте прямо в глаза. С этими мыслями грустный Клавдиус направился к проконсулу.

Не успел он переступить и порога кабинета, как Кодрат встретил его следующим вопросом:

— Ну что, Клавдиус, удалось?

— Нет, мне никогда не удастся ни угрозами заставить, ни ласками склонить ее возвратиться к нашим богам! — безнадежно проговорил, опуская руки Клавдиус.

Голова его при этих словах печально опустилась на грудь, и на глазах заблестели слезы.

Лицо проконсула омрачилось, и он проговорил, глядя куда-то неопределенно в сторону:

— Значит, при следующих играх ей не избежать когтей и пасти львов?! А ты рассказал ей подробности ужасной смерти епископа Поликарпа, этого столпа Смирнского и окрестных христиан?

Клавдиус утвердительно ответил на этот вопрос.

— Хоть бы Фламиниус поскорее возвратился из Рима! — воскликнул в заключение бедный Клавдиус и глубоко вздохнул.

— Да, это было бы очень кстати, — ответил проконсул, рассматривавший свои ногти, и о чем-то, по-видимому, в это время рассуждавший…

— Но я не хотел бы, чтобы он оставался христианином!.. Для меня совершенно непостижимо, как это люди решаются присоединиться к обществу христиан, вера которых наделала столько бед?! Если бы Фламиниус не сделался христианином, то он, пользуясь всегда симпатиями и расположением императора, был бы уже теперь, без сомнения, проконсулом Азии.

— Я полагаю, что тебе-то, занявшему теперь его место, нет особенных причин быть недовольным переходом его в христианство?! — заметил Клавдиус.

— Положим, это верно… Тем не менее, я все-таки не могу не сказать, что он сделал величайшую глупость, присоединившись к христианам! — возразил Кодрат.

— Нет, ты только подумай, — продолжал он, обращаясь к Клавдиусу, — человек, которому были открыты и доступны все высшие должности в государстве, все почести по службе, решился на такой безрассудный поступок, которым не только запятнал свое и своих предков имя, но в довершение всего лишился благосклонности императора и навсегда испортил себе карьеру. А все из-за чего?! Из-за каких-то бабьих бреден!.. Какую пользу принесет ему его новая вера, ради которой он пренебрег всеми благами земными, которые ниспосылаются богами людям для того, чтобы они пользовались ими?!

Этот вопрос, как какое-нибудь эхо, нашел себе отклик в сердце Клавдиуса. «И в самом деле, — думал он, — что в общем выиграл этот человек, приняв эту новую веру? Далеко не энтузиаст, Фламиниус всегда был человеком здравомыслящим, рассудительным, восхищаясь только тем, что касалось боготворимого им императора, так как был слишком серьезен. А Сисидона! Разве можно было предположить когда-нибудь, что ее гордость и самолюбие так же легко будет поколебать, как воду в сосуде?! Она так гордилась своей красотой, которой любила блеснуть при дворе, когда была невестой его, Клавдиуса! А теперь? Неужели ей, жившей всегда в роскоши и довольстве, приятнее находиться теперь в мрачной и душной темнице, без слуг, без горячей пищи?»

И вот, далеко до наступления ночи, мы опять находим молодого человека в тюрьме его бывшей невесты, но уже не настаивающего более на том, чтобы она отреклась от своего Бога, а внимательно слушающего повествование ее об Иисусе Христе, одно имя Которого вызывало краску негодования на лице всякого язычника.

Видя, с каким интересом Клавдиус слушает ее повествование и, не будучи в состоянии передать ему в мельчайших подробностях особенно важные места из Евангелия, она вручила ему бывшее с нею Евангелие апостола Иоанна, любимого ученика Христова, которое Клавдиус обещал ей внимательно прочесть у себя дома.

Так прошло несколько дней. Тем временем Клавдиус, внимательно прочитавший данное ему Сисидоной Евангелие, перестал уже приносить жертвы своим богам, уяснив, наконец, смысл христианского учения, но так как он не вполне доверял самому себе, предполагая, что главную роль в происшедшей в нем перемене сыграла его любовь к Сисидоне, то не решался пред всеми сознаться в том, что сделался христианином. И Сисидона, из любви к нему, не советовала ему без особенной нужды объявлять себя христианином, чтобы не подвергаться тем испытаниям, которым уже подверглась она.

Когда Клавдиус явился к проконсулу, последний встретил его, как и всегда, очень любезно, но не мог не заметить какой-то странной перемены в своем помощнике. Видно было, что у молодого человека что-то таилось на душе. Когда же Клавдиус обратился к нему с просьбой, чтобы еще до возвращения их в Ефес уволить его от занимаемой им должности и передать ее кому-либо другому, Кодрат нервно сказал ему:

— Хорошо, я исполню твою просьбу! Но, во всяком случае, лучше будет для тебя, если ты не останешься в Смирне!

— Почему? — испуганно-удивленно спросил Клавдиус, в душу которого закрался страх за судьбу Сисидоны.

— Разве Сисидоне угрожает серьезная опасность?

И голос молодого человека дрогнул.

— Я не мог более противостоять требованиям еврейских купцов… — ответил Кодрат.

И чтобы прекратить этот тяжелый разговор, он хотел уйти. Но Клавдиус остановил его вопросом:

— Скажи мне, знает ли Сисидона о том, что ее ждет?

— Я приказал объявить ей, чтобы она была готова к следующим зрелищам! — ответил проконсул.

— Прекрасно! Тогда мы оба будем готовы к этому дню! — сказал спокойным, насколько это было в его силах, и решительным тоном Клавдиус.

— «Оба»… — говоришь ты? — повторил проконсул, останавливаясь и в упор глядя на молодого человека, не веря тому, что слышал. — Я не ослышался? Ты сказал «оба»?.. Из-за какой-то глупой упрямицы ты готов пожертвовать своей жизнью?!

— Не из-за упрямой девушки я готов пожертвовать своей жизнью, а готов пострадать и умереть за ту Истину, которую я также познал теперь, как познала ее она раньше! Знай же, Кодрат, что я — тоже христианин!

Эта речь молодого человека ошеломила проконсула.

— Если ты назовешь себя сумасшедшим, то будешь гораздо ближе к истине! — возмущаясь до глубины души, вскричал проконсул.

Но Клавдиус уже не слышал его, поспешно удаляясь, чтобы как можно скорее соединиться со своей бывшей невестой и утешить ее по мере сил и своего уменья. Но когда он вошел в темницу и увидел ее сидящей в углу своей ямы, грустно устремившей в небо свой взор и

шептавшей молитву, нервы молодого человека не выдержали, и он горько заплакал.

— Сисидона! — начал он, немного успокоившись. — Я уверен, что ты не решишься отказать моей последней просьбе. Радуйся! Я верую в Иисуса Христа так же, как и ты! Он — мой Бог, мой Спаситель! Дай мне умереть вместе с тобой за Истину, которую я познал исключительно благодаря тебе!

— Нет, мой Клавдиус, ты должен еще жить! — возразила девушка. — До тебя еще не дошла очередь пострадать и умереть за Истину, которую ты только что познал! Ты еще должен жить для нее…

— Зачем же ты-то должна умереть? — воскликнул Клавдиус, стараясь унять душившие его слезы.

Но Сисидона сказала ему в утешение:

— Господь пошлет мне такую легкую смерть, которая будет во сто крат легче жизни!..



Рис. Ольги Бухтояровой

— Я знаю, что муки твои будут кратковременны, и ты скоро переселишься в тот мир, где не будешь более чувствовать ни душевных, ни телесных мук… Но какова будет моя жизнь без тебя? — ответил ей Клавдиус.

— Значит, ты хочешь умереть только потому, что я должна умереть? — воскликнула Сисидона. — Нет, Клавдиус, это недостойно истинного христианина, который может жертвовать своей жизнью только во славу Господа Иисуса Христа, а не совершать над собою самоубийства… Мужайся, мой друг!.. Бог пошлет мне мужество безропотно умереть за Него, а тебе пошлет

силы для того, чтобы ты мог мужественно перенести мою смерть!

— Он, Милосердый Творец, знает нашу немощь и вовремя придет нам на помощь! — сказала она дрожащим голосом.

— Скажи, ты и на самом деле не боишься смерти? — спросил Клавдиус.

— А зачем бояться смерти? — ответила она, сияя. — Господь приготовил меня ко всему, и я жду своей смерти как награды, и с радостью и улыбкой встречу ее.

В конце концов, Сисидоне удалось убедить Клавдиуса не поступать необдуманно, отдаваясь добровольно врагам, а терпеливо выждать призыва Господа и взять себе в руководители Фламиниуса и Флавию.

Наступил день зрелищ, и снова толпы народа, жаждавшие кровавых сцен, повалили к амфитеатру, возле арены которого, в палатке, находилась уже христианская жертва — Сисидона.

Перед самым началом зрелищ Клавдиус прошел в палатку Сисидоны, чтобы провести с нею последние минуты ее жизни.

— Как я рада, милый Клавдиус, что ты пришел ко мне, — сказала она. — Но как была бы я рада и как спокойно умерла бы, если бы я была уверена, что ты не будешь роптать на Господа, что Он призывает меня к Себе! — ласково проговорила Сисидона.

— О, Сисидона, это свыше моих сил! — с прискорбием ответил ей молодой человек. Если бы я мог заступить на твое место, я, ни на минуту не задумываясь, принял бы самую мученическую смерть… Но видеть тебя умирающей такою ужасной смертью и быть спокойным, — нет, Сисидона, это превышает мои человеческие силы!

Чтобы облегчить и свои, и его душевные муки, Сисидона предложила ему встать рядом с ней на колени и стала учить его молиться.

Когда молитва была окончена, Сисидона обратилась к Клавдиусу с просьбой сходить на пристань, чтобы узнать, не прибыл ли корабль из Рима, на котором должны были возвратиться Фламиниус и Флавия.

Уступая ее просьбам, молодой человек, хотя и неохотно, но все же отправился к месту, у которого останавливались корабли, прибывавшие из Рима.

По уходе Руфа Сисидона снова опустилась на колени и еще усерднее стала молиться, готовясь принять мученическую кончину.

Тем временем Клавдиус быстро шел к пристани, у которой заметил только что прибывший императорский корабль. Как раз в то время, когда Клавдиус подошел к самому кораблю, он увидел герольда, объявившего ему, как старшему чиновнику проконсула, что везет с собою эдикт Марка Аврелия к Кодрату.

— Известно ли тебе, что говорится в эдикте? — спросил Клавдиус герольда.

— Эдиктом своим император повелевает прекратить гонения на христиан! — послышалось из-за спины герольда, который не знал содержания эдикта.

Человек, который объявил содержание эдикта, был не кто иной, как епископ города Сард — Мелитон.

Услышав это радостное известие, молодой человек, забыв поручение своей невесты, вихрем понесся с герольдом к амфитеатру, чтобы не опоздать доставкою эдикта Кодрату, надеясь еще спасти жизнь своей невесты.

Когда колесница их подкатила к амфитеатру, Клавдиус направился к входу, которым могли входить только императорские чиновники при проконсуле, и, задыхаясь и обливаясь потом от быстрой ходьбы, вбежал в ложу проконсула. Почти вслед за ним туда же вошел и проконсул.

Кто может описать то, что перечувствовал за это время бедный Клавдий?

В то время, когда Кодрат распечатывал императорский эдикт, к трибуне проконсула уже вели на допрос Сисидону.

Распечатав пергаментный свиток, и, прочтя его, проконсул встал со своего места и поднял руку в знак того, что желает говорить к народу:

— Граждане Смирны! — сказал он, обращаясь к народу, когда в амфитеатре водворилась гробовая тишина. — Император эдиктом своим, только что доставленным, повелевает мне прекратить гонения и преследования христиан!..

Несколько секунд в амфитеатре царила такая тишина, как будто вся эта многотысячная толпа сразу лишилась способности говорить. Но затем ужасный дикий рев, похожий на рев стаи голодных львов и тигров, от которых отняли добычу, огласил амфитеатр.

Объявив народу о воле императора, проконсул сделал знак страже, сопровождавшей Сисидону, освободить ее.

Опасаясь, что быстрое освобождение Сисидоны может повлиять на и без того уже сильно расстроившееся за последнее время здоровье ее, Клавдиус поспешил с нею в палатку, чтобы оттуда увести ее к себе домой.

Только после этого молодой человек вспомнил о Фламиниусе и Флавии. Он немедленно распорядился послать нескольких рабов отыскать старых своих друзей, которых видел на корабле, но о которых совершенно забыл, когда услышал радостное известие об императорском эдикте.

Вскоре Фламиниус и Флавия, в сопровождении своих и Клавдиуса рабов, входили в дом, который занимал Руф.

Вскоре после описанных событий все наши друзья оставили Азию и снова переселились в Рим, в долину Арики. Клавдий, принявший Св. Крещение, был повенчан с Сисидоной.

Нам остается упомянуть только, что вслед за принятием Святого Крещения Клавдиус Руф, как и Фламиниус, был уволен с государственной службы. Но зато все они могли жить теперь спокойно, не боясь преследований со стороны язычников, так как со дня обнародования императорского эдикта до самой смерти Марка Аврелия гонения на христиан больше не возобновлялись, хотя в глухих провинциях обширного римского государства происходили изредка бесчинства, вскоре, впрочем, прекращавшиеся властями.

М. И. Троянский.



Рис. Маргариты Мальцевой

Как они узнали Его?

Иван Гребенщиков

«Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его…
И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба».

(Лк.24:31, 35).

Под жгучими лучами южного полуденного солнца, ослепительно яркого и беспощадно жгучего, несмотря на середину только апреля, забылся томительным смутным полусном «город городов», властитель полумира, владыка народов, великий, грозный, беспощадно суровый Рим…

Лежит он и дремлет в тупом изнеможении, как гигантская змея, проглотившая животное, в несколько раз толще ее самой, сытая какой-то неестественной, тяжелой, удручающей сытостью, порождающей что-то вроде кошмара. Еще бы не быть сытым, проглотив полвселенной… Давно ли сметено с лица земли Иудейское царство! Надо и отдохнуть…

Но чу́ток отдых и не крепок полусон грозного Рима!.. Так дремлет свирепый тигр, лютая пантера, растянувшись с царственной небрежностью: уши прижаты, глаза зажмурены,

положена на вытянутые передние лапы кровожадная морда с окровавленными от только что растерзанной добычи усами.

Но горе подходящему неосторожному путнику! Горе безумному смельчаку! Вот уже судорожно задрожали веки зорких, острых глаз хищника, словно неохота расстаться ему со сном; выпрямились и задвигались чуткие уши, разжались, сжались и снова разжались когти железных лап, нетерпеливо забил по земле извивающийся хвост.

Еще минута — моментальное одновременное напряжение всех мускулов, словно из металла вылитого, гибкого тела, гигантский, верно намеченный скачок… и… нечеловеческий крик жертвы, ручьи крови, рычание разъяренного животного, терзающего своими несокрушимыми клыками трепещущее в смертельных судорогах тело дерзкого, осмелившегося нарушить державный покой царя пустыни и лесов…

Да кто осмелится потревожить Рим, отдыхающий от бесконечных завоеваний и битв?!

Правда, незадолго до иудейской войны разбудил полудремавшего зверя (Рим) зверь на троне императора — «великий артист» Нерон[35]: натравил зверя на этих «извергов рода человеческого» — христиан: и когтям, и клыкам досталось работы. Только что же это за добыча, которая не сопротивляется, не бежит, не проклинает, наконец, своего мучителя, отвечая на грозный, все живое в трепет приводящий рык обозленного зверя, словами милосердия, всепрощения, любви!..

А солнце все сильнее и сильнее обжигает своими лучами и мраморные громады вечного города, и покрытые пылью деревья, и безжизненные окрестности Рима, насквозь пропитывая и пронзая неподвижный, не струящийся воздух, наполненный туманными, тяжелыми для дыхания испарениями ближайших болот…

Замирает в тягостной истоме великий Рим.

Душно ему, тяжело. И не может вздохнуть он полной грудью. Грудью, закованной в железную броню. Грудью, крепче и тверже покрывающего ее железа…



Глава I

Из Аппиевых[36] ворот Рима вышли двое путников и не торопясь направились по каменистой пыльной дороге к одной из загородных местностей столицы. Они очень оживленно между собою беседовали, словно спорили… Собеседники совершенно не походили друг на друга ни по одежде, ни по наружности. Один одет был в синюю, грубой шерсти тунику и белый, недорогой плащ, другой — в великолепный пурпуровый плащ, под которым белела расшитая узорами

туника.

Первый был рослый, плечистый и полный старик с длинной седой бородой, с крутым широким лбом, с умными черными глазами, казавшимися не то заспанными, не то заплывшими от того, что лицо его, имевшее лукаво-добродушное выражение, было сильно обрюзгшим. Стоило взглянуть на него, чтобы сразу понять, что это настоящий прирожденный римлянин, чего уже никак нельзя было сказать про его спутника. То был почти юноша с белокурыми кудреватыми волосами, с едва пробившимся золотистым пушком на щеках, с ясными и добрыми голубыми глазами, — все это обличало в нем уроженца Севера.

И действительно, старик был римлянин: философ-эпикуреец[37] Валентин, учитель философии и красноречия. Другой — германец, сын одного из германских князей, взятый во дворец Римского императора в качестве заложника, обеспечивающего верность Риму со стороны его отца, вздумавшего было раз взбунтоваться против завоевателей. Его звали Герман, так что само имя свидетельствовало о его национальности.

— Будущая жизнь, — говорил философ, — выдумка жрецов, чтобы запугивать народ, глупую суеверную чернь. В будущее я вообще верю постольку, поскольку оно неотлагательно и, так сказать, осязательно наступит. Вот, например, сейчас придем домой; нас там ждут и Флавий[38], и Квинт[39], и этот уморительный Целестин, который на свое сенаторство не сегодня-завтра, вместо гордого «cirius Romunus Sum»[40] всенародно, пожалуй, крикнет: «Christianus sum»[41]... Побеседуем, почитаем божественного Гомера[42] или равного ему Виргилия[43]; сядем обедать. За обедом попоем что-нибудь из од несравненного Горация[44], а после обеда будем тянуть фалернское вино под декламацию стихов бесподобного Овидия[45]... Нет ничего лучше его стихов после изящного, вкусного и сытного обеда, сдобренного хорошим вином!

— А не два ли или три часа тому назад мы читали у Виктора письмо Плиния[46] об ужасной участи Геркуланума и Помпеи[47]. Какая ужасная, неожиданная смерть!.. — ответил задумчиво юноша.

— Напротив, я не нахожу здесь решительно ничего ужасного. Неожиданная смерть — самая желательная, самая приятная. Да и вообще смерть ничего страшного не представляет. Бессмертные боги — если только они есть, что, впрочем, более, нежели сомнительно, — среди всех прочих благ наделили людей и этим отрадным преимуществом, которого и сами не имеют.

— Что же в смерти отрадного?

— Полный покой и, главное, полное забвение прошедшего.

— Забвение прошедшего... — протянул юноша. — А зачем его забывать? Разве оно было дурным?

— Значит, было дурным, — продолжал он. — Ведь хорошего мы не только не забываем, но, напротив, стараемся освежить и поддержать в своей памяти!

— Покойная мать, живой, страдающий от ига родины отец, синий морской залив, песчаный берег, вечно зеленые, хмурые, но милые ели и сосны... Не забыть мне вас никогда! — тоскливо простонал юноша.

Философ молчал: скорбь юноши его тронула.

— Вот настоящее забыть, это я еще понимаю. Но что такое настоящее? Ведь ты же сам говорил, учитель, что его нет. Вот миг — это настоящее, второй миг — и первый миг уже стал прошедшим.

— Ну вот сам же говоришь! Настоящее тебе горько и тяжело; оно делается прошедшим — и ты будешь рад забыть его.

— Не скажу этого. Где есть свет, там и тени… Не оттого ли так и мило мне все то прежнее, что не мило настоящее? Прежде я не понимал и не ценил того, по чему теперь я так страдаю!..

— Ну мы, кажется, увлекаемся в отвлеченные дебри по мере того, как углубляемся в эту каменистую пустыню. Согласись, что и то, и другое и нежелательно, и неприятно!

— Но скажи же мне хоть что-нибудь, учитель?

— Изволь, скажу! У тебя есть природный ум, способность к диалектике и рассуждению, но и склонность к нелепым парадоксам, которую ты перенял от своих новых знакомцев, этих сумасбродцев… Как их зовут? Да… христиан!..

Герман уныло повесил голову. «Почему это, — думалось ему, — те, простые и неученые, всегда найдут, что сказать, чем облегчить больное, в тоске изнывшее сердце? А он, философ, признанный образцовый оратор, ничего не может сказать, кроме того, что уже не раз говорено, и ему, ученику, давно известно?!»

Философу стало жаль своего любимого, лучшего и самого отзывчивого ученика.

— Довольно об этом, мой дорогой Герман, — сказал он с нежной, почти отеческой лаской, но все же покровительственно. — Нравятся тебе христиане, и пускай! Ты молод, но умен. Ум не допустит тебя до увлечения учением этих врагов человечества, его ненавистников, этих новых людей с грубым и вредным суеверием. Боюсь за твое сердце, оно у тебя очень чутко и отзывчиво. А доля христиан, правда, не красна. Но ведь это доля всех преступников, изменников, бунтовщиков… Помни, что закон — разум, а не сердце!

Юноша еще ниже опустил голову. В прекрасных глазах его отразился не то ужас, не то тоска — ощущения захлопнутой в силки птички…

Старику захотелось его ободрить.

— Ну полно, полно, — снова заговорил он. — Помни еще, что ты — мой преемник, ибо ни по уму, ни по душе, ни по характеру нет из моих учеников достойнейшего, кто бы мог заменить меня, да и притом заменить так, чтобы школа моя была при моем преемнике и лучше, и славнее, нежели при мне…

Старый хитрец думал такими похвалами возбудить гордость в душе ученика. Еще бы — какая честь! Быть преемником и заместителем чуть ли не первого во всем Риме ритора[48] и философа.

Хорошо задумал он сыграть на этой струне, но струна оказалась безмолвною!

— Да полно же, — начал он опять. — Нравятся тебе христиане, — ну и пускай! Повторяю опять: за их здоровье можно и выпить! Почему и не выпить? Им это не принесет вреда, а нам — истинную пользу! Хе-хе-хе!

И старик засмеялся, довольный предстоящими и физическими, и духовными наслаждениями.

Но Герман все же молчал.

— Кстати, у них и праздник сегодня…

— Знаю, — как-то односложно ответил юноша.

— Празднуют Воскресение из мертвых их Учителя, какого-то иудейского плотника, Иисуса из Назарета…

— Христа, — точно поправил Герман.

— Ну, Христа… Не все ли равно? Только неужели ты допускаешь, хотя бы даже в предположении, подобную нелепость, как воскресение умершего человека?

— Но согласись, учитель, что нельзя не обратить внимания на их искреннюю, живую радость, которой мы только что были свидетелями на улицах Рима. Неужели ты не заметил, как свободно, как спокойно ходят они по городу! Они, обыкновенно тихие, словно приниженные, словно жмущиеся в стенах домов! Радость их настолько искренна, велика и глубока, что они не замечают ни насмешек, ни презрения окружающей толпы, ни надвигающейся на них грозы — весьма вероятного возобновления дней Нерона[49], ибо, как ты и сам знаешь, да и Виктор сегодня говорил, император Домициан[50] очень враждебно к ним относится… А сколько радости, глубокой веры и искреннего убеждения звучит в их приветствии: «Христос Воскрес!» и в ответе: «Воистину Воскрес!». Скажи мне, пожалуйста, учитель, как можно так верить не только в наглый обман, а в самую дорогую, самую заветную грезу?!

Настала очередь молчать философу.

— Возьми еще во внимание, учитель, и то, о чем говорил Целестин. Первый после Христа их учитель Павел, которого казнили здесь, как раз в начале этой дороги, по которой мы идем, прямо и твердо пишет, что если Христос не воскрес, то напрасна его, Павла, проповедь и тщетна вера христиан[51]. Согласись сам, может ли проповедник известного учения написать такие вразумительные слова не только без глубокой веры, не только без твердого ясного убеждения, но без знания совершившегося очевидного факта?!



Рис. Ольги Бухтояровой

— Много ты наговорил мне, дорогой Герман, но эта невозможная жара помешала мне вслушаться, как следует, в твою речь. Но слово «дорога» достигло моего слуха и заставило меня убедиться, что мы с тобой куда-то забрели. Где мы теперь?

Путники остановились и огляделись.

Местность каменистая, лишенная всякой растительности, глухая и совершенно бесплодная. Дорога сделала здесь какой-то капризный и прихотливый изгиб, словно маленькая речка среди корней столетних вязов и дубов.

Рим как-то странно пропал. Впереди ничего не было видно, только справа и слева, но на далеком расстоянии, белели загородные виллы в рамке тусклой и пыльной зелени.

— Вот куда твой Христос завел нас! — не без досады проворчал философ.

Он и так изнемогал от жары, и перспектива возвращаться назад или же бродить по этой пустыне в надежде найти дорогу ему очень и очень не улыбалась.

— Христос не «заводит», а «приводит», — как-то не то наставительно, не то мечтательно проговорил юноша.

— Приводит, так приводит, — уже с явной досадой ответил, почти крикнул философ. — Стану я теперь с тобой о значении слов спорить!

— Лучше посмотрим-ка, — добавил он, утихая, — как нам отсюда и куда выбраться. Пойдем-ка на тот холм направо… Оттуда, вероятно, Рим виден, а там и сообразим, куда нам идти.

Юноша, — недавний житель Рима, — совершенно не был знаком с его окрестностями, поэтому не ответил ни слова и покорно побрел за своим наставником, которому надежда найти настоящую дорогу вдруг придала сил.

Это, впрочем, не мешало ему всю дорогу бранить христиан, обвиняя их во всевозможных гнусностях и преступлениях, в добрую половину которых он сам положительно не верил. Но

еще больше бы досталось христианам от раздраженного философа, если бы мог он прочитать мысли своего ученика!.. А тот думал вот что:

«Учитель… философ… а ведет себя, как неразумный ребенок, который, с разбега ударившись больно о дверь, бьет ее палкой, словно она виновата! Правду сказал этот христианский Павел в своем письме к здешним христианам: «Называя себя мудрыми, обезумели» (Рим.1:22)…

Надо бы достать и прочитать и другие труды этого писателя. В одном этом письме, кажется, больше правды, чем во всех Гомерах и Горациях, взятых вместе!..»

А жара все усиливается. Безжизненно-равнодушно опрокинулось над выжженной землею темно-голубое небо. Дышат зноем раскаленные камни… Смертью грозит ядовитое дыхание окружающих болот.

Томительно, тяжело дремлет «город городов», властитель полумира, повелитель народов, великий, грозный, беспощадно суровый Рим. И не может вздохнуть он полной грудью, грудью, закованной в железную броню, грудью — крепче и тверже покрывающего ее железа!



Глава II

Путники поднялись на небольшой холм.

Перед ними, действительно, открылся Рим, показавшийся им, утомленным дорогой и изнуренным жарой, гораздо более далеким, нежели он был на самом деле.

Философ безнадежно развел руками…

— Так и есть, — сказал он. — Без сомнения, мы около каменоломен Фульгенция. Пойдем-ка дальше… Только я и ума не приложу, каким образом попасть нам в Рим, кроме той дороги, по которой мы шли, будь она неладна! И что за несчастная мысль — вместо того, чтобы прямо идти домой, пойти окольным путем! Чтобы аппетит нагулять?.. Нечего сказать! Цели достигли — голодны, как собаки, а где обед-то? А все этот Герман со своими христианами, пошли на них, Юпитер, все громы небесные!.. — ворчал старик.

Холм круто обрывался в узкой долине — ближе к оврагу, по дну которого бежал почти высохший ручей.

С противоположной стороны возвышался другой холм, в несколько саженей, весь изрытый и избитый кирками и ломами и оттого казавшийся менее крутым. Вид был суровый, безжизненный: ни один кустик, ни одна травинка не веселила глаз. Куски гранита словно застыли в неподвижном теперь, как они, воздухе; стояли какими-то безжизненными, неприступно-строгими, бездушными глыбами, словно говорили: мы тоже гордые римские граждане, мы тоже жестокие римские воины!

Философ снова огляделся. Каменоломни, очевидно, давно уже были брошены: ни следа человека, ни признака жилья; даже, пожалуй, ни звука, если бы вдали не кричал пронзительно и неприятно коршун, тоже — римлянин… Это была чистейшая пустыня…

Рим и окрестности совершенно пропали из вида…

Еще раз огляделся старик, даже на небо зачем-то посмотрел, словно там мог увидеть так внезапно исчезнувший Рим. Затем он глубоко вздохнул, выругался не как философ, а как погонщик диких ослов, сердито плюнул и неожиданно рассмеялся. Все произошедшее с ними показалось ему какой-то логической бессмыслицей, до того оно было неожиданно и странно, даже просто невероятно: природному римлянину заблудиться в двух-трех милях от Рима!

Есть над чем посмеяться!

Христианам, вероятно, опять бы досталось от рассерженного старика, но, взглянув на юношу, он раздумал это делать: у того был совсем жалкий вид, до такой степени истомила его жара: родина давала себя знать.

— Ну что же? — с истинно философским уже спокойствием сказал Валентин. — Присядем, друг, подумаем да потолкуем, как бы нам отсюда выбраться, не возвращаясь назад по этой убийственной, словно раскаленной дороге, не блуждая по выжженным окрестностям, по голым камням!

И он тяжело опустился на низкий и широкий камень. Герман последовал его примеру, сев напротив него на небольшую скалу.

— Юпитер-громовержец! — начал вновь философ. — Если теперь такая жара, то что же будет летом, страшно и подумать…

И он вдруг схватился за голову, потом за сердце и повалился навзничь на камень. Молодой ученик в одну секунду был около него: старик с закрытыми глазами и багровым лицом как-то тяжело дышал, скорее хрипел.

— Эй, на помощь! На помощь! — словно в безумии закричал Герман, совершенно не сознавая очевидной бесплодности такого призыва в глухой, совершенно безлюдной местности.

— На помощь! — еще громче крикнул он, поднимая старика за плечи и осторожно усаживая его на камень.

— Иду! — вдруг раздался в окружающей тишине звонкий, словно веселый голос.

Как ни поражен был Герман только что случившимся несчастьем, но этот неведомо откуда прозвучавший среди глухой, мертвой и безлюдной пустыни бодрый и веселый голос до того изумил его, что он едва не выпустил из рук поддерживаемого им философа. Суеверный ужас охватил его: ему вспомнились давно слышанные им рассказы о горных духах, и неизвестно, что бы произошло далее, если бы в эту минуту на краю обрыва не показалась дряхлая старческая голова с карими добрыми глазами, с узенькой седой бородкой и приветливой добродушной улыбкой.

— Иду, иду! — еще раз успокоительно и уже менее громко подтвердила голова. И вслед за тем на обрыве показалась изможденная сухая фигура старика, рост которого казался низким, оттого что новый пришелец держался сильно сгорбившись. Одет он был в одну, самой грубой материи, синюю тунику и подпоясан ременным поясом грубой работы. Ноги его были босы.

Прикрытием же головы служили остатки седых, желтоватых от старости волос, походивших на пух…

Заметив, в чем дело, он с быстротой и даже резвостью, чего никак нельзя было ожидать от его возраста, направился к путникам.

Герман, не ожидавший этого внезапного появления, ничего не ответил старичку на его приветствие, даже не расслышав его, но почему-то невольно, безотчетно, с первого взгляда решил, что тот может помочь им в столь затруднительном положении, в котором они оказались.

Действительно, старичок живо принялся за дело. Он пощупал пульс у Валентина, послушал сердце и поднял веко у больного, чтобы поглядеть зрачок. Затем, словно про себя, пробормотал:

— Небольшой солнечный удар. Это сейчас пройдет! Не бойся, юноша, это не опасно! — и почти побежал к тому месту обрыва, откуда только что появился…

— Не беспокойся, я сейчас вернусь! — крикнул старичок, уже наполовину скрывшись за обрывом, и успокоительно закивал головою.

Но Герман нисколько не беспокоился.

Столько веры внушал этот добрый, подвижный старичок! Поэтому Герман сидел спокойно, поддерживая тяжело дышавшего бесчувственного философа, и даже о чем-то задумался — так глубоко, что невольно вздрогнул, когда вдруг снова увидел перед собой того же старичка. Удивительно, как быстро тот вернулся, да еще с большой глиняною амфорой, которую держал в руках…

— Снимай с него плащ, да расстегни грудь, — сказал старичок и, когда юноша исполнил это, стал лить воду на голову и грудь философа.

Старик сперва замычал, заворочался от неприятного ощущения на разгоряченном теле холодной ключевой воды и наконец открыл мутные, недоумевающие глаза.

Два-три глотка из амфоры старика окончательно привели Валентина в чувство.

— Что это со мною? — спросил он, испуганно и дико глядя на Германа, которого, казалось, едва узнал…

— Не беспокойся, учитель, легкий обморок, — ответил тот.

— От сильной жары, жажды, а может быть, и от усталости, — добавил старичок-незнакомец.

Философ удивленно поглядел на него, словно стараясь что-то припомнить.

— Кто ты? Откуда взялся? — наконец, с усилием выговорил он.

— Мы об этом потом поговорим, — кротко ответил старичок. — А теперь помолчи, тебе пока вредно много говорить…

Философ повиновался.



— А нам, юноша, надо как-нибудь свести или, в крайнем случае, снести этого почтенного мужа вниз к ручью. Там прохладно в пещере. А здесь можно опасаться повторения обморока, — добавил он, обращаясь к Герману.

Само собою, юноша только кивнул головой на это предложение: ему даже на мысль не пришло спросить, как они спустятся со своим больным под такую крутизну; значит — дело возможное, если старичок говорит так просто и естественно.

— Можешь ли ты идти, хотя бы как-нибудь, хотя бы самым тихим шагом? — спросил незнакомец у философа.

Тот утвердительно кивнул головой и поднялся было на ноги, но в ту же минуту упал бы, если бы Герман со стариком не поддержали его...

— Плохо дело! — сказал старичок юноше, обмениваясь с ним сочувственным взглядом. — Но как бы то ни было, здесь оставить его нельзя, обморок обязательно повторится, и притом более глубокий и опасный!..

Действительно, здесь, на вершине залитого жгучими лучами холма без малейшего признака растительности, среди кипятивших воздух раскаленных камней, мудрено было бы сколько-нибудь сносно дышать даже человеку, вполне бодрому и здоровому.

Незнакомец и юноша снова обменялись сочувственными взглядами и, не говоря ни слова, взяли философа под руки и повели, точнее сказать, понесли, так как он едва-едва передвигал ноги, а порой прямо волочил их.

Направились они не туда, откуда оба раза появлялся таинственный старичок, а обошли значительное расстояние по краю обрыва. Здесь перед взором юноши открылась довольно пологая, хотя и очень узкая тропинка, сбегавшая к ручью. В более крутых местах ее положены были чьей-то заботливой рукой большие, ровные и прямые камни, грубо отесанные; благодаря им получилось подобие довольно сносной лестницы. Это и был настоящий спуск к ручью. Другим же путем старичок воспользовался, очевидно, для скорости.

Тут Герману и незнакомцу пришлось буквально нести философа, причем хилый старик обнаружил силу и ловкость, удивившие юношу. Идти по узкой тропинке с такой тяжелой и неудобной ношей было, тем не менее, крайне неудобно и затруднительно. К счастью, в ущелье

солнце не пекло так сильно. Здесь чувствовалась приятная свежесть от бегущего по каменистому ложу полузасохшего ручья, и философ приблизительно на половине тропинке пришел немного в себя, так что путники сравнительно быстро спустились на обширную площадку на берегу ручейка.

За площадкой чернело отверстие пещеры, служившей, как оказалось, жилищем незнакомцу. Герман только тут почувствовал, насколько он утомлен и обессилен и что лишь испуг за учителя не поставил его в такое же беспомощное положение. Он встал на колени на площадку и жадно прильнул воспаленными губами к холодной влаге ручейка. Философ уселся на бережку и, черпая горстями воду, поливал себе голову. Освежившись, они обратили внимание, что спутник их исчез. Впрочем, подняв головы, они увидели его ловко взбиравшимся по утесу на обрыв.

— Куда же ты? — крикнул ему оживший и пришедший в себя Герман.

— Амфору наверху оставил, — донесся до него громкий и веселый голос старика, который вдруг исчез из глаз, взобравшись на край холма.

Философ, окончательно оправившийся, и ученик его невольно посмотрели друг на друга; они оба и удивлялись, и недоумевали. Что это за таинственный, какой-то неестественный человек? Старый, тщедушный, согбенный, а сильный и подвижный настолько, что и молодому не уступит. Бегать под жгучими лучами солнца с непокрытой головою, прыгать по острым, раскаленным, как металл, камням — это и молодому, и бодрому человеку не под силу. И притом, ради чего? Чтобы помочь совершенно чуждым, незнакомым ему людям! И как все это делает он — охотно, ласково, любовно, словно не им, а себе самому оказывал он услугу…

— Странный человек! — проговорил философ с недоумением.

— Удивительный человек, — ответил юноша с убеждением, в котором звучало и изумление, и чуть ли не благоговение.

— Должно быть, какой-нибудь философ-отшельник из стоиков[52], — снова сказал Валентин.

— Едва ли, — ответил Герман. — Они, правда, закаляют свое тело и сводят до последней крайности свои нужды и потребности, стараются быть нечувствительными к своим личным страданиям и к горю ближних, а посему такой поступок с чужими людьми, какой мы только что видели со стороны этого почтенного старика, едва ли свойствен философу-стоику…

— Ну уж и почтенный!.. Но кто же он, по-твоему?

— Христианин!

— Что?!

— Я уверен твердо, что он христианин!

— Вижу, мой дорогой Герман, что твой рассудок совсем помутился от жары… Приди в себя и подумай хорошенько — возможен ли такой поступок со стороны члена этой темной, суеверной и изуверной секты, этих врагов рода человеческого. Правда, я слышал, что друг другу они всегда и во всем помогают, стеною стоят один за другого. Но чтобы этот темный сектант, если он действительно христианин, как ты думаешь, так отнесся к нам, зная, что мы не христиане?! Ведь христиане при встрече обмениваются условными словами, а сегодня, по случаю их праздника Воскресения, даже лобызаются… Тем более, что им небезызвестна угрожающая им

не сегодня-завтра опасность. У них теперь повсюду есть приверженцы, вроде этого полусумасшедшего Целестина… Да, в Риме ни для кого не тайна, что император сильно на них разгневан, даже взбешен, если взять во внимание, что он недавно велел арестовать своего двоюродного брата Флавия Клемента, консула, и жену его Домитиллу, тоже свою родственницу, из-за одного только подозрения в сочувствии к христианству. Арестован и другой консул, Апулий Глабрий…

Юноша, кажется, не слыхал слов учителя и сидел в глубокой задумчивости, из которой его только вывело восклицание Валентина.

— Э! Да вон он и спускается, старый фигляр! Вот у него и спросим, христианин ли он или нет. Они, говорят, никогда не отказываются прямо отвечать на этот вопрос. Безнаказанность их в течение последних почти тридцати лет сделала их смелыми до нахальства. Что же только он теперь так медленно спускается? Упрыгался, козел…

Философ начинал уже враждебно относиться к неизвестному благодетелю только из одного уже предположения, что тот христианин. Да и было, по мнению философа, за что. Сколько христиане переманили к себе его учеников… Притом, самых честных, талантливых и нравственных. Вот и теперь, лучший во всех отношениях и любимейший ученик Герман уже поддается их незаметному, тлетворному влиянию. Философ Виктор, всегдашний единомышленник, явно стоит на распутье, а друг детства Целестин положительно на их стороне… Едва ли даже не тайный христианин…

Герман быстро вскочил на ноги и полез по обрыву навстречу осторожно лепившемуся по почти отвесной стене старичку, который остановился, оглядываясь кругом, словно в замешательстве или нерешимости.

— Что с тобою? — крикнул юноша, который подумал, что старичку дурно от жары и усталости.



— Да вот боюсь амфору разбить, у меня всего две, — как-то виновато-добродушно отвечал тот.

— Подожди же, я тебе помогу!

Герман подошел к старичку, взял у него амфору и чуть не вскрикнул…

Не было сомнения, что перед ним стоял христианин: у него были отрублены большие пальцы на руках.

Герману приходилось не раз встречать старых христиан с такими искусственными изъянами: клейменым лбами, отрезанными ушами, отрубленной рукою.

Взглянув машинально на ноги спутника, он увидел и на них тот же недостаток.

Старичок бодро начал спускаться вниз, все время твердя: «Да сохранит Бог тебя, добрый юноша! Да благословит тебя за твою доброту».

— Почему ты не пошел той боковой тропинкой? — спросил юноша. — Она несравненно удобнее и безопаснее.

— Мне хотелось скорее подкрепить ваши силы водой с вином, которое у меня есть! — коротко и просто ответил старичок.

Юноша даже перестал удивляться.

«Уж не хочет ли он или не думает ли он задобрить нас своим уходом из опасения, что мы донесем властям о случайно открытом нами его убежище, — невольно мелькнуло в голове юноши». Поэтому он удержал уже вертевшийся на языке вопрос, не христианин ли его спутник: он боялся, что вдруг поставит этого великодушного и доброго человека в необходимость или солгать, или, в крайнем случае, дать более или менее уклончивый ответ.

А тот уже стоял внизу, с добродушной улыбкой глядя на юношу, которому теперь и помог благополучно спуститься в долину.

Они пошли к философу, причем старичок опять взял у Германа амфору, которая, по непривычке его к переноске такого рода тяжестей, положительно оттянула ему руки… Юноша подошел к философу ранее своего спутника и, желая предупредить его от вопроса, который тот, по его мнению, мог задать старичку, чем и поставить его в крайне затруднительное положение, быстро сказал:

— Я угадал… Я прав!..

Выведенный из задумчивости философ поднял на него изумленные глаза, забыв, очевидно, о предмете недавно бывшего спора, и, увидев подходящего старичка, резко и словно крича спросил его:

— Ты — христианин?

Тот, не торопясь, поставил амфору с водой на землю, выпрямился во весь рост и спокойно и ясно сказал:

— Да, я христианин!

Лицо его стало серьезным, пожалуй, даже строгим.

Философ взглянул на него с ненавистью. Зато юноша был в восторге. Много уже он видел христиан, но такого не было: ни в чьих устах это «я — христианин» не звучало так просто, спокойно и в то же время так властно, словно горделиво…

— Я бывший пресвитер Римской церкви Александр, — добавил старичок уже проще.

А затем весело и радушно сказал:

— Пойдемте в мою пещеру. У меня есть овощи, плоды и вино. А вам необходимо подкрепиться. А куда вы шли?

Те сказали.

— Следовательно, вы два раза свернули вправо, когда вам надо было один раз взять немного влево…

— Экое горе, — искренне огорчился философ.

Это блужданье по солнцу, обморок, возвращение назад — все бы он еще считал неважным; но смутно и бессознательно чувствовал он, что его любимый Герман уже не выйдет из пещеры Александра таким, каким войдет туда… Нет, это уже будет жертва ненавистных ему христиан, подобно тому, как прежде делались жертвами их учения другие, лучшие и любимейшие его ученики.

Вести своего ученика в эту пещеру казалось философу одинаковым тому, как если бы он вел его в клетку или логовище к дикому зверю — льву, пантере, тигру, как некогда посылал самих христиан Нерон.

«Так вот их месть нам!» — мелькнуло у него в голове уже при самом входе в пещеру… И он уже готов был отказаться от гостеприимства отшельника, но вспомнил тяжесть дороги, которую предстояло пройти вновь, сердитый голод и палящую жажду, вообразив свежие овощи и плоды и ароматное вино. Затем, взглянув в лицо своему ученику, ничего не выражавшее, кроме радости или удовольствия, он с небольшой, положим, натяжкою тотчас же решил последовать совету своего учителя, «божественного» Эпикура. То есть взять в данную минуту от жизни столько доброго и приятного, сколько она в состоянии дать. Только уж он поспорит и поговорит с этим христианским «пресвитером» (философу известно было значение этого звания), и не даст в обиду и в соблазн цвет и красу своей теперешней школы!

Пещера была и узка, и темна, особенно для глаза, только что ослепленного ярким солнечным светом.

Лишь пройдя несколько шагов, путники увидели, благодаря падавшему в проделанное наверху небольшое неправильной формы отверстие яркому солнечному лучу, что они находятся в каком-то жилье вроде комнаты.

Почти посреди этого жилья стоял большой, грубо обделанный камень, очевидно, игравший роль стола. У одной из стен навалена была куча тростника, пальмовых и кипарисовых ветвей и прочее… В другом углу, ближе к столу, те же тростник и ветки, уложенные в большем порядке, говорили, что это человеческое ложе. Если еще не считать, что на выступе стены, украшенном какими-то таинственными буквами и знаками, между которыми чаще всего встречался крест, лежало три-четыре папирусных свитка, то, конечно, трудно было бы назвать это помещение жилищем человека.

Одно было хорошо в этой пещере — полная прохлада и вбежавший в отверстие наверху луч; он как-то золотил угрюмые стены пещеры, отливался, ломаясь в блестящих трещинах скалы, словно радовался и смеялся. Хорошо было также смотреть на пробегавший невдалеке ручей, журчание которого порою доносилось и сюда.

Впрочем, так показалось юноше, на старика философа же все это произвело иное впечатление.

— Неужели здесь можно жить? И неужели ты здесь живешь? Ведь это какая-то звериная нора.

С таким вопросом обратился он к куда-то выходившему и вернувшемуся Александру, с тоскливой безнадежностью оглядывая темные, суровые стены пещеры.

— Почему же не могу? — ответил тот с обычным добродушием и словно удивлением, что кому-нибудь может не нравиться такое удобное и уютное помещение.

— К тому же, — добавил он, — учитель мой Павел пишет, что было время, когда «те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр.11:38.). А я что же? Те были «светом мира», «солью земли». Не со мною их сравнивать!

И он опять исчез.



Рис. Ольги Бухтояровой

— Странный человек, — опять сказал философ.

— Удивительный! — по-прежнему ответил ученик.

В это время привыкшие к темноте глаза философа заметили лежавший около большого камня низкий, продолговатый камень, игравший, очевидно, роль скамейки, и он, не ожидая приглашения исчезнувшего хозяина, не догадавшегося почему-то этого сделать, преспокойно развалился на нем.

Герман же вышел к самому устью пещеры. Все виденное и слышанное им теперь, в связи с тем, что он видел и слышал ранее, так взволновало его, что ему было точно мало воздуха.

Уныл и некрасив был вид кругом, тяжело молчание, нарушаемое только тихим журчанием ручейка, как-то безотраден был раскаленный свод неба, жгуч и душен неподвижный воздух, но все это представлялось взору юноши в совершенно другом свете…

Почему? Вероятно, потому, что здесь не видно этого надоевшего проклятого Рима. А вдруг

потому…

Юноша не мог бы положительно ответить на какое-либо другое предположение. Он только смутно, неясно чувствовал, что с ним совершается какой-то перелом… Только, во всяком случае, к лучшему… Что начинается возрождение угнетенного его духа!..

…Забылся томительным смутным полусном «город городов», властитель полумира, повелитель народов, великий, грозный, беспощадно суровый Рим.

И не может вздохнуть он полной грудью, грудью, закованной в железную броню, грудью — крепче и тверже покрывающего ее железа!

Глава III

— Герман, — вызвал его из задумчивости голос философа, прозвучавший как-то особенно весело.

Юноша поспешил на его зов и тут же увидел причину удовольствия старого сластуна. На большом камне заманчиво белела амфора с красным, как рубин, вином; желтели и краснели положенные на пальмовые листья апельсины и другие фрукты; в тростниковой корзинке зеленели фрукты.

Старичок, суетившийся у «стола», ласково пригласил юношу к трапезе. Философ подвинулся, и юноша опустился на камень возле него; старичок встал напротив на выступ скалы, пришедшийся как раз посередине «стола» и весьма близко к нему.

В руках его оказался белый круглый небольшой хлебец. Он поднял глаза кверху и зашептал что-то про себя, причем падавший сверху луч осветил его голову, словно ореолом, — сделал над хлебом (очевидно, благославляющий) крестообразный жест правой рукою и ловко разломил его на четыре почти равные части. Две из них он придвинул Валентину и Герману, одну взял себе и одну отодвинул в сторону.

Философ только теперь заметил изъян на руках пресвитера Александра, но придвинутая им же амфора с вином заставила Валентина отложить вопрос до более свободного момента, а теперь жадно присосаться к краю кувшина.

— Великолепно! — протянул он наконец, передавая кувшин Герману и приходя в благодушное настроение.

Юноша отпил немного оказавшегося великолепным вина и передал кувшин Александру. Тот встал, взял кувшин и оставшийся кусок хлеба и снова исчез.

Философ с учеником сидели молча: первый усиленно занялся истреблением плодов, а второй задумчиво сосал апельсиновую кожу.

Александр, впрочем, скоро вернулся, неся назад и хлеб, и амфору; лицо его было тревожно и озабоченно, и видно было, что ему стоило усилий придать себе радушный и ласковый вид, с которым он, ставя амфору перед гостями, предложил им снова откушать вина.

Герман отказался, зато философ не заставил повторить просьбу и снова прильнул к кувшину.

— Конечно, судя по наружности вашей, он не отец твой? — спросил Александр юношу.

— Нет, это мой наставник и учитель — философ Валентин.

— Счастлив ты, юноша, что имеешь такого наставника. Давно уже Валентин славится как мудрейший и ученейший наставник во всем Риме, и притом человек честных и твердых убеждений и строгой нравственности. Да благословит его Бог! И нам он дал многих и притом лучших из христиан!..

Философ, которому человеческие слабости не были чужды, не без тайного удовольствия прислушивался к похвалам со стороны Александра, особенно же в присутствии Германа, который в последнее время стал вступать в споры с философом и, пожалуй, чего доброго, стал сомневаться в глубине его учености и истинности эпикурейской философии! Он делал вид, что не слушает Александра и занят исключительно вином и плодами. Но при его последних словах он отставил от себя амфору и резко, словно крича, — как прежде, когда спрашивал Александра, не христианин ли тот, — обратился к нему:

— Ты жестоко заблуждаешься, христианин, думая, что я служу поставщиком для твоего Христа!

— Я не говорю этого, достопочтенный! — кротко отвечал старичок. — Христос не нуждается в поставщиках: Он Сам призывает к Себе, кого Ему благоугодно.



— Что же ты хотел сказать?

— Только то, что ты не растратил данный тебе Богом талант, умножил его и поделился со своими ближними, из которых теперь многие работают на ниве Господней и всегда добром и с любовью вспоминают тебя. А сегодня я видел на деле, как тебя любят твои ученики! Должно быть, ты заслуживаешь этого, достопочтенный Валентин! Если бы не такая разница в наружности, я бы подумал, что юноша…

— Герман! — прервал философ.

— Его зовут Германом? Хорошо. Так я подумал бы, повторяю, что это твой сын. Да и то не всегда приходится, к сожалению, такое беспокойство и заботу видеть даже от родных детей.

Валентин смягчился, кивнул отшельнику головою и снова придвинул к себе амфору. Герману было и весело, и неловко слышать похвалы доброго старца.

— Как же ты услыхал мой крик? — спросил он у него лишь для того, чтобы замять этот

разговор. — Ведь мы были довольно далеко?

— Очень просто! То место, где вы сидели, находится как раз над этой пещерой, а это отверстие, — старик показал наверх, — шагах в десяти от камня, на котором отдыхал философ. Оно находится между двух больших камней, лежащих углом, и сверху кажется провалившейся ямкой сухой глины, так что, если бы вы его и вздумали искать, то едва ли бы нашли, — продолжал дальше словоохотливый старичок.

«Какое доверие к людям, совершенно незнакомым и, по всем вероятиям, даже враждебно расположенным», — удивлялся в душе Герман.

— Да… — задумчиво говорил между тем Александр, доедая бывшую у него часть хлеба. — Глубокий, полный знаний ум и пылкое благородное сердце…

— Но будет время, и недалеко уже оно, — добавил он как-то пророчески, — когда и Разум, и Сердце сольются в одном светлом Источнике вечно Сущей Любви!..

«О чем это он толкует?» — подумал Валентин, но, взглянув на своего ученика, восторженно глядевшего на отшельника и как бы одобрявшего его взглядом, понял ясный смысл слов старца и словно взбесился.

— Послушай, — снова словно крикнул он, — почему это у тебя нету четырех передних зубов, а остальные прекрасно сохранились? Выбили тебе их, что ли?!

Юноша укоризненно и с мольбою взглянул на него.

— Да, — кротко отвечал старик.

— Кто же? Должно быть, те, кто поотрубали тебе пальцы? — и он искусственно засмеялся…

Герман поник головою. Философ понимал, что ему стыдно, что он страдает за своего учителя, и сам сознавал, что поведение его не только неблагородно и вполне неуместно, но положительно глупо, однако, гнев и вино окончательно отуманили его рассудок, и он продолжал смеяться насильственно, притворно, натянуто.

— Те же самые! — как-то весело и с добродушной улыбкой ответил старик. — Я, как уже говорил вам, был в Риме пресвитером. Когда почти в один день погибли здесь два столпа христианства — ближайший ученик Христа Петр, распятый на Ватиканской горе, и красноречивейший из проповедников Христа Павел, которому отсекли голову на Остийской дороге, — я, лишившись таких наставников, пришел в уныние и — о, маловер! — усомнился в словах Христа, что «врата ада» не одолеют Его церкви, стал нести свои святые обязанности как-то холодно и безнадежно. До чего дошло тогда мое отчаяние, можете судить по тому, что после отречения от христианства одного из моих пасомых, я не придумал ничего лучшего, как уйти из Рима куда глаза глядят…

— Струсил, значит, — уже прохохотал философ.

— Нет, мне просто было горько, грустно, стыдно. Печальное, тяжелое раскаяние грызло мое сердце, я стонал и кричал от невыразимой душевной боли, вспоминая, что я обманул доверие моего великого учителя Павла…

— Ну, а когда ты уходил из Рима, тебе не явился Христос? — насмешливо спросил философ.

— Ты знаешь, — обратился он к Герману, — вот тот самый Петр, о котором он только что говорил, повешенный на кресте, тоже вздумал было убежать из Рима, да и повстречал на дороге «ихнего» Христа… Слушай дальше: Петр Его и спрашивает: «Ты куда идешь?» А Тот отвечает: «В Рим, чтобы вторично быть распятым!»

И он опять расхохотался.

— Петр, говоришь ты, достопочтенный философ, — сказал старик, поднявшись с места и протягивая вперед руку, причем с лица его сбежала обычная добродушная улыбка, а глаза загорелись восторженным огнем вдохновения.

— Петр… — повторил он, — вся жизнь которого была посвящена Христу! Петр, который день и ночь, каждое мгновение думал только о Христе! Петр, который в страшный момент позорной, мучительной казни не мог забыть Его! Разве он не достоин встретить Христа?

— Нет, о философ, ты жестоко заблуждаешься. Всякий, кто держит в своем сердце Христа или только ищет Его, — и встретит, и найдет Его, — заключил отшельник восторженно.

Он бы и еще продолжал, но глаза Германа словно просили успокоиться этого оскорбленного и обиженного, как тому казалось, старика, до того привязанного к исповедываемому им учению, что даже имена самих исповедников Христовых он произносил с каким-то умилительным благоговением.

Философ перестал смеяться: его искусственный, холодный, насмешливый хохот был побежден горячей, искренней, из глубины души шедшей речью отшельника.

— А я, — добавил тот с грустью, утихая и садясь на место, — совсем забыл тогда Христа, и исчез чудный и светлый образ Его из моего сердца, где осталось место только для бесконечной тоски, необузданного отчаяния!

Герману до слез стало жаль его.



Рис. Маргариты Мальцевой

— Но почему же ты, учитель, — обратился он к отшельнику, не замечая и сам, каким именем он назвал его (впрочем, ни Александр, ни Валентин этого не заметили тоже), — сам не пошел на смерть?.. Ведь не может этого быть, — я решительно этого не допускаю, — чтобы ты испугался пыток и казни?

— Этого я тебе и сказать не могу, — просто и задушевно ответил старик. — Одно могу сказать, что я не боялся. Божественный Павел научил меня не бояться смерти, которая есть не что иное, как соединение со Христом. Он сам несколько раз желал разрешиться от всех земных уз и быть со Христом. *«Бедный я человек!* — писал он здешним христианам[53]. — *Кто избавит меня от сего тела смерти?»* А его смерть и смерть Петра, удивившие врагов, разве не убеждали, что умереть за Христа легко и отрадно? Не говорю уже о моем отчаянии после потери этих дивных учителей, этих чудных людей. И все же я уклонился от смерти.

— Может быть, я и ошибаюсь, — продолжал отшельник, немного помолчав, — но выслушай дальнейшее, и тогда покажется, что все это произошло не без воли Того, без Чьей воли не падает волос с головы нашей. Уже несколько месяцев скрывался я чуть ли не по всем городам Италии, как вдруг узнаю, что тот отступник — его звали Максим, о котором я говорил уже, — снова вернулся в лоно Христово и уже запечатлел свою веру в Него мученической кончиною, будучи усечен мечом. Он был римский гражданин и занимал важный пост… Я был тогда на юге Италии. В первом же попавшемся городе я заявил, что я христианин. Но там этим не ограничились и, очевидно, приняв меня за какого-то важного преступника, отправили в Рим под усиленным конвоем. Шли мы очень долго. Когда же явились в Рим, меня, не допрашивая, не говоря даже со мною ни о чем, бросили в тюрьму около Колизея. Там я нашел чуть ли не половину своей разрозненной паствы, часть которой успела скрыться, часть была казнена или отдана на растерзание в цирк; некоторые случайно уцелели. Заплакал я и от благодарности Богу за то, что Он не отказывает принять мою жертву, и от радости свидания с этими адамантами, исповедниками Христа. Каждый мог бросить мне в лицо упрек в оставлении стада,

куда пришел волк. И действительно, они упрекнули меня, но только за то, что я напрасно не берегу нужную будто бы для Церкви жизнь свою! И превратилась моя радость в скорбь… Что значило мое позднее мужество в сравнении с постоянным мужеством их? Что значило мое здоровое цветущее тело в сравнении с ними, изнеможденными от ран и лишений? Чего стоила моя робкая любовь к ним против их беззаветной любви ко мне? И я не мог нести самой святой из наложенных на меня саном обязанностей — утешать и облегчать страдания несчастным, обездоленным и гонимым, ибо даже утешить их, воодушевить на предстоящий подвиг я не мог, да и не имел права. Это было скорее их право… Я молил Бога о смерти и с таким нетерпением ждал ее, что, когда однажды утром пришел начальник тюрьмы и прочел нам эдикт о прекращении гонений на христиан и приказ о нашем освобождении, я нисколько не обрадовался! Я предложил своей пастве воздать хвалу Богу за наше почти чудесное спасение, назначив для этого первый воскресный день и избрав местом собрания катакомбу, где был похоронен Максим, на гробнице которого я намеревался совершить богослужение. Но только что я начал было надевать священную одежду, мысленно моля у блаженного Максима прощения за то, что я своим нерадением заставил его впасть в тяжелый, хотя уже и искупленный им теперь грех, в катакомбу ворвались воины. Они схватили меня, не дав опомниться ни мне, ни присутствующим, повлекли по улицам и бросили в ту же самую тюрьму, из которой я только что вышел. Я, как оказывается, был обвинен, и совершенно напрасно, в какой-то краже, давно обнаруженной и разысканной. Но умысел был другой: взявшим меня воинам и тюремщикам хотелось получить за меня выкуп от моей паствы, и они велели мне о том написать. Я же написал совершенно обратное, то есть чтобы ни в каком случае они этого не делали. Тогда тюремщики подвергли меня побоям, причем выбили мне, как видишь, несколько зубов, разбили грудь и сломали два ребра. Когда и после этого я не поддался на их уговоры, они решили отрубить у меня большие пальцы на руках и ногах. От сильной боли, а главное, большой потери крови, я пришел в бессознательное состояние, и тогда они, сжалившись надо мною, отнесли меня к общей их знакомой старушке Руфине, славившейся между ними своим искусством быстро заживлять тяжелые раны. Действительно, как мне потом пришлось убедиться, искусство ее было замечательно, особенно если принять во внимание те небольшие медицинские познания, которыми она обладала, и крайне ограниченный выбор лекарственных трав и растений. Я убежден, что такие чудесные случаи исцелений происходили от сердечного, матерински заботливого отношения Руфины к ее больным, от ласкового и в то же время вполне разумного ухода. Ко всем она относилась кротко, ласково и любовно: и к язычникам, и к христианам, хотя последнее и было небезопасно. Однажды уже разнесся, правда, неверный слух, что она тайная христианка, и, вероятно, только то, что ей иногда приходилось услуживать по излечению болезней довольно крупным лицам, избавило ее от преследований. Так вот этот заботливый уход в связи с природною крепостью и выносливостью моего тела скоро поставили меня на ноги. Но я не сразу оставил ее убежище: мне хотелось обратить ко Христу эту добродетельную женщину. Предлогом же к этому явилось то обстоятельство, что у нее, при одной помощнице, было очень много работы, а я умел немного разбирать травы и растения и прежде немного лечил. Сверх того, от звания пресвитера мне пришлось отказаться: полученные мною увечья не дают мне возможности совершать христианские богослужения… Больных было очень много; дело это мне понравилось, я так и остался в убежище. Скоро Руфина, принявшая уже христианство, перешла в лучший мир, и я сделался как бы естественным ее преемником, тем более что искусство врача далось мне совершенно, и больных у меня было постоянно много. Так прошло около двадцати лет, и я был счастлив, принося посильную помощь ближнему. Но лет десять тому назад случилось несчастие. Подрались в нетрезвом виде на мечах сын и племянник патриция Квинта Флакка и в пылу борьбы нанесли друг другу по нескольку ран. Прибежали за мною, и я немедленно же поспешил к раненым. Но в отношении племянника помощь моя оказалась излишней: мне пришлось только принять предсмертный вздох юноши. Что касается сына, то раны его были сравнительно легки, и весьма возможно, что его можно было бы

вылечить, но, придя в себя, он так отчаивался в убийстве друга своего детства, двоюродного брата, что срывал постоянно все наложенные перевязки и постепенно истекал кровью. Отнеся смерть его к моей небрежности или злому умыслу, патриций пришел в страшный гнев и сказал, чтобы я уходил из Рима, куда мне угодно, и при этом поклялся, что если только я осмелюсь когда-либо попасть ему на глаза, он велит бросить меня в Тибр…

— И опять, значит, бежал? — насмешливо прервал Александра философ, которого давно уже разбирала страшная досада против старика и мучило желание как-нибудь уронить его в глазах Германа, очевидно, уже попавшегося в сети хитрого христианина.

— Нет, на этот раз не совсем! — по-прежнему добродушно ответил старичок. — Я поселился здесь вблизи, где меня и навещают менее трудные больные, а также и здоровые, у которых есть больные родственники или знакомые, которым я и подаю советы заочно. Изредка я рискую появиться в Риме, да и то не иначе как под кровом темной ночи и под охраной вполне верных и надежных людей…



Рис. Ольги Бухтояровой

Философу, собственно, не было смешно, но он искусственно расхохотался и спросил:

— На этот раз смерть за Христа тебе, очевидно, не представляется желательной?

— Это была бы смерть не за Христа, а за свою неосторожность. Кому бы и какая польза была от этой моей смерти? Я не говорю о прежней, ведь тогда бы я примером своим поддержал дух немощных и, может быть, даже привлек к Христу хотя одну новую овцу! Но говорю о теперешней. Много бы бедняков больных остались без врача, только и всего! Рано или поздно, мне нужно идти ко Христу, но не прежде, чем Он призовет. Тогда я не умедлю, явлюсь и скажу: «Ты звал меня, Господи! Вот я перед Тобою. Слава Тебе за то, что, видя мою слабость и недостоинство к несению апостольского служения, Ты снял с меня непосильное бремя это! Но в то же время и благодарю Тебя за то, что Ты благоволил указать мне тот путь, где я был более полезен ближнему, имея шестнадцать пальцев, нежели в сане пресвитера с двадцатью!..»

Старичок вдруг замолк, словно сконфузившись, но тотчас же оправился и, поглядывая на своих собеседников с каким-то добродушно-виноватым видом, словно оправдываясь, продолжал:

— Дальше убежать у меня не хватило бы силы — до такой степени я сроднился и с бывшей

своей паствой, и с христианами Рима и его окрестностей! Не мог бы я причинить им не только огорчение, но и малейшее неудовольствие, ибо за ничтожные мои услуги они воздают мне сторицей! Посмотрите, у меня теперь всего один больной, а чего только мне ни нанесли для него, едва могущего проглотить кусок хлеба и сделать глоток вина!

— А вино — первый сорт. Да и плоды для такого еще раннего времени года… — не утерпел философ.

— А не покажешь ли ты мне своего больного? — спросил юноша.

— Нет, нет! Идем, идем! — закричал философ, словно он увидел своего ученика на краю огромной пропасти и хотел отвести его далее от ужасной бездны.

— А мы еще не заплатили ему за гостеприимство и услуги, — ответил юноша, стараясь оттянуть время.

— О, нет! — воскликнул старичок, ласково отводя протянутую ему руку юноши с кошельком. — Я не возьму, да и не могу взять!

— Почему это? — обратился к нему подошедший уже к выходу философ.

— Нам сказано: даром получили, — даром давайте!

— Кто это вам сказал? — словно прорычал философ, побледневший от негодования на этого юродивого, как он заключил, человека.

— Наш Божественный Учитель Христос!

Философ ничего не ответил и быстро зашагал вперед, так что Герман, которому было грустно оттого, что отшельник не взял денег, едва-едва поспевал за ним.

Но быстрота философа сразу улеглась, как только они сделали несколько шагов по дну ущелья. Жара, правда, несколько спала, но зато царила такая неподвижная, как пар плотная духота, предвещавшая сильную грозу, что он даже попятился. Теперь уже и ручей не давал прохлады, а словно еще подбавлял испарений в безветренную атмосферу. Испарений тяжелых, душных и нездоровых…

Нечего поэтому удивляться, что предложение отшельника вернуться в пещеру и отдохнуть до заката солнца, встретило со стороны философа, к величайшей радости Германа, полнейшую готовность. Входя снова в пещеру, Валентин думал о том, что не следует давать легкомысленных обещаний, подобно ему, поклявшемуся не входить в это «проклятое логовище», как он мысленно называл пещеру отшельника. Голова же Германа была занята вопросом, как и чем бы отблагодарить приютившего их доброго и кроткого старичка.

Валентин не заставил себя долго просить и живо улегся на предложенную ему стариком-отшельником постель, скромность какового ложа в отношении мягкости была отчасти уменьшена добавлением тут же лежавших камыша и ветвей.

Но Германа ни за что нельзя было уговорить лечь ранее, чем он посмотрит на пользуемого старичком больного. Ранее в стремлении юноши видеть больного играло роль одно любопытство. Теперь же к нему примешалась и хитрость: ему пришло в голову отдать деньги больному. «Вероятно, возьмет, — думал он. — Ведь не все же такие, как этот чудный старичок!» Поэтому, как ни боялся Александр потревожить больного, пришлось исполнить

просьбу юноши.

Они прошли коридор, настолько низкий, узкий, извилистый и ухабистый, что человеку мало-мальски высокому и плотному было бы невозможно, кажется, и повернуться. Герман только подивился тому, каким образом могли пронести здесь принесенного из Рима, как говорил отшельник, больного. Очевидно, для этого человека не существовало ничего невозможного!

Коридор оканчивался маленькой темной пещерой, служившей, очевидно, складом провизии, которой, впрочем, теперь не было, и лишь остался запах зелени и плодов. Дальше шла большая пещера, свет в которую падал в расселину скалы, поэтому глазам Германа долго еще нужно было бы поработать, чтобы увидеть что-нибудь. Но спутник, зажегши светильник, пришел таким образом ему на выручку. И тогда юноша увидел за одним из уступов постель, сделанную из травы, камыша и ветвей настолько удобно, насколько это являлось, очевидно, возможным.

Закутанный в два плаща юноша, почти мальчик, лежал на постели. Достаточно было взглянуть в его женственно-прекрасное бледное лицо, в расширенные в каком-то безумном ужасе, неподвижно стоявшие глаза, чтобы понять, что бедняге едва ли можно передать деньги, всякое понятие о которых для него теперь было, очевидно, недоступно.

Герман еще раз взглянул на больного, взглянул на отшельника, встретился с ним взглядом и сразу все понял… Он снял свой роскошный, драгоценный плащ и передал его Александру. Тот отдал светильник Герману, а сам осторожно и любовно, словно мать любимое дитя, окутал больного, во взгляде которого, устремленном на свет ночника, бывшего в руках Германа, отразилось что-то вроде сознания, даже, как показалось юноше, благодарности. И пусть бы эта благодарность относилась не к нему, жертвователю, а к доброму старику!

Несмотря на весь мрак, даже ужас этой картины, смерть одинокого, почти еще нуждающегося в материнском уходе и ласке юноши, теперь уже не видящего ни солнечного луча, ни зелени растений, ни свободного птичьего полета — всего того, что называется жизнью, — Герману сделалось как-то умилительно-радостно, чуть ли не весело… Он знал, что ничем более он не мог бы угодить своему добродушному хозяину, как таким подарком. А может быть, и невольное, в тайниках души таящееся неясное сознание своей юности, свежести, полноты сил и свободы порождало в нем ту радость, которая, с одной стороны, чуть не заставила его запеть и заплясать, когда по выходе из мрачного коридора перед ним сверкнул светлый вход в жилище отшельника, а с другой — не позволила спросить своего спутника, что это за несчастный молодой человек, которого они только что видели, и что именно с ним произошло….

Герман был еще очень молод, но уже столько пришлось ему видеть несправедливостей, зла, бесчеловечности! Столько пришлось перенести ему горя, что он прекрасно знал: ответы на такого рода вопросы могут как разочаровать его, так и принести хорошее настроение!

Но и настроение это, и приключения нынешнего дня, и необычайный встречный, и странные непривычные разговоры, — все это имело в результате утомление, сказавшееся у Германа как-то по-детски. Он присел на приготовленное ему ложе и вспомнил, что старичок взял со стола их общей трапезы четвертую, оставшуюся от съеденного ими хлеба, часть…

Старичок же, подойдя к уставшему от впечатлений Герману, спросил его, не желает ли он посмотреть его других друзей. Герман выразил полную готовность следовать за ним, но ногам почему-то было лень подняться. Он хотел спросить, какие это такие друзья, но язык почему-то не повиновался. Когда он раскрывал временами глаза, то видел старичка на площадке перед пещерой; у ног его юлила и ластилась небольшая серенькая козочка, около плеч вились белые

голуби…

Козочка — и откуда она взялась! — ела хлеб из руки старичка и задорно блеяла. Голуби — почему их раньше тоже не было слышно? — клевали крошки и весело урчали. Старичок махал руками на воробьев, хватал козочку за рожки и смеялся, как дитя.

Несколько раз встала перед глазами юноши эта картина, фантастичная по своему содержанию, полному радости, мира и любви. Фантастичная и по освещению, ибо лучи давно перешедшего за полдень солнца, ударяясь в вершины скал, придавали долинке какой-то странный колорит, причем голова старца была точно в ореоле… И по рамке, наконец, фантастичная, потому что окаймлена была причудливыми, изломанными очертаниями входа в пещерку!

Ах! Какая милая картинка!

А ведь уж она когда-то раньше снилась Герману? Но только это было так давно, так давно… Далеко-далеко!

Но вот старичок делается то маленький-маленький, то вдруг вырастает и уходит за рамку пещеры, а потом опять делается с козочку… Да это козочка и есть, только что она говорит — не поймешь… А там все закружилось, как в вихре, замелькало, как в тумане, и Герман моментально заснул тем крепким и здоровым сном, каким может спать только юность…



Впрочем, не менее крепко спал и философ. Да и нет ничего удивительного. Он по-своему был честный, добрый человек, незлопамятный и сам никому не сделавший зла. А в зрелые годы чистая совесть как нельзя лучше заменяет полное здоровье и избыток сил давно прошедшей юности…

Так что хозяин пещеры совершенно напрасно старался проходить мимо них как можно тише…

Возвращаясь со второго посещения своего пациента, он невольно остановился у постели юного Германа и залюбовался своим молодым гостем.

Действительно, лицо Германа даже во сне не имело характера бессмысленности: оно было ясно и выразительно. Вот он чуть полуоткрыл губы, вздохнул, и из-под правой ресницы выкатилась и покатилась по щеке крупная, светлая жемчужинка-слеза…

— Вспоминается что-нибудь светлое, милое, дорогое… Снятся мать, отец, — невольно вздохнул старик. — Родина грезится!..

— Родина! Родина! — еще раз прошептал он и, выйдя из пещеры, вперил свои потухающие глаза в синевший над ущельем узкий клочок неба, прошептал: «Вот ваша родина!»

И, набожно сложив руки, внятно и громко старец зачитал «Отче наш…»

Слушали его только зеленая, с изумрудными глазками, любопытная и юркая, как все любопытные, ящерица, случайно залетевшая цикада, да разве еще окружающая палящая духота, — мать грозы, которая родится от нее в эту ночь… И все томится смутным полусном «город городов», властитель полумира, повелитель народов, великий, грозный, беспощадно суровый Рим.

И не может вздохнуть он полной грудью — грудью, закованною в железную броню, грудью — крепче и тверже покрывающего ее железа!



Рис. Ольги Бухтояровой

Философ и ученик его проспали очень долго, ибо Александр не хотел тревожить их здорового крепкого сна. Он задумчиво сидел на камешке у входа в пещеру, любовался, как солнце золотило прощальными лучами вершины скал, отчего они казались пурпурными, и симпатичным грудным голосом тихо напевал псалмы…

Философ, проснувшись, долго не мог прийти в себя и сообразить, где он находится. Наконец, вспомнив происшествия дня, стал громко звать Германа, бывшего от него чуть не в двух шагах, но совершенно не видимого из-за воцарившейся уже в пещере темноты. Услышав его голос, отшельник поспешил в пещеру, и они совместными усилиями разбудили крепко и сладко спавшего юношу.

— Скорей идем! — торопил его философ. — Не то и к ночи не дойдем до дому.

— Дойдете, дойдете! — поспешил успокоить отшелдьник старичок.

— Дойдем! А если опять заплутаемся?! — довольно сердито перебил его Валентин.

— Не бойтесь, тем более, что я провожу вас почти до середины пути; до места, откуда видна вилла Петрония, а там даже при желании сбиться с дороги нельзя. Да и местность оживленная, — можно справиться про дорогу у каждого прохожего.

Обстоятельство это, при опытном проводнике в начале пути, успокоило философа, и через

несколько минут три путника, — отшельник впереди, а сзади, шагах в четырех-пяти, двое, — поднимались уже на холм по прежней искусственной тропе, теперь уже потемневшей.

— Кто сделал эту дорожку? — спросил философ у Германа.

— Я! — отозвался старичок. — Больным было бы крайне трудно спускаться ко мне по той тропинке, по которой мы сегодня лазали с Германом. Тем же больным, которых нужно нести на руках, попасть ко мне был бы совершенно невозможно.

— Вот я от скуки, от нечего делать и натаскал камней, и вышла сносная дорожка. Не правда ли? — обратился он к спутникам.

Они ничего не ответили: ученик от удивления перед этим самоотверженным человеком, учитель — от одышки, сдавившей ему грудь при подъеме на крутой холм.

— Послушай, однако, — прервал философ молчание, когда они уже шли по холму, — ведь ты устроил эту удобную дорожку на собственную погибель, на свою голову!..

— Каким образом? — удивился отшельник.

— Неужели же ты этого не понимаешь? Если тебя будут искать, то никому в голову не пришло бы, что там под головоломной крутизной ютится человек, а если бы и пришло, то едва ли у кого-либо явилась охота ломать себе шею из-за одного предположения. По этой же дороге ясно, что она сделана человеческими руками, и весьма, следовательно, вероятно...

— Ах, вот ты о чем! — как-то весело перебил его отшельник. — Да будет воля Господня! — торжественно, серьезно продолжал старик. — Ему, Господину жатвы, лучше всего известно, когда созрел колос пшеничный и настало время срезать его, и не может сказать зрелый колос косящему его серпу: «Подожди подрезывать меня, ибо я еще не созрел!..»

— Бредить начинает старикашка к ночи, — проворчал сердито философ.

— Нет, учитель, он вполне... — начал было ученик, но в это время Валентин заметил, что на Германе не было плаща.

— Где твой плащ? Ты его забыл? — воскликнул философ.

Юноша взглядом показал на шедшего впереди отшельника. Философ иронически улыбнулся, но юноша не понял истинного значения его улыбки и тоже улыбнулся.

«Лицемер, — между тем думал философ. — Отказался от денег, сообразив, что плащ очень дорог. Да и скряга, к тому же. Зачем ему такой роскошный, да еще и придворный плащ, ведь не станет же он носить его...»

Надвигалась огромная грозовая туча. В воздухе с каждой минутой становилось все томительнее и душнее... Такое состояние воздуха действовало на философа, уже и без того раздраженного, самым удручающим образом. Он снова с ненавистью смотрел на шедшего посреди них отшельника, — теперь все трое шли рядом, — особенно сердившего его предложениями ускорить шаг ввиду надвигавшейся грозы, которые старик время до времени произносил вслух.

Он все время оживленно беседовал с Германом, но раздраженное состояние духа философа позволяло ему ловить лишь отдельные слова, без всякой связи и значения. Но скоро и этот

разговор прекратился, когда широкая, обсаженная плохо привившимися деревцами дорога, по которой они шли, превратилась в узкую тропинку среди голых камней, где путникам пришлось идти один за другим, причем Валентин шел посередине, а ученик его Герман за ним.

Скоро тропинка кончилась, и путники наши очутились на обширном каменистом поле, казавшемся особенно мрачным и тоскливым из-за повисшей прямо над ним тяжелой свинцовой тучи.

Путники остановились.

Отшельник указал философу на черневшую вдали кучу деревьев и сказал:

— Вот вилла Петрония. Стоит вам дойти до нее, и вы в полной безопасности от грозы и дождя. С нее начинается целый ряд загородных вилл, среди которых, вероятно, и твоя, философ. Да если и не поспеете дойти до своей, то, без сомнения, столь известного и уважаемого человека, как ты, философ, с удовольствием примут в любом доме.

— Да все такие же, как ты! — пробормотал философ, которого не могла не тронуть заботливость этого старика, пускай лицемера и скряги, не знавшая пределов.

— Услужливость твоя не знает пределов, — сказал он по правилам учтивости, как человек вежливый и воспитанный.

— Услуга за услугу! — скромно ответил старичок.

— Какую же мы тебе могли оказать услугу?

— Как какую?! — вдруг оживился тот. — Спаситель мой сказал, что, если кто примет странника, напоит жаждущего, накормит голодного, делает это не тому человеку, а Ему Самому и за это удостоится награды на небесах. Рассуди же, философ: как мне не благодарить вас! Вас, давших мне возможность получить награду незаслуженно, не за свое!

— Что за смесь лицемерия с добродушием! — поморщился философ и внезапно, в упор, чтобы смутить старика, кинул ему вопрос:

— Ну а плащ Германа ты ни во что не считаешь?

— Не знаю его стоимости. Цена жертвы твоего ученика может быть определена лишь Тем, Кому этот плащ передан через мои недостойные руки!

— Одно лишь могу сказать тебе, о, юноша, — обратился он к Герману, причем голос его как-то торжественно дрогнул, — что Господь наш Иисус Христос даст тебе взамен этого дорогого и роскошного плаща такой, перед сравнением с которым этот нельзя будет назвать даже тряпицею!

Юноша покорно, словно утвердительно, склонил голову. И опять досада взяла философа.

— А может быть, — полунасмешливо спросил он, — и мой белый и недорогой плащ будет переменен на другой, подороже, или, по крайней мере, украсится алою полосою по краям — отличием, желательным для каждого гордого римлянина?

— Ты угадал, о, философ! — по-прежнему до торжественности серьезно ответил старец. — Именно пурпурная полоса украсит твою тогу!

Грянувший в это время гром словно хотел подтвердить справедливость его слов.

Это возвратило собеседников к действительности.

— Идите с Богом скорее, гроза надвигается! — сказал старичок. — Мир вам!

И он, почтительно поклонившись философу и несколько раз с улыбкой кивнув его ученику, повернулся и не пошел, а, скорее, побежал назад.

Философ и ученик ускорили шаги. Герман несколько раз оглянулся и раз даже приостановился, когда старичок вдруг исчез из виду. Но вот он снова появился на каком-то бугорке, кивнул Герману со своей обычной доброй и ласковой улыбкой, которая только почувствовалась, ибо видеть ее уже было нельзя за наступившей темнотой и дальностью расстояния, и исчез уже совершенно. Юноша же догнал философа и рассказал ему, в чем суть дела, связанного с его плащом.

Остальное время они шли молча. Философу было как-то не по себе: не то стыдно, не то грустно, не то больно; досадно было, что день даром пропал; брало зло на то, что отшельник простыми и кроткими словами ставил в тупик его, ученого человека, и рассыпал в прах всю его мудрость; неловко было за вызванные вспышкой гнева неуместные слова; боязно было, как бы «старая лисица» (как теперь он называл про себя отшельника) не сманила к себе этого увлекающегося энтузиаста Германа. А тот все время думал о старичке, который теперь бежит там по дороге, беспокоясь о своем больном. Герману было жаль его, и он по-детски жарко молился, не зная сам кому, чтобы старичку удалось добежать до начала грозы, пока дождь не промочил до нитки его единственного ветхого хитона, в котором ему потом придется продрожать всю сырую, холодную, туманную ночь. Он больше чем в самом себе уверен был в том, что старичок ни за что не позволит себе снять с больного хотя бы один из прикрывавших его плащей.

Гроза все ближе и ближе… Тяжело дышать от накопившегося в воздухе электричества.

Задыхается, томится в этой атмосфере «город городов», властитель полумира, повелитель народов, великий, грозный, беспощадно суровый Рим…

И не может вздохнуть он полной грудью, грудью, закованною в железную броню, грудью — крепче и тверже покрывающего ее железа!

Рис. Ольги Бухтояровой

Глава IV

Когда путники миновали большой сад у виллы Петрония, к философу вернулось его обычное спокойное, ясное, немного равнодушное расположение духа: теперь не надо бояться грозы и дождя, не надо идти так быстро, что сердце колотится в груди, да и история с Германом не так уж страшна — надо только устроить так, чтобы лишить его возможности посещать логово старой христианской лисицы. Как это сделать — можно придумать на досуге, а теперь — за вкусный сытный ужин с прибавкою амфоры «фалернского».

«Да здравствует Гораций!» — и он, развеселившись до того, что сегодняшняя встреча показалась ему смешною случайностью, о которой он еще смешнее расскажет за ужином своим ученикам и лучшему другу Виктору, стал подсмеиваться над предсказаниями отшельника.

— Итак, моя скромная тога в скором времени изукрасится пурпуром! Неожиданное счастие!

Жду с нетерпением. Лишь скоро ли? Как ты думаешь, молодой мой друг?

— Не знаю, учитель! — протянул Герман.

Из этого, словно нехотя данного ответа, философ совершенно верно заключил, что ученику его совсем не весело и что мысли его гуляют где-то далеко-далеко…

И он захотел развеселить его.

— А тебя, вероятно, проконсулом сделают! — начал он. — Да еще вдобавок дадут лучшую провинцию…

— Ах! Послали бы меня в такую страну, где живет побольше, как можно больше таких людей, как наш нынешний старичок, — мечтательно отозвался юноша.

— Да нет такой страны, мой друг.

— Есть!

— Нет!

— Есть, — еще с большим убеждением ответил горячий юноша.

Пробежавший ветер качнул верхушкою одиноко стоящего кипариса, и тот, словно кивнув головою, будто подтвердил: да, есть!

— Допустим, что есть, — продолжал философ. — Этого я не стану отрицать, но могу во всяком случае утверждать, что ее нет в пределах великой римской империи. Следовательно, если и есть где-либо на земле такая страна, ты все-таки туда не попадешь!

Юноша грустно задумался.

Новый порыв ветра, более сильный и даже бурный, закачал ветвями придорожных деревьев, и те словно зашептали как-то ласково-успокоительно: «Попадешь, попадешь, попадешь!»

Как часто, однако, природа, которую мы называем мертвою и, в крайнем случае, — равнодушною, влияет на наше измученное, больное и истомленное сердце и ласковее, и целительнее, нежели так называемые «милые» и «добрые» люди!

Упавшие прямо в лицо путникам редкие и резкие холодные капли, предвестницы сейчас начинающегося дождя, заставили их снова ускорить шаги, и они через несколько минут были уже у ворот виллы Валентина.

В библиотеке философа, куда они прямо прошли, они нашли шестерых его учеников и гостя, сенатора Виктора, напрасно ждавших их целый день. После первых приветствий все набросились на пришедших с вопросами, что случилось с ними, куда они запропали.

— Погодите, погодите, — посмеивался старый философ. — За ужином будет отличная приправа к фазану в виде моего рассказа о сегодняшнем. Помолчи, пожалуйста, пока, Герман, о сегодняшнем нашем приключении.

Тут он хлопнул в ладоши и спросил вошедшего на этот знак дворецкого, скоро ли готов будет ужин, и, услышав, что не ранее, как через час, вздохнул и сказал:

— Что же делать! Почитаем пока что-нибудь.

Он опустился в кресло, стоявшее около кресла, в котором сидел его друг Виктор. Пятеро учеников поместились по-прежнему за столом; шестой, у которого был в руке пергаментный свиток, сел несколько поодаль, около стоявшего на полу высокого медного подсвечника. Герман, не желая тревожить ни сидящих за столом товарищей, ни чтеца, уселся прямо на полу против философа, подпер обеими руками правое колено, положил на него голову и приготовился слушать…

— Что вы тут до меня читали? — спросил Валентин, когда все уселись на места и воцарилась полная тишина.

Чтец хотел ответить, но тут вмешался Виктор:

— Это написанная на греческом языке жизнь Учителя христиан, Иисуса Христа. История эта, или, как они называют, Благовествование, написана одним из ближайших учеников Христа Лукою и прислана мне сегодня в одним другом из Никомидии, а я принес ее почитать твоим ученикам. Надеюсь, в этом ничего дурного нет. Хотя ты и не сочувствуешь христианам, но не сам ли и не раз говорил, что настоящему философу, жаждущему и ищущему истины, необходимо ознакомление со всем…

— Я ничего не имею, достоуважаемый Виктор, против того, что ты принес сюда этот свиток! Только думаю, чтобы, например, самому чтецу было бы несравненно полезнее ознакомиться с языком прекрасной Эллады по великим писателям Греции. Почему бы нам не почитать лирических поэтов Пиндара[54] или Анакреонта[55], если Гомер[56] или Демосфен[57] кажутся молодежи тяжелыми перед ужином…

— Нет, нет! — в один голос закричали ученики, к которым присоединился и Герман.

— Да немного и осталось, — каким-то умоляющим голосом сказал один из учеников. — Посмотри, сколько мы уже прочитали.

И он показал три свитка.

— И вот сколько осталось! — добавил чтец, развертывая конец четвертого свитка, который он держал в руках. По сравнению с прочитанным оставалась действительно очень небольшая часть…

— Ну читайте, что хотите, — с видом великодушного снисхождения сказал философ, хотя на самом деле ему было решительно все равно.

Теплая светлая комната, свитки любимых писателей, юные возбужденные лица, предстоящий ужин с обильным возлиянием, — все это настраивало его на самый мирный и доброжелательный лад.

— На чем мы остановились? — спросил чтец.

— На том, как шли два путника… — воскликнул быстро, точно кто его перебить хотел, и вскакивая из-за стола самый юный из учеников философа Феликс, мальчик с лицом оливкового цвета и с подвижностью и быстротою белки…

— И здесь два путника! — вполголоса пробормотал философ в адрес Германа и даже подмигнул ему: «Послушаем, мол, что это за два путника, не вроде ли нас с тобой!»

Герман кивнул ему головою. «Ах, как должно быть интересно, несомненно интересно», — так вся и говорила заранее восхищенная его физиономия…

«В тот же день, — начал чтец, — двое из них шли в селение…»[58]

Чтец был самый старый ученик Валентина, вольноотпущенник Север, два года тому назад всего отпущенный своим хозяином, которому он спас жизнь, убив бросившуюся на того бешеную собаку, и тотчас же принявшийся за свое образование. Но годы брали свое: при всей его настойчивости и терпении, не говоря уже о трудах, науки ему давались туго.

Плохо знал он и греческий язык, и если ему теперь дали греческий свиток, то лишь потому, что ходили упорные и настойчивые слухи, что Север — тайный христианин, и надеялись получить от него разъяснения на случай неясности, которая могла встретиться в рукописи.

Это было напрасно: все там было так просто, так ясно, что не понял бы только тот, кто упорно не хотел понять. Но зато медленное, словно торжественное чтение Севера, старавшегося отчеканить каждое слово, чтобы не исказить как-нибудь его смысл, было в действительности полезнее быстрого чтения самого лучшего знатока греческого языка. Словно резцом врезалось оно в душу и сердце каждого слушателя великого слова Святой Богодухновенной книги!..

— «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им»[59], — читал Север.

Герман посмотрел на философа широко раскрытыми глазами, словно не веря самому себе и своим ушам.

Философ ответил ему почти таким же взглядом.

Чтец продолжал:

— «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его»[60]

Северу показалось почему-то, что он или неясно, или ошибочно прочел это место, только он повторил его.

— Учитель, — вскакивая на ноги восторженно закричал Герман, — как же мы не узнали Его?!

Все замерли в изумлении, но еще более удивились, когда поднялся сам философ, жестом водворил молчание и сказал:

— У тебя, дорогой Герман, глаза были полуоткрыты… Я же был совершенно слеп… Теперь у нас обоих они открыты.

— Дорогие друзья! — продолжал он, обращаясь к остальным ученикам. — Нам нечего более искать истины, ибо она открыта вот в том святом свертке. Мы же с Германом можем подтвердить тем из вас, кто сомневается, что мы действительно видели Иисуса Христа в лице Его верного ученика, всеми словами и действиями которого руководил Он… И действительно, мы узнали Его — в преломлении хлеба.

И он, чуть не на каждом слове прерываемый восторженным Германом, рассказал гостю и ученикам нынешнюю встречу, закончив свой рассказ теми же евангельскими словами: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его».

— Аминь! — одновременно и восторженно воскликнули Север и Виктор…

Ужин, приготовленный на славу, не удался: блюда уносились едва тронутыми, а амфора с великолепным фалернским вином осталась совершенно неприкосновенной. Все были потрясены произошедшим, особенно сам хозяин Валентин, которому пришлось рассказать в трогательном виде то, чем он рассчитывали посмешить своих гостей за ужином. Сообщение философа о том, что он с завтрашнего же дня прекращает свои уроки, ибо ему самому прежде, нежели учить других, надо поучиться, также не могло не отразиться на расположении духа искренне любивших его участников ужина.

После ужина все ученики, боявшиеся, что о них станут беспокоиться домашние, ушли. Остался один Герман, отсутствие которого никому решительно не было заметно: у него даже и собаки не было.



И вот теперь они трое — Виктор, Герман и Валентин — сидят в той же библиотеке, с той только разницей, что свиток Евангелия находится в руках юноши, который сидит у светильника, где прежде сидел Север, и вслух читает Святую Рукопись, а друзья также в креслах поместились по сторонам его.

Пронеслась, прошумев, буря. Два раза начинался и прекращался ливень. Установилась хорошая, ясная погода, наступает рассвет, а они все не могут оторваться от своего занятия. Лицо сенатора величественно-спокойно, хотя видно, что ему стоит усилий сдерживаться; на щеку Валентина нет-нет да и выскочит непокорная слеза и покатится по щеке, которая словно поморщится от неприятного, непривычного для нее впечатления…

Металлически звонкий и чистый голос Германа скрывает в себе сдержанные рыдания. Он читает о вопиющей несправедливости со стороны Пилата, представителя того именно народа, который так гордится образцовой неподражаемой справедливостью своего законодательства.

Вдруг за дверью послышались грубые голоса, заглушавшие тихий и робкий голос домоправителя…

Дверь распахнулась, и вошел центурион с двумя воинами.

— Кто из вас сенатор Публий — Виктор-Квинт? — спросил он.

— Это я! — спокойно ответил Виктор, величественно вставая с кресла, как будто бы находился в сенате.

— Четыре дня тому назад, в самом сенате, в присутствии многих сенаторов ты произносил хулу на наших богов и говорил, что ты христианин.

— Да, я христианин, — так же спокойно и твердо ответил старый сенатор.



Рис. Маргариты Мальцевой

— Вот декрет, коим повелено немедленно же взять тебя под стражу, — сказал центурион, показывая какой-то пергамент.

Виктор даже и не взглянув на документ, лишавший его свободы, пожал руку философу, дружески кивнул его ученику и сам подошел к воинам.

— Ведите его! — коротко приказал центурион.

Виктора увели.

— Ты хозяин этой виллы? Философ Валентин? Да? — спросил центурион у философа.

Тот отвечал утвердительно.

— Ты тоже христианин?

На мгновение малодушие напало на философа, но, взглянув в ясные, чистые глаза своего ученика, в которых он прочел только: «Пострадаем за Него!» — он не менее твердо, чем и Виктор, ответил:

— Да!

— Возьмите и его, — скомандовал центурион двоим другим воинам, пришедшим на смену к тем, что только что конвоировал сенатора.

Увели и философа…

Центурион хотел было обратиться с таким же вопросом и к Герману, но тот встретил его суровый взгляд таким обезоруживающим кротким и вместе с тем твердым, ясным, открытым и спокойным взглядом, что центурион, ничего не спросив у него, прямо велел вести его туда же, куда только что повели сенатора и философа…

На дворе он улучил момент, чтобы крикнуть философу: «Жаль, что мы не успели еще раз прочитать про этих спутников!», — за что и получил сильный удар рукояткою меча в правый бок от одного из сопровождавших его воинов…

Крестный путь юноши начался ранее старцев, из которых философ, опять было подвергшийся приступу минутного малодушия, все-таки дал и себе, и товарищам по заключению слово «претерпеть до конца», и, если нужно, умереть за Распятого Сына Божия Господа Иисуса Христа, в Которого он теперь верил от всей глубины души… Которого исповедовал всем сердцем… К Которому стремился всем обновленным своим существом!

Аминь!

Журнал «Отдых христианина» Июнь-июль 1904 г.



Он воскресил к жизни

Рассказ Манефы Чокой

I

Уже два месяца жила в Иерусалиме, в доме своего дяди, состоявшего на службе в Иудее, прекрасная римлянка Октавия. За это время, благодаря ее поразительной красоте, о ней успели сложить целые легенды.

Из них достоверным было лишь то, что в доме своего дяди, богатого Луцилия Тулла, она была помолвлена за знатного юношу Виргиния.

Молодые люди страстно любили друг друга и томительно ожидали того счастливого дня, когда

они соединятся навсегда.

Но брак был отложен до возвращения их в Рим.

Медленно тянулись для юной Октавии долгие, знойные дни. Их сменяли душные Палестинские ночи. В эти ночи она не могла спать и с сильно бьющимся сердцем выходила на плоскую крышу прекрасного белого дома. Внизу благоухал пышный сад: нежные мирты[61], посеребренные лучами луны, чуть шелестели под дыханием легкого ветерка; мягкая зелень олив сливалась в одну сплошную кущу; нард[62] и алой наполняли воздух своим ароматом... А там, далеко, в лунных лучах, вырисовывались синие призраки гор и шли пустынные песчаные долины. Днем, при ярком свете солнца, было видно, как оттуда к воротам города подходили веселые пестрые караваны, как вокруг кипела жизнь, шумная, неустанная.

В часы же ночи горы, долины, городские стены и ряды молчаливых домов выглядели холодными и безжизненными.

Поражало то, что во все время пребывания Октавии в Иерусалиме ее мучило какое-то роковое предчувствие. Часто в бессонные ночи она побелевшими губами призывала богов, моля их отогнать от нее страшные видения. Но напрасны были молитвы — страх рос не по дням, а по часам и превращался в уверенность, что вот-вот должна наступить какая-то беда.

Для окружающих такое состояние девушки было тайной; никто не знал, что происходило в ее душе, и только мертвенно-бледные щеки да лихорадочно горящие глаза выдавали ее внутреннее волнение.

Однажды она возвращалась со своей обычной прогулки. Когда ее носилки уже свернули за угол по направлению к дому Луцилия Тулла, перед ней вдруг, как из-под земли, выросла какая-то незнакомая старуха и глухим голосом проговорила:

— Благородная красавица, я вижу над твоей головой черную тучу! Приготовься — сейчас грянет гром!

Сказав эти слова, старуха скрылась из глаз, а девушка пронзительно вскрикнула и закрыла лицо руками.

Испуганные рабы торопливо понесли носилки к дому Луцилия.

— Кто такая эта ужасная женщина? — шептала дрожащая Октавия.

— Это, госпожа, гадалка Руфь, — ответил ей один из рабов. — Ее знают все в Иерусалиме; она живет в бедной хижине на окраине города, куда стекаются толпами желающие узнать от нее свое будущее. Но успокойся, добрая госпожа, великие боги да умирят твое сердце!



II

Гадалка Руфь сказала правду: еще не догорел знойный день, претворив золото лучей в пурпур вечернего заката, как роковая весть сразила красавицу Октавию. Ее любовь и счастье, юный Виргиний, был ранен неизвестным злодеем, который, убегая, произнес имя Октавии. Без сомнения, здесь имела место ревность. Злодей, однако, скрылся, а бедный юноша остался лежать, истекая кровью у подножия зеленой смоковницы в саду Луцилия Тулла.

В таком состоянии его нашли рабы и, положив на носилки, отнесли в богатые, роскошно убранные покои. Никакие силы не могли уже поддержать угасающей жизни, и через несколько часов юноша скончался.

Как подкошенная былинка, упала Октавия на бездыханный труп дорогого для нее человека, покрывая его безумными поцелуями.

Черная туча низко опустилась над ее головою; роковой гром прогремел; глубокая ночь печали становилась все беспросветнее и страшнее. Родные боялись за рассудок убитой горем девушки. Почти бесчувственную, ее на руках отнесли на другую половину дома. Здесь ее окружили подругами, уверявшими, что Виргиний жив и находится только в глубоком обмороке.

— Успокойся, Октавия, — говорили они ей. — Ты снова будешь радоваться, опять вернутся светлые дни твоего прежнего счастья.

— Он умер, и я его больше никогда не увижу, — шептала, качая головой, девушка, и в глазах ее было такое безысходное отчаяние, что окружающим ее становилось страшно.

Шестьдесят дней прошло со времени этого страшного для Октавии события. Она решительно отказалась от мысли ехать в Рим и просила позволения остаться в доме дяди еще некоторое время.

Родные, горячо любившие ее, с радостью дали на это свое согласие. В Иерусалим приехала ее престарелая мать. Но напрасно благородная матрона употребляла все силы, чтобы утешить дочь. Ее старания оказались тщетными, — ничто не могло исцелить больной души прекрасной Октавии. Убитая горем, она просила только об одном: чтобы ее оставили в покое.

III

Дни проходили за днями, часы за часами, а Октавия все жила в Иерусалиме. Большую часть времени она проводила в саду, в тени густых смоковниц, на том месте, где погиб ее дорогой

Виргиний. Там она плела венки на небольшие изваяния домашних богов, с которыми никогда не расставалась, и вся отдавалась своим тоскливым воспоминаниям.

Однажды, когда она так сидела, погруженная в размышления, легкий шорох заставил ее возвратиться к действительности; она увидела позади себя молодую рабыню, стоявшую как будто в нерешительности.

— Что тебе, Эвредика? — кротко спросила Октавия.

— Дозволь мне, госпожа, сказать тебе несколько слов: я знаю человека, который может дать тебе утешение в твоей великой печали.

— Меня утешить бессильны даже сами боги, — тихо сказала девушка, — но, во всяком случае, кто такой этот человек, Эвредика, о котором ты говоришь?

— Благородная госпожа, это Иисус из Назарета, сын плотника Иосифа. Своими чудесами Он прославился по всей Палестине. Говорят, что одного Его слова или взгляда достаточно для того, чтобы неотразимо подействовать на человека.

— Поверь мне, милая Эвредика, что это все басни. Я не раз уже слышала об этом фокуснике из Назарета, и признаюсь, что не придала этому никакого значения. Да, наконец, почему ты мне говоришь именно о Нем? Что может быть общего между Ним и мною?!

— Ах, госпожа! — с жаром воскликнула Эвредика. — То, что я говорю, исходит прямо из моего сердца. Не припомню хорошо, сколько времени тому назад, я видела Его там… на пригорке, неподалеку от источника. Случайно проходя мимо и заметив большую толпу народа, я остановилась и приблизилась, желая узнать, в чем дело. На песчаном холме сидел Человек в белом хитоне с темно-русыми волосами и говорил к народу, а народ плакал, и многие целовали края Его одежды. О, великие боги, как хорошо говорил этот Человек. Ни до этого, ни после и уже никогда более я не слышала таких трогательных слов!

Эвредика вытерла набежавшие на глаза слезы.

— Да, госпожа!.. Я тогда же решила, что это необыкновенный Человек. Он смотрел так, как будто видел, что делается в сердце каждого из нас. Жаль, что я не настолько запомнила Его слова, чтобы их хорошо передать: знаю только, что была очень обрадована, когда Он сказал, что мы все равны и потому должны очень любить друг друга, и никто никого должен обижать. Помню, услышав это, я заплакала, как прочие окружавшие Его женщины. Потом Он стал говорить о едином Боге, Отце небесном, называл Себя Его Сыном и сказал, что кто в Него уверует и будет поступать так, как Он учил, тот будет вечно радоваться в Его Царстве.

При последних словах рабыни Октавия невольно вздрогнула, у нее промелькнула мысль: что, если бы Виргиний раньше знал этого Назорея и уверовал бы в Него. Может быть, тогда бы он остался в живых.

— Все, что ты мне рассказала, Эвредика, — заметила она, — весьма интересно. Во всяком случае, из твоих слов я ясно вижу, что Иисус Назорей, действительно, незаурядный Человек… Конечно, Он только добрый мечтатель, но, если ты еще что-нибудь о Нем узнаешь, я разрешаю тебе мне рассказывать и охотно буду тебя слушать.

IV

Между тем приближался праздник Иудейской Пасхи. В Иерусалиме господствовало

необыкновенное оживление. Народ отовсюду из окрестных мест стекался в этот город, и караваны один за другим приближались к городским воротам.

Октавия с любопытством следила, как постепенно вырисовывались на светлом фоне долины темные фигуры верблюдов и ослов, вздымающих своими ногами золотой песок.

В один из таких дней к ней подбежала Эвредика и взволнованным голосом проговорила:

— Госпожа, госпожа, хочешь видеть Его… Он здесь, недалеко от нас, едет на осле. За Ним бегут несметные толпы… Слышишь, кричат! О, я говорила, что Он не простой Человек.

Могучие клики, действительно, прорезали воздух и донеслись до слуха Октавии. Девушка не слушала уже слов рабыни. Подчиняясь какой-то необъяснимой силе и не помня себя, она схватила покрывало, выбежала на улицу и повернула за угол, прямо по тому направлению, откуда доносились крики.



Необычайное зрелище представилось ее взору, и она увидела массу еврейских детей, лица которых были озарены светлою радостью. В высоко поднятых руках их развевались свежие пальмовые ветки, и звонкие детские голоса оглашали улицы торжественным «Осанна».

Это «Осанна» разносилось далеко-далеко… Сзади его повторяли взрослые голоса, и оно могучим гулом перекатывалось из конца в конец.

И среди этого ликующего народа ехал на осле человек в белом хитоне с темно-русыми волосами. Задумчивые глаза Его были устремлены куда-то вдаль, и тихая грусть сквозила в чертах прекрасного лица.

Все новые и новые толпы увеличивали шествие. Женщины торопливо забегали вперед и постилали под ноги осла свои полосатые покрывала… Это было чудное зрелище. Торжествующие массы народа шли по направлению к храму, и во все время ни на минуту не умолкал ликующий клик: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!»

У Октавии словно выросли крылья и несли ее, помимо ее воли, сквозь густые толпы народа все

ближе и ближе к Этому Человеку. Ею овладело такое чувство, что между Им и ею протянулись какие-то чудные нити, все более и более с каждой минутой сокращающиеся.

Вот Он уже совсем близко к ней. Она вся подается вперед, к Нему навстречу. Из ее глаз исчезает все остальное. Она не видит уже ликующих лиц, не слышит громких криков. Один Он перед ней. Светлый, кроткий, неземной. Подчиняясь внезапному порыву, Октавия упала на колени и, простирая к Нему руки, крикнула:

— Я верую, верую… Ты не простой Человек… Ты Бог, сошедший на землю!



Кроткое лицо Иисуса повернулось к ней, и ясные глаза встретились с ее глазами. В этих глазах отражались такой внутренний свет и непонятная сила, что Октавия, закрыв лицо руками, с судорожными рыданиями упала на землю. Она не противилась, когда чьи-то руки подняли ее и бережно перенесли куда-то в сторону.

Очнулась она под тенью двух деревьев; рядом был источник ключевой воды, и какой-то добродушный старик обливал водой из ковша ее отяжелевшую голову.

С этого дня Октавия уверовала в Иисуса и внутри нее словно вспыхнул огонь, который, разгораясь все более и более, наполнял всю душу неизведанным дотоле теплом и светом. Тайну ее внезапного обращения не знал никто, кроме Эвредики. Между рабыней и ее госпожой образовалась крепкая связь на почве веры и любви к светлому Учителю.

V

То, что произошло после рассказанного случая, было еще более необычайно. Народ, несколько дней тому назад приветствовавший Иисуса, как Посланника небес, как Мессию-освободителя, теперь кричал:

— Распни Его… Распни Его!

Снова Иерусалим пришел в необыкновенное движение. Громадные толпы сновали по городу и собирались возле тех мест, куда под стражей приводили Иисуса. Теперь от всех этих лиц веяло смертным дыханием злобы. Октавия была как во сне. Она сердцем ясно ощутила уже все величие Иисуса и жестоко страдала, видя такое злобное к Нему отношение. В тот день, когда Учитель был отведен к Пилату, она отправилась к жене Понтия, с которой была хорошо знакома, надеясь узнать от нее что-нибудь о Назорее.

— О, милая, — сказала ей женщина. — Иисус Назорей терзает мою душу. Боги свидетели, что Он необыкновенный смертный и нет в Нем никакой вины! Сегодня ночью я видела удивительный сон и послала сказать мужу, чтобы он не делал никакого зла Этому Человеку, а то мы навлечем на себя кару неба. Он же умыл руки в перед народом, а дикая чернь закричала, что «кровь Его на них и на их детях». Я очень страдаю, что Пилат не защитил Иисуса. Он побоялся сделать это, так как ему угрожали гневом кесаря, ссылаясь на то, что Назорей называл себя Царем Иудейским. А теперь Его осудили.

— О, горе, горе! — и она с горечью поникла головой, закрывая лицо руками.

Мертвенно-бледная, под гнетом невыразимой тоски, возвращалась к себе домой юная Октавия. Печальное лицо Иисуса все время стояло перед ее глазами и не покидало ее ни на одну минуту. Разве она могла забыть Его? Ведь Он одним Своим взглядом исцелил ее полную горя и страданий душу, внезапно наполнив ее светом непонятной радости. Без слов, одним взглядом Он открыл для нее новый мир, не знакомый дотоле, присутствие которого она внятно ощутила своим трепещущим сердцем.

Ей ли было забыть Его. И что, Этот дивный, божественный Человек умрет?.. Это не укладывалось в ее юной головке, в ее трепетной душе… Он не должен… Он не может умереть, потому что если это случится, то вся жизнь будет одна беспросветная тьма и роковая ошибка.

* * *

Свершилась тайна искупления…

Умер позорною смертью на Кресте Тот, Кто воплотил в себе вечную истину, любовь и всепрощенье.

Вся природа содрогнулась перед таким неслыханным злодеянием: солнце, потускнев, померкло, и по земле разлилась глубокая темнота.

В оковах земной глубины, как могучие перебои потрясенного сердца, раздались глухие удары, и гневные очи быстрых молний прорезали грозный мрак небесного свода. Все, бывшие на Голгофе, в ужасе разбежались с криками:

— Воистину, Он был Сын Божий…

* * *

Лицо рабыни Эвредики носило отпечаток глубокого волнения, но в то же время светилось тихим светом невыразимой радости.

— Госпожа, — сказала она Октавии, — Иисус Назорей воскреснет в третий день, Он так сказал. Его ученики с нетерпением ждут этой минуты, и тогда для всего мира наступит радость новой жизни.

— Ты веришь этому, Эвредика?

— Верю, моя госпожа, иначе и быть не может!

— И я также верю, — тихо промолвила Октавия.

VI

Тихой, неслышной стопою отошел к закату грустный субботний день. Для Октавии эти недолгие часы были временем величайшего нравственного напряжения.

Казалось, решался весь смысл ее жизни и цель существования. Если Назорей воскреснет, значит все Его учение истинно, непреложно… Значит, смерти тогда нет, а смерть — только начало новой жизни для всех веровавших в Этого светлого Учителя. О, она умолит тогда воскресить и ее дорогого Виргиния, который также в Него уверует и будет Его верным последователем. Тогда между ними и этим чудным Иисусом установится крепкая, нераздельная связь, и каждый шаг в своей жизни они будут сверять с Его священной волей.

Наступила душная ночь. Долго лежала Октавия, не будучи в состоянии сомкнуть глаз. Наконец ее осенила какая-то мысль. Она быстро встала, оделась и неслышными шагами вышла на улицу. Она знала, что Иисус был похоронен в саду Иосифа Аримафейского, близ того места, где был распят, и она, не медля ни минуты, направилась туда. Ей хорошо было известно, что к гробу была приставлена стража и самый вход в пещеру был завален громадным камнем, чтобы ученики ночью не пришли и не украли тела Назорея, сказав потом, что Он воскрес. Октавия легко проникла в сад. Свежее дыхание листвы охватило ее и освежило горячую голову. Не замеченная никем, она скрылась за густыми кустами. Отсюда ей хорошо было видно пещеру и медленно двигающиеся фигуры воинов.

Долго сидела она, неподвижная, застывшая, не спуская воспаленного взора с заповедной пещеры. Ей хотелось упасть на землю и молиться Иисусу…

О чем, она сама не знала.

Усталость взяла свое, и Октавия тихо задремала. Ей снилось, что она носится в синем пространстве прохладного воздуха… — прозрачная, легкая, свободная. Светлые звезды горят над нею, внизу тихо спит земля. Но и звезды, и небо, и земля кажутся ей совсем другими, не такими, как она привыкла их видеть. И вдруг ее охватывает знакомое уже чувство теплоты и радости.

Это чувство растет, растет и превращается в огромное блаженство. Она видит ослепительный свет… слышит страшный гром… Это Он — Назорей… Она идет к Нему навстречу и тает в блеске яркого, незаходимого света.

* * *

Между тем воины, сторожившие пещеру, от страшного грома и ослепительного света попадали на землю и были как мертвые.

Чудное существо, все сотканное из эфира, спустилось с неба и отвалило камень от гробовой пещеры, из недр которой вышел Тот, Кто сказал: «Я есмь воскресение и жизнь». И почуяв Его воскресение, затрепетала вся природа, засмеялось солнце, раскрылись чашечки цветов. Земля, казалось, жаждала, чтобы Он осчастливил ее прикосновением Своих ног.

Октавия очнулась… Мимо того места, где лежала она, приникнувшая к земле, проходил Человек, от прекрасного лица Которого исходили лучи света. Октавия сразу поняла, что это был Иисус… Значит, сбылось — Он Воскрес! Не будучи в силах сдержать томящие ее рыдания, она бросилась к Нему.

Он кротко улыбался ясной и любящей улыбкой.

— Господи! — вскрикнула Октавия. — Ты велик и всемогущ. Воскреси и моего Виргиния. Он умер, не зная Тебя, но когда узнает, уверует!.. Ведь Ты — сама любовь!

Иисус положил ей на голову Свою руку и произнес:

— Царство Мое не от мира сего.

И, ощущая радость этого нового Царства, проникающую во все ее существо, Октавия низко склонилась к ногам Иисуса, а Он, светлый, как небесное видение, кротко удалился в тихом блеске первого утра Воскресения.



Сын Марии из Назарета

Рождественский рассказ Волгина

I

Праздничные дни кончились.

По улицам Иерусалима тянулись караваны богомольцев, во множестве стекавшихся сюда ежегодно на Пасху со всех концов Святой Земли и теперь возвращавшихся обратно.

На обширном дворе просторного хана[63], принадлежавшего Измаилу Бен-Озе родом из галилейского города Кавы, было шумно и многолюдно.

Здесь всегда останавливались паломники из Галилеи, предпочитавшие хан своего соотечественника всем другим ханам в Иерусалиме.

Теперь они собирались в обратный путь.

Мужчины седлали и вьючили своих ослов и мулов. Женщины или дремали, лежа на разостланных на земле циновках, или, сидя на них, разговаривали.

Среди молодежи обоего пола, группами расхаживавшей по двору и смежным с ним улицам, раздавались веселый смех и звуки цимбалов и тимпанов, которые они настраивали, собираясь музыкой и пением оживлять предстоявшее им утомительное путешествие.

В раскрытые ворота хана вошла уличная торговка, женщина лет тридцати, с красивым, но очень бледным лицом, на котором ясно были видны следы утомления. На руке у нее была корзина с плодами и небольшими хлебцами. Войдя, она пронзительно закричала:

— Финики, смоквы… Коврижки на меду!.. Кто хочет медовых коврижек?.. Берите, немного осталось. Финики, смоквы!..

Молодежь обступила ее.

Она поставила корзину на высокий помост, ведущий в одно из многочисленных помещений хана, и предоставила молодым девушкам выбирать плоды, а сама, отирая с лица пот концом головного покрывала, с любопытством осматривала паломников.

Ее внимание привлекла одна маленькая группа, состоявшая из старца преклонных лет, молодой женщины и Отрока лет десяти-двенадцати.

Старец спал на разостланном на земле плаще, облокотясь на нижнюю ступеньку лестницы хана.

Молодая женщина сидела рядом с каким-то рукодельем в руках.

А мальчик поблизости кормил белых ручных голубей Измаила Бен-Озы.

Продавщица фруктов, казалось, была сильно занята этой мирной семьей. Особенно долго ее внимательный взгляд останавливался на мальчике.

И немудрено было засмотреться на этого ребенка.

Это был совершеннейший образец детской красоты. Все движения его худощавого грациозного тела отличались величавой простотой и благородством.

Мягкие волосы вились крупными кольцами и, точно светлым ореолом, окружали овальное личико, освещенное такими чудными, ясными голубыми глазами, что продавщица плодов, казалось, не могла отвести от них восхищенного взора.

Вдруг мальчик подошел к женщине, работавшей на лестнице, и что-то сказал ей, а она взяла из рабочей корзинки кошелек и дала ему мелкую монету.

Отрок направился к продавщице, которая встретила его улыбкой и сказала:

— Если ты хочешь фиников или смокв, то ты опоздал. Посмотри, моя корзина пуста; они расхватали у меня все плоды.

— Мне нужен только хлебец для голубей, — отвечал мальчик, улыбаясь.

— Вот, выбирай, — предложила она ему корзину с оставшимися хлебами и, тихонько дотрагиваясь до его руки, спросила:

— Скажи мне, эта женщина там, на лестнице, Твоя Мать, и ее зовут Марией?

— Да, это Моя Мать, и ее зовут Марией, — отвечал Отрок.

— Откуда пришли вы?

— Из Назарета Галилейского.

— Так-так…

Женщина продала последние три хлеба подошедшей старухе, поспешно сдала сдачу и, вытряхнувши из корзины крошки, направилась к лестнице, на ступеньках которой сидела Мария из Назарета.

Продавщица фруктов остановилась в нескольких шагах от нее, как бы что обдумывая, а Мария, истолковавши Себе ее нерешительность желанием отдохнуть на помосте хана, приветливо сказала:

— Я вижу, что ты распродала весь свой товар. Вероятно, ты утомилась за день. Присядь и отдохни, здесь места много.

Женщина поблагодарила, села рядом и сказала:

— Тебя зовут Марией, а Твоему мальчику двенадцать лет и три месяца, не правда ли?

— Правда, но откуда ты знаешь это? — спросила удивленная Мария.

Женщина засмеялась, забавляясь ее недоумением.

— Ты так и не узнаешь меня?.. Видно, я сильно изменилась за это время. А Тебя я узнала с первого взгляда, Ты нимало не изменилась и выглядишь совсем молоденькой девушкой. Ведь Твой Сын родился в Вифлееме Иудейском? Забыла Ты разве дом старого Самуила и его служанку Руфь?..

— Ты Руфь! — воскликнула Мария с радостным изумлением. — Как же это я тебя не узнала?.. О, как ты была добра к нам в Вифлееме! Да благословит тебя Бог за твою доброту.

Мария бросила работу и горячо обняла Руфь; потом, обращаясь к старцу, который уже проснулся и прислушивался к их разговору, она прибавила:

— Знаешь ли ты, кто это? Помнишь ты Руфь из Вифлеема?

Старец улыбнулся.

— Как мне не помнить веселую Руфь из Вифлеема… Прежде, чем ты назвала ее, я ее узнал по говору. Она-таки не разучилась смеяться. В Вифлееме я ни разу не видел ее без улыбки на лице и без песни на устах. Ну, а благочестивый Самуил… Не знаешь ты, жив ли он?

Руфь покачала головой:

— Не знаю. Вот уже два года, как я не бывала в Вифлееме, и семь лет, как живу здесь с мужем моим.

— Самуил тоже был добр к нам, — продолжал старец. — Да пребудет над домом его благословение Господа, Бога отцов наших, если жив он, и да вселит Господь душу его в недрах Авраама, если уже освободился от земных забот дух его.

— Как же ты поживаешь? — обратилась Мария к Руфи. — Чем занимается муж твой? Счастлива ли ты?

Руфь отвечала:

— Муж мой служит у богатого Вениамина, владельца многих хлебопекарен в городе. Он зарабатывает достаточно, я помогаю ему, чем могу, и мы ни в чем не терпим нужды. Но все-таки я не могу назвать себя счастливой: из троих сыновей моих остался в живых один младший, да и он, боюсь я, скоро присоединится к братьям своим.

Молодая женщина глубоко вздохнула.

— Что же такое с ребенком? Чем болен он? — спросила Мария с участием.

— Ах, я и сама не знаю, что с ним такое. Он и родился слабеньким, а теперь слабеет все больше и больше. Его стоны надрывают мне сердце. Мальчику скоро год, а на вид ему не дать и трех месяцев. Он еле шевелит ручками, а ножки его висят, как плети, и не толще двух моих пальцев.

И молодая женщина, закрывши лицо концом покрывала, горько заплакала. Мария нежно обняла ее и старалась успокоить, говоря:

— Пробовала ли ты врачевать его?

Руфь безнадежно махнула рукой:

— Я все перепробовала. Обращалась и к врачам, и к волшебницам, и приносила умилостивительные жертвы, но, видно, Господу Богу не угодны молитвы мои и жертвы мои, а искусство врачей бессильно помочь ему.

Тут вмешался снова старец:

— Потерпи Господа, ибо не постыдятся уповающие на милость Его. Он посылает тебе испытание; перенеси его без ропота, и Господь обратит лицо Свое на терпение рабы Своей.

Руфь сказала, вздыхая:

— Знаю я, что грех роптать, но не по силам мне становится испытание. Знаю, что и зависть — великий грех, и все-таки завидую всем матерям, имеющим здоровых детей. Вот Ты какая счастливая, — обратилась она к Марии, — у Тебя такой чудный ребенок. Как желала бы я, чтобы это был мой сын. Да, я думаю, и каждая женщина была бы счастлива иметь его сыном. Мне тридцать пять лет, и я ни разу в жизни не встречала другого такого же прекрасного ребенка. Помнишь, как любила я убаюкивать его? Как мы вместе купали его и радовались?

Мария сделала отроку знак приблизиться и, вложивши его ручку в руку Руфи, сказала:

— Сын мой! Вот женщина, которая была добра к тебе, когда Ты был еще малюткой: она пела песни над колыбелью Твоей и убаюкивала Тебя своими песнями.

Руфь же обратилась к ней и спросила:

— Могу ли я поцеловать Его? Ведь я и не надеялась когда-нибудь увидеть Его.

Мария утвердительно кивнула головой, и молодая женщина нежно обняла Отрока и поцеловала Его в лоб.

А когда Он присоединился к группе детей, играющих с голубями, она задумчиво проводила,

Его глазами и, обращаясь к Марии и старцу, спросила:

— Замечаете ли вы, как солнце собирает лучи свои светлым венцом над головою вашего Сына? Я еще в Вифлееме говорила вам об этом.

Мария, опустивши глаза на свое рукоделье, не отвечала. Старец тоже молчал, глубоко задумавшись.

Но молодая женщина настойчиво повторила, взявши Марию за руку:

— Посмотри, как сияет лицо Его. Неужели Ты этого не видишь?

— Я вижу, что оно сияет красотой и чистотой юности, — сказала Мария, тревожно следя глазами за Отроком, так как в эту минуту в ворота вошел старый еврей с большой мохнатой собакой, и все дети, в том числе и Сын Ее, окружили собаку.

— Будь осторожен!.. — вскричала Мать Отроку.

Но видя, что собака положила Ему на плечи свои огромные лапы, Она бросила свою работу и поспешила к воротам.

Когда Она ушла, старик устремил свой задумчивый взгляд на Руфь и спросил ее:

— Так ты замечаешь, что солнце собирает лучи свои венцом над Его головой?

— А сам ты разве не замечаешь этого? — вместо ответа спросила Руфь.

— Я слыхал, — сказал старик, — что есть люди, обладающие способностью видеть то, чего не видят другие. Быть может, ты из числа таких.

Руфь уже взяла свою корзину и, кивая ему на прощанье головой, добродушно рассмеялась:

— Не знаю, может быть. Вот когда я смотрю на тебя, то вижу то же, что видят, вероятно, и все: что ты добрый и очень, очень старый. Сколько тебе лет, дедушка?

— Много, много, — отвечал старик. — Я и счет потерял летам моим.

Простившись с ним, Руфь подошла к Марии с прощальным приветом к ней и прекрасному Отроку Иисусу, а затем вышла из ворот хана.



II

Руфь быстро шла по шумным улицам города, и лицо ее светилось улыбкой. Какую-то странную отраду принесла душе ее встреча с Марией и Ее Сыном. Потому ли, что она очень любила красивых детей, а быть может, потому, что эта встреча напомнила ей беззаботную девичью жизнь в Вифлееме.

Но чем ближе подвигалась она к своему дому, тем печальнее становилось ее лицо, а сердце начинало тревожно замирать. Так бывало с ней всякий раз, когда ей случалось надолго уходить от больного ребенка.

Положим, она оставила его на попечении верной и преданной Сары, одинокой вдовы, которая жила с ними по соседству.

Руфь с мужем своим Ананиею помогали Саре и деньгами и съестными припасами. И благодарная женщина была привязана к ним, как к родным, и охотно заменяла Руфь у колыбели маленького Рувима, когда молодая женщина уходила по делам торговли.

На осторожный стук Руфи Сара открыла ей и сказала:

— Как ты сегодня запоздала, милая Руфь…

— Рувиму хуже? — тревожно спросила молодая женщина.

— Совсем нет, все по-прежнему.

— Я напоила ребенка молоком и уложила спать. Он только что успокоился, не тревожь его, — продолжала она, заметив, что мать направляется к колыбели.

Руфь махнула рукой, бесшумно опустилась перед колыбелькой на колени и, наклонясь к больному малютке, начала приговаривать, еле шевеля губами и придумывая разные нежные названия.

Скоро эти причитания перешли в горький плач.

Тогда Сара взяла ее за плечи и заставила, встать.

— Перестань, Руфь! Не изводи ты себя. Посмотри, на что ты стала похожа. Ты состарилась на десять лет за этот год. Твои щеки впали, глаза начинают гаснуть. Пожалей хоть несчастного Ананию. Ведь он крепится только при тебе, а без тебя горько жалуется. Ты прямо бьешь и себя, и его. Боже Израиля! Вразуми эту женщину.

Руфь отерла слезы и постаралась улыбнуться. У нее был прекрасный веселый характер, и даже горе не могло совсем изгнать ее смех из их печального жилища.

— Иди, закуси, — звала ее Сара. — Ты должна беречь силы для него же, для твоего Рувима.

— Не ворчи, я буду есть все, что ты ни дашь мне и расскажу тебе кое-что очень приятное, — сказала Руфь. — Если бы ты знала, какого прекрасного Отрока видела я сегодня.

Сара неодобрительно покачала головой.

— Мало ли красивых детей в Иерусалиме. Я бы не советовала тебе засматриваться на них, чтобы не расстраиваться.

— Нет-нет, встреча эта была так приятна для меня. Этот мальчик не совсем чужой мне. Говорила ли я тебе когда-нибудь, что в девушках жила в услужении в Вифлееме у богатого Самуила, поставщика дорогих вин для стола царского?

— Да, ты не раз говорила мне о своей жизни в молодости в Вифлееме.

— Так вот; это было двенадцать лет тому назад. Да, с лишком двенадцать. В тот год, когда чужеземный властелин приказал сделать перепись всех народов, страны которых он подчинил своей власти. Помнишь ты этот год, Сара?

— Как не помнить. Это был тяжелый год для детей Израиля. Моей старшей дочери пришлось сотни верст тащиться из-за этой переписи. Она тогда заболела от переутомления.

— Да, — продолжала Руфь, — и в Вифлеем по этому случаю стеклось столько всякого люда, что не только гостиница, а и дома частных владельцев были переполнены. В доме моего хозяина остановились несколько семей. Я тогда совсем сбилась с ног, столько было хлопот. Да и старому Самуилу досталось. Положим, что у нас поместились все его хорошие знакомые, люди богатые, которые щедро наградили его за постой и деньгами и подарками; на мою долю тоже кое-что перепало. Но мы не рады были и наживе, и когда все разъехались, вздохнули с облегчением. Помню, я только что привела весь дом в порядок, и мы с хозяином сели за вечернюю трапезу, как кто-то постучал в нашу дверь. Дом Самуила стоял на краю города, почти последним. Было уже поздно. И очень холодно, так как весь день дул северный ветер и нагнал такой стужи, что не хотелось выглядывать на улицу. Я открыла дверь, и в горницу вошел незнакомый старик, весь иззябший и сильно озабоченный. Он приветствовал меня и моего старого хозяина и умолял приютить на несколько дней его с женой и только что родившимся сыном. Они прибыли в Вифлеем тоже по случаю переписи и, не найдя себе приюта ни в домах, ни в хане, принуждены были поместиться в пастушьей пещере за городом. И вот в этой пещере жена его минувшей ночью разрешилась от бремени сыном. А теперь и мать, и малютка сильно терпели от холода. Так говорил старик. И я видела, что мой хозяин, который был рад, что все гости разъехались, откажет ему в приюте. Но разве могла я спокойно оставаться в тепле, зная, что новорожденный малютка дрожит от холода в сырой пещере! Я стала умолять хозяина принять пришельцев в дом наш. Старик, хоть и поморщился, однако сказал: «Как хочешь, Ведь тебе придется хлопотать с ними, а не мне. Пусть приходят. Я и пальцем не пошевелю для них. Я устал». И вот мы пошли со старцем; я забыла, как звали его; он показал мне, где именно они поместились. Я далеко опередила его и первая прибежала в

пещеру. О, как там было мрачно и холодно! Молодая мать сидела на соломе, склоняясь над яслями. А в яслях лежал новорожденный Младенец. Ах, Сара, какой это был прелестный ребенок. И он заплакал, когда я вошла, быть может, обеспокоенный холодной струей ветра, ворвавшегося за мной в открытый затвор. Сердце мое затрепетало от жалости, когда я склонилась над яслями. И мне тогда же показалось, что Он весь как бы светится, Сара. Я подумала, что это отблеск двух фонарей, которые они взяли у пастухов и повесили около яслей, чтобы было светлее. Но я и потом видела этот свет вокруг Его колыбельки.

Руфь на минуту замолкла и задумалась.

Потом продолжала:

— В эту минуту вошел и старик... Как это я позабыла, как звали его? Он весело сказал жене: «Я нашел теплый приют, за который нужно благодарить вот эту добрую девушку. Собирайся». Он оседлал осла, и мы усадили на него молодую мать с младенцем. Так-то вот и поселились они у нас и жили несколько дней. Это были какие-то удивительные люди, Сара. Старик прислуживал молодой женщине с таким почтением, как будто бы это была не жена его, а Царица, а он ее последний раб. Да, это были, поистине, удивительные люди. Кажется, никто не мог бы поступить с ними грубо. Мой хозяин был не из приветливых, однако он уступил самую удобную горницу дома для Матери с Младенцем. Она была хороша, как ангел Божий. И так молода!.. Я была тоже очень молода тогда, но Она казалась моей младшей сестрой. А Младенца Ее я полюбила, как родного, и все свободное время проводила у Его колыбели. Потом они ушли от нас неизвестно куда. Однажды ночью старик разбудил нас и сказал, что они должны покинуть наш гостеприимный кров. Мы не могли от него ничего добиться, он твердил, что так нужно, и казался сильно озабоченным. Его молодая жена повиновалась беспрекословно, и они ушли. Мой хозяин говорил потом, что старик этот имел пророческий дар. Потому что, видишь ли, Сара, ведь в год переписи и скоро после нее демоны овладели душой нечестивого Ирода, и он приказал избить всех младенцев в Вифлееме и около него. Помнишь ты это, Сара?

— Ох, помню я это страшное дело, — качая головой, сказала старая Сара. — Об этом долго говорили в Иерусалиме.

— Ты только слышала об этом, а я это пережила, — продолжала Руфь вздрагивая.

— Все это было у меня на глазах. И мне часто снились потом ручьи младенческой крови, текущие по улицам нашего города. А старик успел вовремя увезти своего Младенца, потому-то мой хозяин и думал, что в нем был пророческий дух. Впрочем, может быть, их известил кто-нибудь. Самуил рассказывал, что однажды вечером, когда он посылал меня по делам в Иерусалим, проходили какие-то знатные чужестранцы. Они будто бы преклонились перед Матерью и Младенцем, как перед особами царского рода, и одарили их богатыми подарками. Мой хозяин думал, что и наши гости были знатного рода, только почему-то не захотели себя явить.

— А где же ты видела, их сегодня? — спросила Сара.

Руфь отвечала:

— Я встретилась с ними во дворе гостиницы Измаила Бен-Озы. Они были там с караваном паломников из Галилеи.

— Ну какие же это знатные люди, если они пристают у Бен-Озы, — усомнилась старуха. — Хан Измаила не из важных в городе.

— Но ведь это Самуил думал, что они из знатного рода, — возразила Руфь. — На самом деле они простые, небогатые люди, хотя, очевидно, они не нуждаются. Кайма на одежде Отрока богато вышита разноцветными шелками, я думаю, это работа его Матери. Приятно наряжать здорового, красивого ребенка, а краше маленького Иисуса я никого из детей не встречала.

В это время ребенок, лежавший в колыбели, слабо пискнул. Руфь бросилась к нему, взяла из колыбели и начала кормить.

— Ах, Сара, — печально сказала она, обращаясь к старухе, — мне кажется, что малютка становится с каждым днем хуже. Посмотри, как он слабо тянет молоко. Или силы нет в его губках, или аппетит совсем пропал, но он еле дотрагивается до груди. Какая уж тут надежда на выздоровление… Мне кажется, он не протянет и более месяца.

Молодая женщина опустила голову, и слезы крупными каплями потекли по ее исхудалому лицу.

— Подожди, Руфь, — сказала Сара. — Совсем плоха стала у меня память, чуть было не забыла передать тебе: без тебя здесь был старик Елеазар, тот, что делает метлы, знаешь?

— Подала ли ты ему что-нибудь? — обеспокоилась молодая женщина. — Я всегда…

— Не тревожься, — перебила Сара, — я вполне удовлетворила его, он был очень доволен. Старик очень жалел вас и велел мне передать тебе, что при храме живет престарелый левит[64] Аведдар, который в молодости слыл искусным врачом. Елеазар не уверен, что он и теперь продолжает врачевать, но все-таки он тебе советует показать ребенка левиту. Быть может, Аведдар и даст тебе полезный совет. Тем более, что, по словам Елеазара, этот старец — праведной жизни и близок к Богу.

Руфь оживилась.

— Я непременно схожу к нему с Рувимом. Быть может, Сам Господь посылает нам указание. Завтра же я и отправлюсь в храм.

— Сходи, сходи, — одобрила Сара.

— Ну, а как с торговлей? Не пойдешь ты с товаром на этих днях?

— Нет-нет, я устала за неделю. Да ведь и нужды никакой нет в этом. Ведь ты знаешь, я хожу не ради прибытка. Веришь ли, мне иногда бывает необходимо уйти на несколько часов из дома, потому что слишком тяжело мне видеть, как страдает малютка. В душе поднимается ропот на Бога. Я придумала эту разноску, чтобы иметь какое-нибудь развлечение.

— И хорошо сделала. Избави Бог дойти до ропота, — сказала Сара. — Сходи к левиту, быть может, он даст тебе совет. А я схожу проведать племянницу; давно я ее не видела. Если соберешься в храм, прошу тебя, купи мне немного ладана.

Руфь обещала, и женщины попрощались.

Немного погодя возвратился муж Руфи, Анания.

Он был весел и говорил, что хозяин обещает ему денежную награду за расторопность и ловкость, благодаря которым за время праздников они очень хорошо торговали.

— Я тоже очень хорошо торговала эту неделю, — сказала молодая женщина и, помолчавши немного, печально прибавила:

— Что касается прибытков, у нас во всем удача, но лучше было бы меньше прибытков, лишь бы ребенок поокреп хоть немножко. Но он слабеет с каждым днем, и не радуют меня наши удачи.

Она закрыла лицо руками и горько заплакала.

Муж старался утешить ее.

— Не плачь, Руфь. Бог услышит молитву нашу, ребенок поправится. Мои друзья говорят, что с возрастом пройдет его немощь. И я тоже так думаю.

Руфь махнула рукой.

— С возрастом!.. Малютка еле дышит, а вы все толкуете о возрасте.

III

На другой день молодой женщине не удалось сходить в храм. Неотложные дела по хозяйству задержали ее. Но на следующий день она бросила все, взяла ребенка и отправилась туда около полудня.

Дорогой она раздумывала о том, что если левит и не подаст ей врачебной помощи, то, быть может, умолит за нее Бога… Ведь Сара говорила, что этот старец святой жизни и близок к Богу. С такими мыслями она вошла во двор храма и среди бесчисленных пристроек с трудом нашла жилище левита.

Но, увы, ее ожидала здесь неудача. Ей сказали, что престарелый Аведдар три дня тому назад уехал к сыну в Иерихон и едва ли вернется раньше, как через месяц.

— Побывай через месяц, быть может, он и даст тебе полезный совет, — прибавила молодая женщина, родственница Аведдара.

Руфь сильно огорчилась и подумала про себя: «Еще проживет ли до того времени ребенок, он слабеет с каждым днем. Видно, Богу угодно до конца испытывать меня и отнять у меня мою последнюю отраду».

Однако, благочестивая женщина зашла в храм, положила посильную лепту в сокровищное хранилище и, изливши печаль свою пред Господом, решила идти домой, как вдруг вспомнила, что она должна еще купить ладану по поручению Сары. Нужно было пройти в палату покупок, где всегда было большое стечение народа.

Ребенок, как нарочно, сегодня особенно сильно стонал и беспокоился, а самолюбие бедной матери страдало, когда к ней обращались посторонние люди с расспросами и бесполезными сожалениями.

Хорошо было бы встретить кого-нибудь из знакомых и попросить подержать малютку или поручить сделать покупку. Но кругом никого не было.

Руфь прошла галерею и вдруг на площадке каменной лестницы, ведущей в одну из палат, назначенных для учения, она увидала Отрока Иисуса из Назарета.

Облокотившись на перила лестницы, Он так углубился в рассматривание какой-то надписи на

одном из столбов галереи, что не заметил, как она подошла.

— Сын Марии! — вскричала удивленная и обрадованная Руфь. — Вот уж кого не ожидала встретить сегодня… Разве Твои родители отложили свой отъезд из Иерусалима?

Отрок оглянулся, узнал Руфь и улыбнулся ей, оставив ее вопрос без ответа, а она озабоченно продолжала:

— Дитя мое! Если бы Ты исполнил мою маленькую просьбу, Ты бы избавил меня от большого затруднения.

Иисус ответил:

— Я охотно исполню твою просьбу, что нужно мне делать?

Руфь сказала:

— Прошу Тебя, сядь здесь на лестнице и подержи моего ребенка, пока я схожу купить ладану.

Отрок послушно сел на верхнюю ступень лестницы и взял малютку, но так боязливо, неловко и неудобно, что Руфь засмеялась:

— Вот и видно, что Ты единственный сын у матери, и Тебе никогда не приходится нянчиться с братьями…

Она поправила у него на руках ребенка.

— Вот так, держи его смелее, не бойся, он не тяжел и с каждым днем делается легче и легче, бедняжка. Не обращай внимания на его стоны и плач. Он всегда клохчет, мой несчастный маленький Рувим. Я не задержу Тебя и сейчас вернусь.

Сказавши это, Руфь скрылась за поворотом галереи.

На площадке царило безмолвие. Никого не было здесь, кроме маленького Иисуса на ступеньках лестницы и крошечного Рувима в его объятиях.

Отроку в первый раз в жизни пришлось держать на руках маленького ребенка. Он сидел, затаив дыхание, боясь пошевелиться, из опасения обеспокоить малютку.

Ребенок, громко плакавший сначала, скоро замолчал и лежал так тихо, что Отрок Иисус забеспокоился, как бы он не задохся.

Осторожно двумя пальцами Он откинул с головы его покрывало и увидел крошечное, сморщенное, желтое личико ребенка. Маленький ротик был искажен такой страдальческой гримасой, что сердце отрока задрожало от сострадания.

Он нежно прижал к Себе хрупкое тельце и сидел, не отрывая взора от маленькой головки больного.

Вдруг глаза малютки широко раскрылись, и его тусклый взгляд болящего сущесива встретился с сияющими, как звезды, глазами Иисуса.

И так смотрели они несколько секунд друг другу в глаза. Затем слабые веки ребенка медленно опустились, и он, казалось, крепко уснул.

В эту минуту возвратилась Руфь.

— Ну, что?.. Не очень надоел он Тебе своим писком?

— Нет, он все время лежал спокойно.


«Отрок Иисус». Фото из архива прот. Григория Пономарева (1914-1995 гг.)

— Вот удивительно-то, — сказала молодая женщина, усаживаясь на лестнице рядом с Отроком. — Видно, у Тебя рука легкая. Дай Бог, чтобы с Твоей легкой руки он вперед поменьше стонал.

Она осторожно взяла на руки своего больного ребенка и продолжала с улыбкой:

— Как я Тебе благодарна, мой милый. Когда-то я часто держала Тебя на руках, а вот и Тебе привелось подержать моего малютку. Вот мы и поквитались. Твоя Мать не в храме ли?

— Нет, ее нет здесь.

— Значит, Ты здесь с отцом Твоим?

Иисус посмотрел ей в глаза и сказал серьезно:

— Да, Я здесь с Отцом Моим.

— Ну так приветствуй от меня старика и Марию и скажи им, что я буду счастлива, если на будущий год они посетят дом мой.

— Удивительно, как крепко спит мой мальчик, — прибавила она, прислушиваясь к дыханию сына. — Нужно идти, пока он снова не раскричался. Прощай, дитя мое!.. Да благословит тебя

Бог!

— Да благословит Бог твоего ребенка, — сказал с нежностью отрок.

— Аминь, — благоговейно произнесла женщина и легко спустилась по лестнице во двор.

Дойдя до угла, она обернулась.

Иисус стоял у перил и задумчиво смотрел на шумные улицы города.

И опять показалось ей, что солнце Иерусалима собирает лучи свои блестящим венцом вокруг прекрасной головы Отрока.

IV

Прошло два дня.

Казалось, все было по-старому в доме Руфи.

Рано утром Анания уходил на службу, приходил в полдень перекусить и не возвращался до вечера.

Приходя, он рассказывал, что дела хозяина все расширяются, что он очень доволен им, Ананией, и на днях хочет дать ему обещанную за праздничные хлопоты награду. Но Руфь была молчалива и очень задумчива. По ночам она по нескольку раз вставала, наклонялась над колыбелью маленького Рувима и прислушивалась с каким-то странным удивлением к его дыханию.

Мальчик спал крепко и дышал глубоко и ровно.

А однажды ей показалось, что он во сне улыбается.

Руфь оглянулась.

На столе стоял ночник, светильня которого сильно нагорела, и пламя колебалось. Может быть, от этого колебания ложились на лицо ребенка дрожащие тени, и ей показалось, что он улыбается?.. А поднести огонь ближе к колыбельке она не решалась, боясь его обеспокоить.

Утром второго дня Руфь сказала мужу:

— Замечаешь ли ты, что малютка меньше плачет?

— А разве он меньше плачет? — спросил Анания, который крепко спал свои ночи после трудовых дней и едва ли когда слышал плач ребенка.

— Неужели ты этого не замечаешь? — спросила с неудовольствием молодая женщина.

— Ну, что ж, слава Богу, что он меньше плачет. Это хороший признак, он поправится.

Анания ушел, Руфь принялась за свои обычные хлопоты. Малютка спал.

Вдруг Руфь вздрогнула. Из колыбели послышался громкий плач. Это был не прежний скорбный плач Рувима. Это был капризный голос проголодавшегося существа, требующего пищи. С минуту Руфь стояла, как окаменелая, затем она бросилась к колыбели, схватила ребенка и

приложила его к груди.

Мальчик замолк и зачмокал, крепко захвативши сосок жадными губками. А мать безмолвно смотрела на него, вся дрожа от радости, смешанной с изумлением.

Когда малютка насытился, ей показалось, что он потягивается всеми членами под своими пеленками.

Руфь схватила подушку, бросила ее на стол и, положивши ребенка на подушку, распеленала его. Распеленала и с громким восторженным криком упала перед столом на колени и приникла к крошечным ножкам мальчика. Рувим сучил ножками, как это делают все здоровые дети, а два дня тому назад эти ножки были неподвижны. Затем он поймал одну ножку рукой и потянул ее в рот, пуская пузыри. А мать, смеясь и плача от радости, осыпала его поцелуями.

В эту минуту вошел Анания.

— Посмотри, посмотри, ребенку лучше! Посмотри, что он выделывает ножками, — кричала мать в каком-то исступлении ликования.

Анания, склонившись над сыном, сложил набожно руки и воскликнул:

— Ему лучше! Это очевидно. Да будет препрославлено имя Господа, Бога отцов наших! Слава и хвала!

И вдруг, обращаясь к жене, он прибавил довольно:

— Не говорил ли я тебе, и мои друзья тоже, что с возрастом он поправится.

Губы молодой женщины дрогнули презрительной улыбкой.

— Вот что, — сказала она. — Я знаю, что ты голоден, но не буду хлопотать об обеде. Иди скорей и позови Сару. Мне необходимо сейчас ее видеть. Она так любит малютку. Мне хочется поделиться с ней моей радостью. Кстати, она и накормит тебя, а я ничем не хочу сегодня заниматься, кроме ребенка.

Анания ушел.

Мальчик начал дремать. Мать запеленала его послабее, но не положила в колыбель, а взяла на руки и вышла посидеть на солнце у дома.

Казалось, она не могла оставаться ни минуты дома одна и с нетерпением поджидала Сару.

«Как глуп мой Анания, — думала молодая женщина. — “С возрастом дитя поправится!..”. Два дня тому назад его ножки совсем не двигались, а сегодня он свободно поднимает их. Сколько же прибавилось ему возраста за эти два дня!..»

Молодая женщина сидела затихшая, в каком-то благоговейном созерцании, следя за игрой солнечных лучей на белой стене противоположного здания. Перед ее умственным взором вставала чудная картина.

Она идет по двору храма Иерусалимского и видит: на верхней ступеньке широкой лестницы храма сидит прекрасный Отрок и держит в объятиях ее больное дитя.

И в глазах Его, сияющих, как две голубые звезды, столько благости, как будто в них

сосредоточено милосердие всего мира.

Задумчивый взгляд Руфи углубляется в далекое прошлое и останавливается на Вифлееме, на колыбели, которую качает она, напевая нежные песни родины.

А солнце обливает колыбель своими золотыми лучами, как светоносным пологом.

Еще дальше углубляется взгляд Руфи в прошлое и останавливается на холодной пещере, на яслях, в которых, точно звезда, упавшая с неба, сияя младенческой красотой, возлежит на соломе Прекраснейший из сынов человеческих…

Волгина
журнал «Отдых Христианина» № 12, 1916 г.



Явление Христа1

О. Агренева-Славянская

[1]*Испанская легенда времен инквизиции; записана мною в Сантьяго-де-Компостела во время посещения в 1895 г. собора св. Иакова, покровителя Испании, со слов посетителей, подтвержденных одним из служителей этого храма.*

От автора

I

Весна одела новой роскошной листвой великолепный сад древнего дворца в Толедо[65].

Широколиственные чинары далеко простирали свои зеленые ветви, как бы маня под сень свою мечтательного испанца и утомленного, согнувшегося под лучами палящего солнца, иностранца.

Душистые азалии разливали вокруг нежный аромат, врывающийся в открытые окна окрестных палаццо и замков.

Стыдливая мимоза тихо склоняла тяжелые ветки под легким дуновением ласкающего ее зефира, а там, в кустах пышных, сладострастных, но бездушных, горделиво поднявших свои многоцветные головки камелий и нежно влюбленных роз, кружились целые стаи мошек. Жужжанье их, словно людской говор, волнами проносилось по воздуху, то повышаясь, то замирая до нежного шепота.

Движения на улицах было мало. Замолкли люди, замолкла вся природа, словно упоенная волшебной красотой дивного весеннего утра.

Лишь издали порой доносился хриплый лай сторожевого пса, пробужденного стуком проезжего экипажа и свистом бича, да откуда-то вдруг донеслись отдаленные звуки страстной испанской песни под нежное бряцание гитары… Звуки эти, казалось, вторили звукам природы: то росли они, росли, как бы вырываясь из наболевшей страданием груди… И жутко становилось тому, кто слушал их… То вдруг стихали… И слышались слабые стоны… Тихие рыдания.

Вдруг оборвалась струна гитары. Оборвалась и живая струна сердца.

Все затихло. Природа словно замерла, как бы прислушиваясь к страданию человека, непонятному ее великой, жизнерадостной силе.

И чем глубже уходит человек внутрь себя, тем сильнее в нем сознание того, что что-то в жизни не так… Что чего-то не то не додала ему природа, не то отняла у слабеющего человеческого рода.

Где те высокие, святые истины, принесенные на землю для счастья человека Великим Учителем? Где тот светоч, который озарил человеческую мысль? Потух? Нет! Не может потухнуть свет истины… Но он мерцает где-то в безвестном пространстве слабым сиянием…

Вот-вот, так и кажется, что сильная волна воздуха затушит его колеблющееся пламя.

Всякие злобы дня, ожесточив сердце человека, разбили те идеалы, к которым когда-то стремилось человечество. Когда они воскреснут?.. И воскреснут ли?..

II

Но что это за шум там, на широкой площади перед кардинальским дворцом?

Громкие возгласы… бряцание оружия… гул многолюдной толпы… Посреди площади костер. Огонь змейками извивается по узким ступеням эшафота.

То казнь еретика.

— Ты богохульствовал, презренный раб! — раздался грозный голос кардинала. — Ты ни разу не ходил на поклонение святому Иакову, покровителю Испании, в Сантьяго-де-Компостела, куда стекаются миллионы праведных. Ты оправдываешься тем, что пилигримство[66] не даст хлеба твоим детям!.. Ты работал под праздники… Ты осквернял чрево свое непригожей посту пищей… Что скажешь ты в свое оправдание?

— Отец мой, — отвечал связанный по рукам и ногам осужденный. — Я беден… Семья нуждается в пище… Работнику ли разбираться в ней?.. Что же до других обвинений, то ведь и среди грандов[67] многие не исполняют всех обрядов… Виновнее ли я их?.. Они от лени делают то же, что я от бедности.

— Что?.. Что ты сказал?.. Безумец! — гневно воскликнул кардинал. — Ты гроша не подал за покаяние, а они приносят обильную лепту в сокровищницы храмов. Это ли не дает им права на получение индульгенций?.. И ты осмелился равнять себя с ними!..

— Жертвуют имущие, а Христос сказал: «Милости хочу, а не жертвы», — слабо возразил осужденный, устремив взор к небу, точно к нему взывая о помощи.

— Вот как! Ты еще смеешь осуждать деяния церкви…

И раздался громкий приказ красного кардинала:

— В огонь его… В пламя!

Монахи бросились приводить в исполнение слова кардинала, а бессмысленная толпа, которой нужны только зрелища, ревела:

— В огонь… В огонь его, еретика!

III

Вдруг вдали показалась лучезарная точка.

Она стала расти и сиять все ярче и ярче, как магнит, притягивая все взоры. Лучи от нее длинными огненными полосами раскинулись по всей площади, ослепляя своим ярким блеском толпу.

В приближающейся лучезарной точке узнали Господа Иисуса Христа.

Он шел тихо, склоняя голову.

Белая хламида[68] широкими мягкими складками облегала стройный стан Его, а поверх ее, до самых ног, обутых в сандалии, ниспадала синяя епанча[69].

Светло-каштановые волосы длинными, нежными кудрями падали на плечи.

В чудных синих очах Божественного Учителя, казалось, отражался весь мир. То было не вдохновение Пророка, а глубокая мысль Искупителя.

Христос остановился и обвел взором всех присутствующих. Все пали ниц, не вынося блеска Его очей.

Старцы били себя кулаками в грудь… Женщины и дети громко рыдали… Воины побросали оружие…

Небо засияло лучами солнца правды… И, как один человек, вся толпа воскликнула:

— Христос!.. Христос!..

Вздрогнул кардинал и опустил очи долу.

— Христос!.. Христос… Помилуй меня… — произнес с глубоким чувством веры осужденный, глядя один в очи Божественного Учителя.

— Ты свободен… — молвил кротко Христос. — Грех да падет на тех, кто безвинно осудил тебя…

И спали сами собой вервии с рук и ног страдальца, и пал он ниц перед Спасителем.

Страх потери власти разжал уста кардинала и, не поднимая глаз на Великого Учителя, он грозно воскликнул:

— То не Сын Божий, кто защищает Богохулителя, еретика. Воины! Схватите этого человека и бросьте Его в темницу.

Мгновенно разверзлись небеса; забушевали все силы природы. Кровавые пятна выступили на земле, окутанной мраком. Земля застонала, как умирающий в предсмертной агонии…

Да! Она стонала и плакала, словно молила о чем-то…

А кругом раздавался треск и грохот… Казалось, все злые силы вышли из подземелий, чтобы отпраздновать адским хохотом погибель Правды на земле.

IV

Мрачная темница. За решеткой кроткий лик Христа. Отворяется тяжелая дверь; входят судьи: кардинал и два монаха. Подобострастные лица иезуитов выражают притворное смирение.

Грустным взором окинул их Христос и промолвил:

— Напрасно ты поставил стражу, чтобы удержать Меня. Если бы Я хотел, Я прошел бы незаметно мимо нее и скрылся… Но Я должен исполнить всякую Правду и напомнить всякую Правду, и напомнить тебе слово Мое… И Я здесь! Я ждал тебя…

— Скажи, что сделали вы с Моим Светочем?.. Вы, получившие власть разносить Слово Мое по вселенной, влагать Его в сердце и уста каждого человека, не вы ли заглушаете Его лжеучением?.. Разве я учил людей злобе и мести?.. Разве не призывал их к Любви и Всепрощению?.. «Любите друг друга и не делайте ближнему того, чего себе не желаете». Забыли вы эту Мою единственную Заповедь людям? — Христос умолк и поник головой…

Потом вопросительно посмотрел в глаза кардинала.

И перед взглядом Великого Учителя, обращенным на него и засверкавшим гневом, кардинал опустил голову.

Страх перед Истиной сковал уста судей.

— Кто дал тебе и братии твоей, — Христос указал головой на монахов, — право казнить невинного?.. Проливать драгоценную человеческую кровь?

Кардинал, потупясь, молчал.

— Кто сказал тебе, — продолжал Христос, — что жертва презренным металлом может искупить грехи?.. Не Я ли рек: «Милости хощу, а не жертвы»… Не Я ли поучал, что молитва не столь угодна Богу, как добрые дела?.. «Не всяк взывай ко Мне: Господи!.. Господи!.. Внидет в Царствие Небесное, но творяяй волю Отца Моего. А воля Его: творите добрые дела…» Что сделали вы с Моим Словом Истины?.. Вы попрали все человеческие права… Вы гасите Светоч Мой… Смотрите, уж не пылает он ярким блеском… И загаснет пламя его, и расстелется мрак по всей вселенной, и огласится она стенаниями… И зарыдает человечество кровавыми слезами…

Христос умолк. Он грустно опустил долу Свой дивный Божественный лик.

И вдруг на Челе Его показались следы ранивших Его терний… Выступили капли пролитой Им ради спасения людей крови.

Великий Учитель страдал Своим человеческим естеством. Содрогнулись судьи Его.

— Учитель… — прошептал кардинал, — мы с любовью проповедовали Твое Слово, но не Ты ли сказал: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих». Человечество же ныне стремится прежде всего к насущному хлебу. Увековечить Слово Твое мы могли только огнем и мечом, иначе погибло бы оно, слишком высокое для слабого человеческого рода с его будничными потребностями и сильными животными страстями.

Христос грустно покачал головой.

— Когда дьявол, — продолжал кардинал, — искушая Тебя, сказал Тебе: «Если Ты воистину Христос, Сын Божий, претвори сии камни в хлеб», зачем, о Великий Учитель, зачем не сделал Ты этого?.. Тогда бы человечество не нуждалось в насущном хлебе и склонилось бы перед Светом Твоего Учения. Но Ты не сделал этого… Ты ушел от нас… Живой источник Твоего Слова иссяк. Мы же, глашатаи Твоей высокой идеи, не обладая Твоей Божественной силой внушения, можем удержать Твое Слово в памяти людей только доступными нам средствами. Так, Ты сказал: «Где два или три, собравшиеся во Имя Мое, тут и Я посреди их… тут и церковь». Мы же построили пышные храмы для прославления Твоего Имени, ибо, где ныне два человека, там уже борьба за существование, и нет места Твоему Имени. В великолепных же храмах под стройные звуки органа и детских ангельских голосов смолкают на время страсти. Не во славу ли Тебе и не на прославление ли Бога соорудили мы сии убежища для души?.. Не Твоим ли Именем призываем мы в них верующих и страждущих?.. Не Твое ли там Слово проповедуем?.. Чего же еще Ты хочешь от нас. Скажи! Когда Ты, вошедши во храм Иерусалимский, опрокинул столы с денежными сборами, Ты сказал: «Я не хочу, чтобы дом Отца Моего был домом торговли». Можем ли мы сделать то же?.. Нет! Ибо только при великолепии своих храмов, поддерживающих веру в Твое учение, мы можем и должны собирать с приходящих посильную лепту для помощи неимущим и нуждающимся. Скажи же, для чего Ты вновь пришел в грешный мир?.. Чего ты хочешь?.. Думаешь ли Ты вернуть простоту первых веков христианства: веру в могущество веры… Безграничную любовь к ближнему во имя Любви?..

Взгляд кардинала блеснул насмешкой, но потупился под грустно-спокойным взглядом Христа.

— Если да… — продолжал кардинал, — то Ты жестоко ошибаешься, Учитель. Жизнь так осложнилась, взаимные отношения между людьми, обществами и государствами так напряглись в лихорадочной борьбе, что ненависть, а не любовь стала главным двигателем человеческой жизни… Так что Слово Твое к желающим спасти свою душу: «Отдай имение свое неимущим и гряди во след Мене…» — не найдет уже прежнего отголоска в сердцах людей. Ты смущаешь нас и смутишь их… И Ты… О, горе мне, что я должен произнести такие ужасные слова. Ты, Христос, спасший все человечество… Ты, Божественный наш Учитель, не спася вновь человечества, уготовишь Себе новую Голгофу… Имущие отвернутся от Тебя, ибо кумир их — золотой телец… А неимущие закидают Тебя каменьями, требуя с громким хохотом, подобно искусителю-сатане, чтобы Ты обратил каменья эти в хлеб. Время для Твоего пришествия еще не настало. Ступай же с миром, предоставив пока нам поддерживать Твое Слово, как пригодно то в нынешнее время. Твое Учение слишком прекрасно: оно не для мира сего, не для века всякой злобы людской, какой переживает теперь человечество. Ступай!.. Не мешай нам возвращать постепенно к Светочу Твоему утопающее в греховном безверии, в

обоготворении злата или в безнадежном отчаянии забывшее Твою заповедь о Любви человечество… Или Ты хочешь, чтобы без нас Слово Твое совсем забылось и даже самое воспоминание о Тебе стерлось с лица земли? Повторяю: время для Твоего Царства еще не настало. Ступай… И возвратись к обновленному в горниле страданий и раскаяния человечеству, когда оно само призовет Тебя. Тогда Царствию Твоему не будет конца.

Разверзлись вдруг стены темницы. Светлое облако сошло на Христа и, подняв от земли, стало медленно уносить Его ввысь…

Судьи и стража пали ниц. Густой мрак окутал землю. А из светлого облака, где в лучезарном сиянии возносился на небо от грешной земли Свет Истины, тихо, как отдаленные звуки дивной музыки, доносились слова: «Отче! Прости им: не ведят бо, что творят!»

V

Когда кардинал и монахи пришли в себя, все совершившееся казалось им пророческим видением.

Нежные звуки ласкали еще их слух…

Вокруг все благоухало…

Уста отцов безмолвствовали от прилива к сердцу такого неведомого им доселе благоговейного восторга, что в этот миг они как бы отделились от земли и в своем бесплотном блаженном состоянии впервые, как бы духи, восприняли великое откровение, недоступное людям, и постигли до глубины ее великую тайну Слова Христова «о всеобъемлющей любви» и «о жизни вечной».

А на небе, когда рассеялось облако, скрывшее Божественного Учителя, ярко горел Крест, символом веры, надежды и любви, которую завещал Христос, Спаситель мира, человечеству, ибо в ней его спасение.

Лучи от животворящего Креста огненными снопами падали на землю, а вокруг него, переливаясь всеми цветами радуги, как яркие звезды, блестели слова: «Сим победиши!»

О. Агренева-Славянская
Журнал «Отдых Христианина», №7-8, 1915 г.



Рис. Ольги Бухтояровой



Лепта вдовы

I

Пение вечерних псалмов закончилось завершительным «аллилуйя».

На алтаре всесожжений, этом огромном алтаре в 20 аршин[70] шириной, медленно догорал жертвенный огонь. Кровь двух агнцев, которые ежедневно утром и вечером приносились в жертву Богу израильским народом, струясь по алтарю, теперь стекала капля за каплей.

В полдень рука первосвященника, согласно обрядам, бросала на горящие угли восточные ароматы в виде сгущенной эссенции из нарда, розы, амбры и корицы — благовоний, специально предназначенных для алтаря.

Толпа медленно выходила, спускаясь по террасам храма и стремясь под открытое небо, где свободно двигались и шумели тысячи людей. Они шли из двора Израиля во двор женщин и, наконец, достигали притвора язычников. Ни один язычник из опасения смерти не осмеливался перешагнуть порога этих дверей, как будто Господь только издалека мог слушать мольбы и хваления, выходившие из уст избранного народа…

Столпившись тесными группами, верные стояли около сделанных в форме трубок тринадцати кружек сокровищницы, куда со звоном падало серебро и золото. Каждый давал сообразно со своим богатством или великодушием. Знатные иудеи ради тщеславия бросали в сокровищницу драгоценные монеты с изображением кесаря. Все это вместе придавало еще более пышности празднику. Эти дары богачей гармонировали с великолепием мрамора, блеском золота и редкой мозаикой, со всей роскошью храма, которая становилась еще пышнее и утонченнее по мере приближения к святилищу Иеговы[71].

На пороге Святая Святых взор поражался дивным великолепием массивных инкрустаций из драгоценных камней, чудных пурпурных покрывал из роскошных виссоновых[72] тканей.

Посредине блестящего храма проповедовал Иисус, продолжая Свою беспрерывную борьбу с лицемерием и, обращаясь к жадно слушавшему Его народу, обличал книжников и фарисеев. Затем, утомившись, Он сел подле сокровищницы, в тени храмовых дверей, глядя на проходящих и на бросавших в кружки свои богатые пожертвования. Его задумчивый взор покоился на этих гордых лицах, скрывавших за собой мелкие эгоистичные расчеты, и проникал в сердца, которые своей хитростью обратили святейшие предписания закона на свою собственную погибель и осуждение.

Под бездонным, глубоким взглядом Христа проходили, один за другим, эти безжалостные лицемеры, о которых Он только что говорил. Проходили, высоко подняв голову и возложив бремена, тяжелые и неудобоносимые, на слабые плечи братьев. Проходили изнеженные, разодетые в богато вышитые одежды, спеша на свои безобразные пиршества, куда, чтобы утолить их ненасытную жажду наслаждений, привозилась дань с отдаленных провинций, с рек и морей. Они проходили мимо, эти «окрашенные снаружи гробы», избегая идти по следам людей, проникая обыкновенно в храм особым проходом, отделенном стеною от толпы.

Все начальники израильские проходили теперь мимо Христа: священники Самуил, Элиазар и другие, первосвященники Ханан и Каиафа.

Иисус долго смотрел на Каиафу, дольше, чем на других. И во взоре Христа не было презрения и негодования: эти чувства ограниченных и мелких сердец не имели места в Его кроткой и светлой душе. Только безграничная печаль светилась в Его задумчивых глазах, и облако тоски омрачало Его ясное чело: через три дня Ему надлежало умереть…

Подобно тому, как в туманный день яркий луч света проникает сквозь тяжелые тучи, так взор Учителя вдруг загорелся небесным огнем. К Нему приближалась женщина, закутанная в покрывало, робкая, словно стыдясь окружавших ее людей и кичливых богачей, потому что она

была бедна.

Она имела растерянный вид человека, который чувствует себя беззащитным, никому не нужным, никем не любимым. Это была вдова. Она несла просто и спокойно бремя бедности и сердечного одиночества: такова была воля Создателя…

Вдова протянула руку к ближайшей кружке и смиренно опустила туда свою лепту — две мелких монеты. В одно время с ее оболами[73] звонко упала в сокровищницу горсть золота, брошенная богачом Самуилом-бен-Фаби.

Легкая краска стыда покрыла лицо вдовы, и внутренно она сказала Создателю:

— Прости мне, Господи, у меня больше нет…

Вдова не видела Того, Чей взор не отрывался от нее; не слышала она, как Он сказал ученикам, указав на нее жестом:

— Эта вдова положила больше всех: она отдала от скудости своей все, что имела…

Она не чувствовала Его благословения, освятившего, среди толпы мудрецов и книжников, ее, бедную, простую вдову.

Но почему Христос ничего не сказал? Ему было так легко заговорить с ней. Почему оставил Он ее идти своей дорогой, ни одним словом не облегчив ее душу? Почему, наконец, Он, Владыка вечных тайн, не пожелал открыть тайну этой лепты?

Самый факт Его молчания обещал женщине дивную награду. Кто знает, быть может, те часы, когда душа, принесшая последнюю жертву, замыкается в тяжелом молчании, именно и есть часы небесного благословения, часы небесной благодати…

II

Поступок вдовы был поистине возвышенный: она отдала все, что имела, и торопливо возвращалась в свое бедное жилище, находившееся вдали от мраморных кварталов богачей, вдали от нового города с его зданиями, театрами и чудным садом роз, благодаря которому над пышным Иерусалимом во всякое время года веяло ароматное дыхание весны.

В некотором отдалении, на земле, где находилась новая ограда стен, возвышался маленький домик с единственной комнатой. Вдова поспешно вошла в дом, зная, что найдет там, увы, не утешение; что тоска ее одиночества еще усилится, потому что ее единственная дочь Рахиль была слепа…

Мать и дочь жили одни: лишь по вечерам, от времени до времени, их посещал сирота, которого вдова приняла в дом. Это был сын ее сестры, который пас стадо неподалеку от дома. Он научил бедную Рахиль плести корзины. Терпение маленького пастуха было неистощимо, когда он, не уставая, руководил пальцами бедной слепой. И все-таки нужда была так велика, что труд матери и детей едва помогал добывать им кусок насущного хлеба.

Они были терпеливы и покорны, но мало-помалу, подрастая, Рахиль начала испытывать приступы внезапного отчаяния от безнадежного стремления к счастью, к личной жизни и к жизни других людей, которые скрывала от нее вечная ночь слепоты. И в этот благоухающий вечер, удрученная тоской дочери, вдова Сарра направилась в храм, чтобы набраться духовных сил. Желая умилостивить Создателя своей жертвой, она отдала от своей бедности все, что

имела…

Путь от храма до дома вдовы был далекий. Пастух Иоиль — приемыш Сарры — вернулся со стадом раньше ее и с жаром рассказывал Рахили, которая теперь перестала плакать:

— Я принес тебе диких смокв и молока. Смотри, вот в твоих руках все цветы, которые я успел собрать, те самые цветы, аромат которых ты особенно любишь… Почему ты плакала? Быть может, ты долго оставалась одна? Скоро мы совсем не будем разлучаться. Я женюсь на тебе, когда буду большой и смогу заработать для тебя хлеб. Я возьму тебя с собой в поля, и пока буду пасти овец, ты мне будешь рассказывать прекрасные сказки. Мы будем так счастливы!..

— Что будешь ты делать со слепой женой? — спросил печальный голос Рахили. — Ты так добр и никогда не будешь раскаиваться… Но я, я буду страдать, думая о твоем горе. Ведь я не могу ничего делать, ни в чем помочь тебе. Над тобой будут смеяться. Помнишь, как однажды смеялись дети, когда мы шли мимо и я запнулась ногой о камень?..

— Они смеялись не над тобой, — возразил с негодованием Иоиль, — иначе я бросился бы на них…

— Нет, надо мной, — продолжала слепая, — и я не могла перенести это, потому что смеялись надо мной одной. Но если бы я была твоей женой, этот смех проник бы в мое сердце, и я не осмелилась бы больше ходить с тобой. Я думала бы: что он чувствует, когда они насмехаются? Быть может, краснеет за меня… Я была бы еще несчастнее, чем теперь. Ты не отдаешь себе отчета, как сильно вдумываешься в глубину вещей, когда ничего не видишь. Ничто не рассеивает мыслей… Ты сам так же страдал бы… Я невольно причиняла бы тебе страдание, каждый день спрашивая тебя, не жалеешь ли ты о сделанном…

— Ты не спрашивала бы меня об этом, Рахиль, если бы хорошо узнала меня. Ты говоришь эти жестокие слова потому, что я не умею высказать, что у меня на душе. Я тяжел, неуклюж, неумен. Но ты не знаешь… Во мне всегда есть что-то, что ноет. Ты как луч света для моей души! Когда мне хочется быть счастливым там, на полях, в долгие ночи или в долгие дни, я не смотрю на небо, на звезды, на высокие травы, которые качаются под ветром, на моих овец. Не смотрю ни на что… Я закрываю глаза и там, внутри, смотрю на тебя. Я вижу, как ты ходишь, улыбаешься, вижу твое движение, которым ты накидываешь на себя покрывало, твою манеру наклонять голову, когда ты меня слушаешь, и это для меня праздник. Иногда я делаюсь гадким. Я думаю, что ты, такая прекрасная, могла бы полюбить другого, если бы увидела меня таким безобразным, бедным, и я радуюсь, что тебя не вылечили, что ты не презираешь меня…

И он повторил смиренно:

— Я дурной, гадкий…

Рахиль ощупью нашла смуглую руку пастуха и сжала ее в своих руках. Вошла Сарра, улыбнулась детям и обняла Рахиль. Иоиль продолжал мечтательно говорить, как все робкие люди, когда они решатся излить душу.

— Между тем я хотел бы быть добрым. Особенно с некоторых пор… Поблизости от того места, где я пасу стадо, в окрестностях Вифании, часто приходит один Человек и садится там. Его всегда окружают другие люди. Я думаю, что это Пророк… Он говорит такие чудные слова… Он не подозревает, что я слышу Его, спрятавшись в ров, закрытый высокой травой. Я лежу там целыми часами, когда Он приходит и после Его ухода. Часто Он говорит о таких бедняках, как мы, повторяя, что любит их и что настанет день, когда Он сделает всех бедных счастливыми. Мы для Него, как овцы. Он зовет нас, знает нас, и мы Его знаем. Понимаешь, я никогда не

осмелился показаться Ему: ведь я не умею даже читать… Но если бы ты пошла туда завтра, я уверен, что ты больше не стала бы плакать. Право, я сам не знаю, но стоит только услышать Его голос, и ничто на свете уже не кажется тяжелым. Я не страдал от того, что иногда у нас не хватает хлеба, а ты, я думаю, не будешь больше страдать от своей слепоты.

— Ты сведешь нас? Мы пойдем? Правда, мама? — заговорила Рахиль, жадно ловившая слова мальчика. — Я не буду говорить с Ним, конечно. Ты, наверно, плохо понял, если думаешь, что Он нас любит. Ученые, наставники не любят бедных. Но Он не может прогнать нас потому, что не увидит. А если у Него есть доброе слово для тех, кто страдает…

— У Него есть добрые слова для всех! — с уверенностью воскликнул Иоиль. — Надо только сказать: «Господи, сделай это», — и Он сделает. Сегодня утром окружавшие Его что-то спрашивали по поводу засохшего дерева… Я не все уловил… Вероятно, это относилось к древним временам… Он ответил им, что, имея крупицу веры, они получат все, что желают, что они должны только просить, а Он им даст.

— О! — воскликнула Рахиль. — Он обладает такой силой?.. Он все может сделать? А если бы я попросила…

Она не посмела окончить фразы, трепеща при мысли о своей дерзости. Иоиль понял ее без слов и испугался возможности горького разочарования.

— Он не говорил об исцелении, — заметил мальчик печально.

— Что же из этого, если Он может все? — возразила Рахиль.

— Оставим это, — произнесла с беспокойством мать, — ты знаешь, Рахиль, что Иоиль живет наполовину воображением, многое не понял и говорит бессмыслицу. Кто мог бы говорить так? Даже наши пророки не решились бы на такую смелость! Может ли человек иметь могущество и силу, как у Бога?..

Она сделала недовольный знак пастуху, который поник головой, сознавая, что своими мечтаниями мог огорчить бедную девушку, невольно напоминая ей о слепоте.

Вдова говорила долго, рассказывала о посещении храма, но Рахиль не слушала ее. Когда клетка открыта, можно ли удержать птицу?..

Слепая повторяла:

— Мы пойдем, мама? Да, мы пойдем?..

С нетерпением и тоской мать должна была обещать ей, что она подумает, но в конце концов решено было, что все трое пойдут туда завтра.

Вечер прошел быстро и беззаботно, несмотря на бедность и на то, что вместо ужина им пришлось есть черствый хлеб. Что-то новое воцарилось в бедном жилище вдовы; на лицах всех его обитателей светилась улыбка, дышалось легко и свободно. Каждый чувствовал в своем сердце тихий трепет надежды…



Рис. Маргариты Мальцевой

III

На заре мать и двое детей шли по дороге в Вифанию. Предрассветная свежесть воздуха пронизывала их до костей, успокаивая лихорадку ожидания и едва народившуюся, но мучительную, как ожог, надежду.

Взобравшись на склоны сада Маслин, они снова спустились в долину, где голубоватая, но уже прозрачная тень была пронизана нежным отблеском зари. На горизонте нежно-розовые полутона восхода бледнели с каждой минутой, и вот небо совсем побелело, золотясь едва заметным оттенком. И вдруг на небе Востока ослепительно засиял дивный утренний свет вместе с пением птиц и легким трепетом величественных пальм.

Рахиль протянула руки вперед, подставляя их первым теплым лучам, желая принять участие в общей радости природы. Иоиль нетерпеливо двигался взад и вперед, торопясь прийти на желанное пастбище и подгоняя свое маленькое стадо.

Они на месте. Вот и дикая смоковница, мертвая и засохшая, среди окружающей ее зелени. Придет ли сегодня Учитель? Пойдет ли Он по той же дороге?

Охваченная неизъяснимой тоской, Рахиль готова была теперь вернуться, уйти…

— Спрячемся туда, где ты прятался, — сказала она своему маленькому спутнику, — чтобы Он не видел нас. Я так боюсь, что Он нас прогонит… Послушай, мы заговорим с Ним, если я почувствую сердцем Его доброту. Если я не скажу ничего, умоляю тебя, и ты не говори. Мне страшно, мне кажется, что стало очень холодно…

Сарра пыталась уговорить и успокоить детей, притворяясь, что не придает значения этой прогулке. Они пришли сюда, повинуясь весьма естественному чувству любопытства, и отправятся назад, если Учитель слишком запоздает прийти.

Голос ее заметно изменился, от волнения сделался глухим и прерывистым. Надежда, помимо

ее воли, проникла в сердце и оживила его, а вместе с надеждой — и страх возможного разочарования. Она молилась в душе, чтобы Господь удалил от нее всякое безумное желание, если оно противно Его воле.

Почти машинально Сарра твердила:

— Пусть Пророк не пойдет по этой дороге, если Он оставит после Себя еще более скорби.

Но Пророк шел именно по этой дороге.

Иоиль увидел Его издали, окруженного учениками, и взволнованным голосом сказал:

— Вот Он…

— Замолчи! — заговорила Рахиль. — Не говори ничего, не спрашивай…

Все ее тело трепетало, лицо покрылось смертельной бледностью. Иоиль спрятался в ров, у самых ее ног, позади дерева. Все трое ждали.

Учитель, печальный и серьезный, шел по дороге.

Теперь Он поравнялся с ними и прошел далее.

— Учитель, — произнес один из учеников, — посмотри, вот смоковница, которую Ты проклял: она засохла.

Спокойно и уверенно зазвучал голос Иисуса Назорея. Иоиль сказал правду: этот Божественный голос проникал в самые сокровенные глубины сердца.

При первых словах Учителя Рахиль инстинктивно подвинулась вперед.

Спаситель сказал:

— Имейте веру в Бога…

И, протянув руку по направлению к Масличной горе, гигантские кедры которой рисовались мрачным пятном в ослепительном свете утра, продолжал:

— Если кто-нибудь скажет этой горе: «Поднимись и ввергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но будет иметь веру, — все сделается по словам его.

Иоиль поднял глаза, не зная, слышит ли он это во сне или наяву, и ожидал знака. Рахиль выпрямилась и протянула вперед свои руки с горячей мольбой.

Спаситель добавил:

— Все, о чем ни просите, верьте, что дастся вам.

Вне себя, охваченная порывом материнской любви, вдова бросилась к ногам Спасителя у края дороги. Она не сказала ни слова, но своими молитвенно сложенными руками как бы указывала Спасителю на свое слепое дитя, не смея высказать свою просьбу вслух, страшась убить надежду этого хрупкого существа…

О, какая Божественная любовь и кротость светилась во взоре Иисуса, когда Он взглянул на

мать и ребенка…

— Он увидел тебя… — прошептал сияющий Иоиль.

Спаситель медленным жестом положил руку на закрытые очи слепой…

Восторженная радость совершенно преобразила лицо бедной Рахили. Она сделалась неподвижная, как будто замерла в ожидании чуда, и чувствовала, что в ее сердце нисходит небесная радость.

Снова зазвучал глубокий голос Христа:

— Если ты веруешь, все возможно для тебя.

Она ответила:

— Я верую…

Еще с минуту Божественная рука покоилась на чистом челе молодой девушки.

Вместе с безграничной радостью в душе Рахили родилась вера, любовь и покорность воле Божией.

Она думала про себя, что с радостью осталась бы на всю жизнь слепой, если бы на ее лице всегда покоилась эта милосердная рука, закрывавшая от нее блеск земного мира, но пролившая в ее смущенную душу вечный неугасимый свет…

Господь медленно отвел Свою милующую и всемогущую руку от лица девушки. Светлые глаза Рахили, которой открылся новый мир, с кроткой радостью и необъяснимым восторгом устремились на Иисуса…

Это было чудным исцелением.

Свет неизреченный заполнил до краев сердце Рахили, так что она, переполненная благодати и божественной доброты, не могла вымолвить ни одного слова…

И даже в эту трогательную минуту прозрения бедной девушки, слепой от рождения, Христос не сказал вдове:

— Я видел тебя вчера.

Он не сказал и дочери:

— Я возвращаю твоей матери ее послеюнюю лепту, ее единственный обол…

Только когда они отошли дальше, и Иоанн, нежно любимый ученик Христа, оглянувшись на группу этих сиявших безграничной радостью людей, услыхал несвязные благословения, которые бормотала вдова, и увидел Иоиля, подбежавшего к Учителю с самым лучшим ягненком в руках, когда увидел Рахиль, которая растерялась от восторга и не могла оторвать глаз от удалявшегося Спасителя, Иоанн, хотя и привык к подобным чудесным исцелениям и искренней благодарности людей, но все же не удержался и спросил Христа:

— Чем заслужили они, что встретили Тебя на своем пути?

Указав на вдову, Спаситель ответил:

— Она от бедности своей отдала Мне последнее, что имела…



Альцей

I

Грек Альцей лежал, растянувшись под тенью сикоморов[74] на Масличной горе, и смотрел на Иерусалим. Он жил в Иерусалиме несколько недель, приехав сюда, чтобы послушать знаменитых учителей, как слушал прежде учителей в Афинах и в Александрии.

Он не столько жаждал научиться у них мудрости, сколько искал в их словах совершеннейшей формы красоты. Человеческий разум казался ему слишком ограниченным, чтобы обо всем судить с полной уверенностью, а жизнь — слишком прекрасной, чтобы омрачать ее загробными загадками. Единственным культом Альцея была красота. И теперь, облокотив голову на руки, Альцей с наслаждением созерцал именно великолепие и красоту Иерусалима.

Оставалось два дня до Пасхи. Сильный зной сияющего весеннего дня вынудил грека укрыться в тени, где голуби тихо ворковали среди пальм и розовых кустов. Вокруг него было ослепительно светло: это лучи солнца отражались на красноватых скалах.

За Масличной горой окрестности Иерусалима были бесплодны и выжжены солнцем. Сухая земля трескалась под горячими лучами, в воздухе носился сильный запах восточной корицы и ладана. Грек мял в руках эти ароматные травы. Вместе с ослепительным светом, с горячим благоухающим воздухом безграничная радость жизни охватывала его душу. Он полузакрыл глаза, полуоткрыл уста, как будто бы сама жизнь, прекрасная и цветущая, вливалась в него в этих солнечных лучах, в этом ароматном дыхании весны.

А там, внизу, сияла громада куполов, яшма и мрамор. Как белое, чудное видение, на красноватых холмах виднелись террасы храма, громоздясь этажами в голубоватой дали и

заканчивая собой дивную грезу его гордости и красоты.

Альцей долгое время отдавался опьянению своей мечтой. Шум шагов привел его в себя. Он поднял голову. Какие-то простые люди… Несомненно, один из бесчисленных караванов, наводнявших окрестности Иерусалима накануне Пасхи, проходил по дороге внизу. Он с интересом следил всегда за длинной линией человеческих существ, спускавшихся с холмов узкими дорогами. Это было жизнерадостное смешение людей и животных: ягнята для жертвоприношений, верблюды с тяжелой поступью, которые сгибались под своей ношей, слабые старцы, руководившие тремя поколениями в этом торжественном странствовании к Святому Городу, женщины, закутанные покрывалами с античными рисунками, которые несли на головах амфоры, корзины цветов и фруктов…

Но теперь эти люди, напротив, шли из Иерусалима, они говорили на грубом диалекте, и с ними не было женщин. К великой досаде грека, они остановились на некотором расстоянии от него, лишив его желанного одиночества, аромата и тени.

Альцей уединился подальше от них, уронил голову на руки и вернулся к прерванному созерцанию.



II

Как бы то ни было, но отрывки их слов долетали до него. К великому удивлению, он скоро понял, что эти люди были учениками, а Один из них Наставником или Равви. Равви!.. Этот человек из народа?..

Грек улыбнулся, забавляясь в душе приключением, которое давало ему возможность узнать мысли и надежды этих бедных людей. Этот Восток на каждом шагу уготовлял ему неожиданные сюрпризы. Ученики спрашивали… Ответы их Спутника доносились до него отрывками, но вскоре грек с любопытством привстал, чтобы видеть лицо Учителя, голос Которого звучал глубокими, захватывающими нотами. Он не мог разглядеть черты Его лица, заметил только белое одеяние и длинные волосы. Учитель повернулся к Иерусалиму, сияющему в ореоле яркого света. Ученики, подобно Учителю, также смотрели на храм.

— Скажи нам, когда это будет? — сказал один из учеников. — Какой будет признак Твоего

пришествия?

Учитель ответил:

— Как молния исходит от востока и видна бывает на западе, так будет пришествие Сына Человеческого.

«Как!.. Этот Человек считает Себя пророком?!»

Альцей слыхал, как говорили судьи, цари, пророки в этой странной земле, но все они говорили как обыкновенные смертные существа. Никто не выражал ничего подобного. Грек часто желал видеть людей, безумие которых заносит их в сферу невидимого: они получают при этом воображаемом или действительном соприкосновением с загробной жизнью неизмеримое величие и силу. Что-то вроде суеверия или слабая вера заставляли его смотреть на подобных людей как на существа неземные.

Грек еще подвинулся вперед.

Широкие ветви кедров образовали над ним тенистое убежище, откуда он не мог ничего видеть и не мог быть замеченным. Он слышал только голос, произносивший неслыханные вещи со спокойной уверенностью.

— Иерусалим будет окружен врагами, обложен и разрушен. От дивного храма не останется камня на камне, и будет тогда великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет.

Потом пошли ужасные предсказания:

«*Солнце померкнет, луна не даст света, и звезды спадут с неба*, люди онемеют от ужаса при виде всех знамений, и растерянные рыбаки закричат: “Горы, падите на нас; холмы, покройте нас”. *Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных…*»[75]

Как! И все это говорится невидимыми устами для простых людей в этот чудесный день, среди райского блеска и великолепия?! Но кто же Этот говоривший Человек, называвший Себя Сыном Человеческим? Странное имя… Альцей, пригвожденный к месту изумлением, не знал, грезит ли он или слышит все наяву. Он пытался смеяться, издеваясь над самим собой и называя себя глупцом за то, что слушал весь этот вздор. Но его спокойствие было только видимым: дрожавшие руки выронили ароматные травы. Ужасные слова и предсказания произносились голосом, который звучал небесной кротостью. Он, этот бедняк, этот неизвестный, Он будет оберегать Своих, ни один волос не спадет с их головы? Во имя Его, ради любви Его предадут всех верующих земным судьям, повлекут в судилище, и дано им будет в тот час, что говорить?

Низкий, глубокий голос Учителя продолжал:

— *Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и будете ненавидимы всеми за Мое имя*[76].

Никто из учеников не протестовал, не нашел этого требования ужасным, невозможным.

Наконец Его самого возьмут, предадут на мучения, и через два дня Он будет распят.

Да, таковы именно были Его слова!.. Альцей привстал, он должен был увидеть этого Человека,

Который предсказывал Свои страдания, Свою смерть с таким ужасным спокойствием.

— Я должен видеть Его! — пробормотал грек.

Он быстро встал на ноги. Испуганные голуби улетели. Грек остановился, испугавшись сделанного шума… Но говоривший не повернул головы.

Теперь Сын Человеческий указывал на тех, кто мог не бояться Его справедливого суда, кто мог видеть Его лицо: чистые сердцем, униженные, милосердные к голодающим и страдающим.



Рис. Маргариты Мальцевой

Что говорил Он? Альцей даже не знал, есть ли на свете бедняки. И тем, кто не знал их, грозный голос возвещал анафему:

— *Уйдите от Меня, проклятые![77]*

При звуках этого голоса, звучавшего теперь грозно и властно, Альцей зашатался, как пьяный.

Этот Равви, не зная его, проклинал.

В другое время он продолжал бы улыбаться, но нельзя улыбаться, слушая проклятие Человека, Который предсказывает Свою смерть, Который смотрит ей в лицо спокойнее Сократа и роется в человеческом сердце, как в Своей собственности.

Альцею показалось, что яркий свет дня сменился сумерками, и, не смея взглянуть в лицо Учителю, он ушел и спустился к Иерусалиму.

В то время, как он шел, подавленный, в первый раз почувствовав всю тяжесть сомнений, он злился на самого себя. Обычное недоверие и легкомысленность смеялись над порывом души, которая проснулась в нем, забила, как свежий источник в сухой пустыне…

«Мне остается только увидеть Его, чтобы почувствовать всю нелепость этих слов! Этот Человек безумец. Через два дня я узнаю, что Он солгал. Это день Его воображаемой смерти… А если Он не солгал?..»

Добравшись до укреплений города, стыдясь самого себя, грек вдруг повернул назад и пошел по дороге к холмам. Как дети, которые боятся привидения и которых заставляют, желая излечить от страха, взглянуть на предмет их ужаса, Альцей взял в руки свою трепещущую душу, чтобы поставить ее лицом к лицу с ужасным Человеком.

Но Учитель и Его спутники уже исчезли.

III

Тогда, словно торжествуя и вместе с тем злясь на свою собственную слабость, он хотел доказать всем и самому себе, что смеется над Сыном Человеческим и над его словами. В грубых выражениях он равнодушно прогнал от себя бедняков, которые просили милостыню у городских ворот, заказал пышный пир, позвал друзей и знаменитых танцовщиц, грацией и легкостью превосходивших гирлянды роз, когда их поднимает и носит ветер пустыни.

Целую ночь они пили вино, знаменитое Тирское вино, но тоска, к которой примешивались отвращение, ужас и сожаление, возрастала в нем.

Услышав святые слова, этот влюбленный в красоту человек тосковал. Все казалось ему пошлым и скучным…

В полуоткрытые решетки дома до него доносилась жалобная мольба бедняка. Он слушал эту жалобу, отяжелев от опьянения, стараясь понять, о чем говорила ему она, эта жалоба… О чем-то далеком, священном…

Наконец, он украдкой подошел, бросил нищему золотой кубок и несколько дорогих камней — опалов.

После этого он ощутил в себе немного спокойствия и пробормотал:

— Это тебе я дал…

Тяжелый, полный волнения день; сон, тревожимый несвязными грезами; потом серый, мрачный рассвет, угрюмее и мрачнее, чем где-либо в этой жаркой стране…

Альцей блуждал, бродил, не зная отдыха, не понимая, куда и зачем идет. Эти два дня он жил только одной мыслью: снова найти Пророка.

Город был наводнен чужеземцами. Праздник Пасхи привлек огромное количество богомольцев. Как отыскать одного человека среди тысяч людей? Альцей даже не видел Его лица.

Улицы города были убраны цветущими ветвями деревьев, на площадях виднелись палатки — легкая защита от ночной свежести: они наполняли собой даже тот богатый квартал с ипподромами, театрами и цирками, где жил Альцей.

«Если бы я услыхал Его голос, — думал грек, — я узнал бы Его среди всех других. Тогда я…»

По странному чувству стыдливости он не хотел никого спросить об этом. Да и еврейский мир был в сущности закрыт для него: он жил в Иерусалиме, но был одним из язычников, этих осужденных Богом людей, для которых ученые еврейские наставники не находили достаточно проклятий. Единственным пунктом соприкосновения с Израилем были публичные беседы великих учителей, но в эти праздничные дни их не было.

Альцей бродил по площадям, избегая знакомых лиц. К нему подошла красавица Гиацинта, с продолговатыми янтарными глазами, со своим звонким смехом, держа в руках охапку разноцветных анемонов, похожих на бархатные маки, и нарциссов. Грек равнодушно взглянул на нее. Гиацинта по опыту знала такой взгляд, ей приходилось видеть его в изменчивых глазах мужчин, но этот… этот. Она ушла, прекрасная и гордая.

Альцей посмотрел ей вслед, как будто бы вся его юность уходила вместе с ней.

«Она ненавидит уже… за имя Его…» — подумал он.

Нет, у нее не было ненависти, она просто тихо плакала. Грек не видел этих слез. Быть может, он не обратил на них внимания, его душа, казалось ему, умерла для всего, что еще вчера он называл целью жизни.

Хотя он был язычником, но ему пришло на мысль подняться в храм. Жертвоприношения начались в полночь и не прерывались почти всю великую неделю.

Бедняки приходили, по преимуществу, когда было не так многолюдно. Очевидно, ученики этого Человека были бедны, и Альцей питал надежду найти их в храме за приготовлениями к жертвоприношению. Он прошел ворота и бродил в пустынном притворе язычников, наблюдая за входившими и выходившими людьми. Потом наклонился, чтобы взглянуть на Святой город. Белые кубы домов с узкими бойницами, бронзовые купола, террасы крыш, бесчисленные синагоги, школы — все это тонуло в тумане. Цветущие виллы греческой колонии, увитые розами и лавром, тихо дремали под мелодичный рокот воды.

Альцей ждал долго. И напрасно. Чего ждать еще, мучиться в бесплодных поисках? Если Учитель был взят… Но никто не говорил о казни. Никто из этих людей, жаждавших жестоких зрелищ.

Тогда что же? Все это было вздором, все предсказания Этого Человека оказались безумным бредом? Пора бросить это смешное и утомительное преследование. Раздумывая, Альцей отправился на Царский мост, перешел израильскую реку Киссон, чтобы вернуться домой после бессонной ночи. Лизиас, Эраст, Эвноя и Гиацинта переходили большую площадь и с криками радости окружили своего друга, несмотря на его старание уйти от них.

Еще накануне они начали искать его всюду, обеспокоенные его странным видом и его исчезновением. Альцей отвечал наугад, пытаясь уйти от их вопросов. Гиацинта внимательно смотрела на него; женский инстинкт подсказывал ей, что ее друг переживал тяжелый кризис. Своим женским умом она думала, что страдающий человек, если даже сам не любит, то все-таки нуждается в любви, и с ласковым жестом оперлась на его руку.

Он сделал усилие освободиться и прошел с друзьями несколько шагов, совсем разбитый, не зная, что он хотел и чего ждал. Теперь они обогнули дворец великого первосвященника. Дворец был открыт. Во дворе, внизу, несколько людей грелись вокруг больших костров, так как ночь была довольно прохладной. Толпа поднималась и спускалась по лестнице, ведущей в зал совета. Греки, вся компания, удивились. Разве иудейские судьи судят теперь, до восхода солнца?

Из дворца доносились громкие голоса, явственно слышался пронзительный голос Каиафы, особенно когда поднималась и опускалась дверная занавесь. Альцей прошел мимо, вместе со спутниками, равнодушный ко всем иудеям на свете. Через занавесь, которую чья-то рука забыла опустить, вдруг донеслись слова. Казалось, что они парили над головами присутствующих и терялись в омраченном небе.

— Вы увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных…

Альцей стоял неподвижно. Вокруг него раздались восклицания:

— Он богохульствует! Он умрет! Он достоин смерти!..

Из зала суда донеслись крики и смех, глухой шум и проклятия. Все инстинктивно остановились.

Изменившееся лицо Альцея было ужасно. Его спутники расспрашивали людей, которые грелись у костров. Те ответили, что судили одного Галилеянина, Который называл Себя Мессией и богохульствовал, говоря, что Он — Сын Божий. Его повели к Пилату, который, как наместник римский, имел право жизни и смерти.

Заинтересованные греки ждали. Слова, слышанные ими, были так новы для них… Было ли когда слыхано нечто подобное под афинским небом?

Альцей с силой вырвал свою руку у Гиацинты и пытался идти дальше один. Никакая человеческая сила не могла заставить его теперь покинуть место, где должен пройти Тот, Которого он ожидал и с тоской искал несколько дней и ночей. Лизиас, самый близкий друг Альцея, ласково склонился к нему.

— Разве ты знал этого Человека, что так расстроился и имеешь отчаянный вид? Это невозможно, ты не понял: судят какого-то Человека из Галилеи. Это безумец, Который мнит себя Мессией…

— Это Он! — ответил Альцей. — Конечно, Он! Он предсказал все это, и в этих самых словах. Он должен умереть сегодня.

Лизиас слушал друга с состраданием, думая, что он помешался.

Ожидание было долгое. Слышны были проклятия, угрозы, насмешки, над которыми господствовала одна оскорбительная фраза:

— Пророки нам…

Кучка прислужников накинулась на Мученика.

Это было ужасно: звуки пощечин, удары, рев ненависти, проклятия, вырывавшиеся через решетки запертого зала…

Греки, полные отвращения к раболепным и жестоким жителям Востока, тихо переговаривались между собой. В висках Альцея сильно стучало… Где же, где слышал он однажды этот беспорядочный шум? Ах, то были коринфские бочары[78]. Слова Платона о мучимом праведнике… Ужас пустынного и мрачного места… Как все это было холодно и далеко от него, и мертво. Какое же новое и чистое откровение получил он, если отказался от красоты в той форме, в какой привык поклоняться ей, и жаждал найти ее среди шайки раболепных прислужников, в ужасе мук и страданий?..

Наконец, толпа раздвинулась одним широким движением. По мраморной лестнице один за другим спускались первосвященники, потом прислужники, стража и палачи. За ними Он — Человек в белой одежде с кротким, светлым лицом, полный скорбного величия.

Альцей снизу протянул к Нему руки.

— Он с ума сошел… — пробормотал Лизиас.

Остальные удалились, онемев от удивления.

Вдруг громкое рыдание женщины потрясло воздух и затерялось в шуме толпы. Гиацинта поняла, что это неземное Существо в Своем свете унесло человека, которого она так любила.

Шествие подвигалось медленно: любопытная толпа не отставала ни на шаг. Христос шел, закрыв глаза, осыпаемый проклятием народа.

Когда Он поравнялся с Альцеем, грек взглянул на Него жадным взором, и тревога души его мгновенно утихла, как некогда во время грозы утихли перед Ним воды Геннисаретского озера.

Душа античного грека умерла в Альцее вместе со словами, которые он имел привычку говорить:

— Если я встречаю красоту, я обожаю ее.

В душе его звучали теперь эти самые слова, имевшие уже другой смысл, потому что в эту минуту он познал красоту, о которой не подозревал: невидимую, духовную, священную красоту.

Он отдал ей душу, он весь предался ей.

В нем не осталось ни гордости, ни ужаса перед окружающим. Он хотел подойти к Иисусу, хотел войти в общение с Его душой, быть возможно ближе к Нему.

Что за дело, если бы на него посыпались оскорбления? Для него во всем мире был только один Сын Человеческий. Альцей не находил слова, чтобы сказать Ему все. Не все ли равно? Тот, Кто шел вперед с закрытыми глазами, читал в его сердце…

И желая порвать со своим прошлым, со своими спутниками по удовольствиям, с женщинами, желая облегчить себе исповедование веры, Альцей воспользовался первым же случаем, и когда толпа раздалась, он расчистил себе путь среди стражей и быстрым движением, полным страстного обожания, бросился ко Христу, целуя Его благословенные руки, целуя Его ноги…



Рис. Ольги Бухтояровой

После Голгофы

I

«Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями… насмехались над Ним».

Ср. (Мф.27:41)

Первосвященники спускались с горы.

В течение многих часов длились мучения Христа, и лилась Его Кровь, и Сам Он был осыпаем градом насмешек и оскорблений… Первосвященники, фарисеи и книжники не выпускали из рук свою добычу с тех пор, как осудил свою жертву Каиафа…

Правда, перед Пилатом они держались вдалеке, мешаясь с толпой; но потом, когда совершилось распятие, они приблизились вплотную ко Кресту, подняли вверх свои искаженные ненавистью лица и удвоили насмешки и оскорбления, подстерегая злорадно последний трепет страданий Распятого и надеясь заметить в Нем какой-нибудь признак слабости…

Им было мало мук бичевания, мало разодранных рук и ног Праведника, мало обагренного кровью от терновых игл святого чела… И целая туча обидных оскорблений неслась к Умирающему, покрывая Его, словно облаком позора и бесчестия.

В этот день начальники израильские старались вознаградить себя за долгое молчание. Они молчали, когда молодой Пророк увлекал за Собой толпы народа, когда по Его следам шли ученики знаменитейших учителей израильских. Тогда Он был им страшен и опасен. Но теперь, когда Он умирал, призывая на помощь Бога, Который, казалось им, покинул Его, они могли без опасения наслаждаться Его мукой и усилить Его страдания своими насмешками.

Их было много тут, около Креста, князей и первосвященников… Евангелие не упоминает имена их, и это является указанием, что вся тяжесть преступления не ложится на того или другого современника Христа, имена которых[79] мы знаем из Талмуда[80] или от Іосифа Флавія[81].

Преступление падает целиком на известный класс людей, которых Евангелие называет «первосвященниками и старейшинами израильскими». Все они находились тут… Зачем?

Правда, бесчувственность была свойственна им…

Уважению к смерти и страданию, этим священным вещам, должен был научить нас только Христос.

Много времени прошло, пока это уважение проникло в наши нравы и законы, до такой степени оно было сначала чуждо нам, людям. На раболепном Востоке или в пышном Риме мало заботились о человеческой жизни. Никто не смущался при виде страданий, как бы жестоки они ни были. Только в Иерусалиме несколько знатных и благородных женщин приготовляли опьяняющий напиток, чтобы заглушить всякий проблеск сознания у осужденного в момент казни. Это самое вино, приготовленное из алоэ и смирны, Христос не пожелал выпить, не пожелал им облегчить Свои муки…

Многие сбегались на зрелище казни, как на праздник. Известно, что когда долго остававшийся спокойным народ нуждался в насильственном отвлечении от чего-нибудь его внимания, ему предлагали для увеселения кресты распятых, костры, мучения рабов, отдаваемых на съедение зверям на арене цирка…

Эта наклонность к жестокости доходила до всяких ужасов, до позора, до всевозможных слабостей. Народ был беспощаден к побежденным, к рабам, к беднякам, к язычникам, которых Равви называл «проклятыми».

За немногим исключением душа древних была чужда состраданию, и Тот, Кто первый произнес таинственные слова любви и милосердия, искупал их в эту минуту на Кресте. Мы должны были встретить на Голгофе бесчувственность, даже жестокость… Но откуда столько ненависти? Откуда столько злобы и насмешек в течение долгих часов?

Проходящие злословили Его, кивая головами… *(Мк.15:29)*. Они оскорбляли Христа, но проходили мимо.

А первосвященники, книжники и фарисеи оскорбляли Его и продолжали стоять у Креста!.. Их ненависть была верна, как любовь, даже крепче иной любви, и сопровождала Жертву до могилы. Ведь многие другие были так же распяты, и их оставляли умирать спокойно.

Почему же, откуда столько ожесточения накопилось против Христа?

Прежде всего, это была месть начальников народа Пророку. Он осмелился нападать на избранное сословие людей, Он обличал преступления священников и фарисеев. В их ушах слышался еще шум ударов бича, выгнавшего продавцов из храма. Они все еще слышали жгучие, позорные слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, что уподобляетесь гробам окрашенным… Горе вам, вожди слепые!..» (Мф.23:13-14, 16, 27).

«Этот Реформатор был, конечно, не прав, обличая их в лицемерии, скупости, гордости.

Несчастье, которым Он им угрожал, обрушилось на Него Самого. Своей осторожностью они сумели избежать его»…

Так рассуждали фарисеи…

Осуждение Христа было делом рук старейшин и начальников израильских, и теперь они наслаждались своим делом. Какой урок для невежественной толпы! Теперь она еще более преклонится перед ними, испуганная и подобострастная…

И потом, это инстинктивное стремление грубых душ — унизить, опозорить, уронить всякое превосходство. Этот Иисус, светлый и кроткий, никогда ничего не требовал для Себя… Первосвященники и фарисеи были смущены сознанием, насколько Он превосходит их всех. Как! Выше «праведного» Иссахара[82]?! Выше великого первосвященника Каиафы?! Нет, нет!.. Инстинкт обманул их, в эту минуту они имели точное доказательство этого и поздравляли себя.

Он был не выше их — Тот, Кто приближал к Себе грешников, Кто принимал их и вкушал пищу с ними, Кто говорил о мытарях, блудницах и проклятых, что они предварят[83] в Царствии Небесном…

Какая ложь, какое безумие! Теперь с каким наслаждением они созерцали Этого Человека на Его настоящем месте. Не только для них, но даже в глазах грубого населения Он не был невинно осужденным и оскорбленным, но лишь понесшим справедливое наказание за Свои преступления.

Месть лицемерия, месть низкой души, месть за былой, испытанный страх в особенности, — вот из чего была соткана ненависть их.

И все же — это Существо было облечено тайной!

Как ни упрямы были, как ни закоренели в своей гордости священники, разве не трепетали они перед веянием чудес Христа. Разве не смотрели они с изумлением на хромых, которые ходили, на слепых, которые прозрели, на параличного, лежавшего 38 лет близ купальни храма, которого привыкли видеть каждый день и который исцелился по одному слову Его?!

Разве не замерли они от чувства непобедимого ужаса, когда неделю тому назад, по слову Христа, Лазарь, уже начавший разлагаться в гробу, встал и вышел из него со взором, еще погруженным в загадочный мрак смерти?



Рис. Маргариты Мальцевой

Они сказали тогда:

— Этот Человек совершает колдовство.

Но кто же среди них мог воскресить мертвого даже колдовством?

При известии о взятии Иисуса многие задрожали, многие встали с мест перед Каиафой, услыхав ужасные слова: «Я — Сын Божий!»

Они закрыли себе лица, но с ужасом чувствовали сквозь одежду, сквозь непроницаемый покров плоти серьезный, глубокий взгляд Осужденного, проникавший в сердце, заглянувший в глубину души… И положение вдруг разом переменилось. Дрожали они, как осужденные, несмотря на свои крики, а Он оставался спокойным, как Судья. Некоторые, вплоть до событий на Голгофе, не имели полной уверенности, что они могут, наконец, расправиться с Ним. А что, если Он ускользнет из их рук на пороге храма, как бывало прежде?..

Они мало-помалу ободрялись по мере того, как жизнь Мученика уходила вместе с Его Кровью, потому что, несмотря на все их ожесточение, никакое страшное бедствие не поразило никого. Чем сильнее раньше был страх, чем радостнее ликовали они теперь, насмешливо крича Ему: «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет с Креста, чтобы мы видели, и уверуем!» (Мк.15:32).

Христос не сошел с Креста.

Никто не чувствовал, сколько неземного и божественного было в Его спокойствии, в Его молчании…

Но человек устает от всего, даже от наслаждения мучить своего врага. И теперь все первосвященники спускались с горы.

Мрак окутал землю, думали, что начинается гроза; ужасающий ветер вихрем гнал темные тучи, собирая их бурыми массами на запад. Затем ветер стих, наступила грозная, полная ужаса ночь — невидимая ночь душевного греха и смерти, окутавшая мраком людей и предметы.

Священники ускорили шаги, так как близился час вечернего жертвоприношения. Внутренне они дрожали, но продолжали смеяться и громко разговаривать.

Возвращались они самым длинным путем, направляясь к мосту против самого храма.

В красноватом мраке ночи сверкали молнии, озаряя ослепительным светом богатое здание из мрамора и золота. Одиноко, затерянный в тучах, высился пышный и фантастичный храм. Каиафа долго созерцал это святилище — гордость Иерусалима. Он успокаивал себя, помышляя о массивном и несокрушимом здании, и громко произнес вслух:

— Этот Человек сказал: «Я разрушу храм Божий».

Все засмеялись презрительным смехом. В самом деле, как смешно: «Храм, разрушенный Этим Человеком!»..

Человек там, на горе, умирал на глазах у них во всей Своей беспомощной слабости, а храм процветал в своем пышном мраморном наряде горделивым образом.

Каиафа ободрился. Красота храма, его храма, наполняла душу первосвященника гордостью, смех же спутников только еще более подкреплял.

Высоко подняв голову, он произнес нараспев слова из ветхозаветных пророков:

«Да воскреснет Бог и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его» (Пс.90:1). *«Да падет на голову нечестивого зло собственных уст его. Да падут на него горящие угли. Да будет он повержен в огонь, в пропасти, так, чтобы не встал»* (Пс.139:10-11). *«А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от Меня постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне… Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто»* (Иез.44:15, 23).

Каиафа дал прекрасный урок народу.

Он, чистый, святой, с сердцем, полным зла и коварства, с руками, обагренными кровью, поднимался по священным ступеням храма. А там, на месте казни, между двумя разбойниками, умирал Иисус, осужденный, проклинаемый, отверженный Каиафой и его приспешниками иудейскими первосвященниками…



II

Было уже около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце.

Лк.23:44-45.

Но далеко не все сохраняли, подобно Каиафе, такую наглую самоуверенность. Мрак наступившей ночи был ужасен. Менее испорченные души начали беспокоиться и задавать себе вопросы.

Крики народа утром — «Кровь Его на нас и на детях наших», — еще звучали у них в ушах. Эта Кровь, не несла ли она с собой возмездие? Не вопияла ли она к Богу, как кровь праведного Авеля? Не надвигался ли в этих страшных тучах грозный гнев Господень? Не пришел ли Он на помощь Тому, Кто призывал Его?

Авдия, сын одного из первосвященников, с ужасом спрашивал себя об этом, вспоминая невольно то неземное величие, каким веяло всегда от Распятого Иисуса.

Сначала Авдия из трусости и низости смеялся вместе с другими; но когда глаза его устремились на скорбный лик Страдальца, он вдруг умолк и более уже не раскрывал рта. Взор Авдии встретился со взором Умирающего, и трепет стыда проник в сердце вместе с Его взглядом, полным небесного света и неземной чистоты, увы! — столь далекой от него самого, грешного Авдии…

Можно было подумать, что недоступный для человека лучезарный свет Господень окутал измученного Страдальца. Авдия опустил глаза. Когда он спускался с горы вместе с другими, то под влиянием какой-то таинственной силы обернулся. Широко раскрытые очи Распятого посылали ему прощение и призыв…

Авдия закрыл лицо краем своего плаща.

В храме смятение дошло до крайних пределов. Люди, подавленные, испуганные мраком, били себя в грудь и стонали. По приказанию Каиафы, дрожавшие от страха левиты собирали народ, толпившийся у дверей. Чтобы ослабить впечатление ужасающих знамений, — этого мрака, этого страшного солнечного затмения, которого никто не предвидел и не мог объяснить, — левиты начали обычную службу: молитвы, жертвоприношения, пение псалмов.

Под портиками храма учителя и первосвященники продолжали спорить. Иоханан бен Заккай, молодой доктор, не скрывал овладевшего им волнения.

Талмуд сообщает нам, что сорок лет спустя, при осаде Иерусалима, Иоханан со страхом вспоминал все ужасы этого дня. Он смущал своих слушателей в этот день, при порывах бури, глубоким пониманием Священного Писания и прибавлял к их ужасу свой ужас…

Отвечая на задаваемые вопросы, Иоханан вдруг умолк, подобно детям Израиля перед тенью Моисея: по ступеням храма поднимался сам Гамалиил[84]. В толпе произошло движение. При виде великого учителя головы склонялись, подобно тому как зрелые колосья клонятся под порывами ветра.

Обыкновенно знакомые и незнакомые люди с почтением приветствовали «славу Иерусалима». Сегодня все кланялись ему дрожа. Никто не мог сравниться с известностью и репутацией этого внука Гиллела Великого.

«Прими изгнанника, — говорится в Талмуде, — как приняли бы самого равви Гамалиила».

Учитель не остановился при этих знаках почтения. Он шел, углубленный в свои мысли, словно блуждая в невидимом мире. Эта двойственная жизнь была привычна ему. Иногда на уроках с сотнями учеников, восторженно слушавших его, ему случалось забываться в долгом молчании, которого никто не смел прервать. Полагали, что в такие минуты он прислушивался к легкому веянию крыльев ангелов… Позаимствовав у греков ширину воззрений, терпимость, утонченное понимание красоты, Гамалиил сохранил обычную на Востоке спокойную бесстрастность. Никто не помнил, чтобы на лице его выражался когда-либо страх, торопливость или какое-нибудь желание. Можно было думать, что все человеческое осталось у порога его души, как пески пустыни у края оазиса Эн-Гадди[85].

Когда умер его младший сын, никто из близких или друзей в течение 40 дней не был допущен в роскошное жилище Гамалиила. По окончании положенного законом траура учитель промолвил только: «Воля Божия…»

И с тех пор никогда имя сына не произносилось его устами.

Другие наставники приводили его в пример своим ученикам, считая Гамалиила великим, потому что он казался им выше обыкновенных людей с их слабостями.

Мрак, землетрясение, все ужасы этого дня еще усилили его обычную серьезность, хотя в нем не было заметно ни малейшего волнения. Фарисеи и старейшины окружили Гамалиила, молодые люди столпились около него. По обычаю, никто не задавал ему вопросов, и так как он продолжал молчать, вокруг него начались споры и прения.

Тон этих пререканий был полон горечи. Фарисеи и саддукеи быстро доходили до взаимных оскорблений. Члены этих всегда враждовавших сект обвиняли друг друга в низостях, упрекали в низменных и мелких расчетах… К соглашению они приходили только в одном: когда осыпали оскорблениями свою Жертву, издеваясь над ее позором и бесславной смертью. Беспорядочные голоса споривших прерывались пением девяносто восьмого псалма, псалма пятницы, отрывки которого слышались сквозь нежное пение арф и тихую жалобу флейт.

От времени до времени сюда доносился шум возбужденной, беспокойной толпы, невнимательной к священной службе, несмотря на все усилия левитов.

Слышались отрывочные вопросы в толпе, восклицания, крики:

— Иуда? Тот, который предал Его?..

— Он бежал…

— Куда? Куда?

— Я видел, как сегодня утром на пороге святилища он бросил свои деньги.

— Центурион там, в притворе язычников…

— Он сказал…

— Где он? Где он?

— Там, у дверей…

— Он сказал: «Этот Человек воистину Сын Божий»…

— Он богохульствует! Берегитесь первосвященников!..

— Первосвященников? Они сами теперь струсили! Бог за Него, Бог их покинул!..

И над всем этим шумом царило искреннее, полное тоски признание народа: «Мы пролили кровь Праведника!..»

Лицо Каиафы исказилось гневом. Он подбегал то к левитам, то к страже.

— Да заставьте же вы замолчать этих проклятых!

— Зачем? — спросил Гамалиил.

Надменный взор его встретился с бегающими глазами Каиафы.

Дрожавший Авдия подошел к учителю:

— Это был Праведник… — тихим голосом произнес молодой священник.

Гамалиил одобрительно кивнул головой и положил свою руку на бледное чело священника. Когда Авдия хотел о чем-то спросить его, ему бросилось в глаза, что учитель отдалился от всех, кто окружал его, и, стоя в стороне, смотрел на запад, где стояло в кровавом ореоле солнце, лишенное лучей. Обыкновенно бесстрастное лицо Гамалиила было подернуто тенью скорбной тоски.

Его губы шептали что-то, и Авдия разобрал, что учитель обращался к Господу, Который Один только мог понять его.

Авдия слушал.

— Что это за Человек? Известно ли это будет когда-нибудь в этом смешении света и тьмы? На этом глиняном сосуде был отпечаток создавшего его горшечника. Но сколько раз Ты отбрасывал и разбивал Свое творение? И никто не смел спросить: почему? Разве Ты отдал в жертву их жизнь? Разве Тебе достаточно охранять их могилы? Моисей — Твой избранник… и Ты Сам похоронил его, не допустив его войти в землю обетованную… Ты похитил Илию в огненной колеснице, но после каких бедствий!.. Иона напрасно умолял Тебя защитить его от отчаяния, прежде чем Ты прославил его перед Ниневией… Этот Распятый также призывал Тебя, Ты не ответил. Но землетрясение… Но мрак… Но этот священный ужас…

— Смерть преступников… — насмешливо прервал его Каиафа.

— Со смертью ничто не кончается, — проникновенно возразил Гамалиил.

Великий первосвященник не понял…

— Нет, бояться нечего, — беспечно ответил он, — по соглашению с правителем Пилатом приняты все меры предосторожности.

А в эту минуту на Голгофе уже умирали казненные с разбитыми членами. Но их смерть, таким образом, не осквернит первых часов субботнего дня… Каиафа заранее уговорился с Понтием о возможных случайностях, чтобы этим предупредить всякий порыв изменчивых в настроении своем иудеев. Так как можно было предвидеть, что друзья Иисуса возьмут Его Тело, то гроб

было решено запечатать, и поставить у него стражу.

— Ты не будешь больше бояться? — спросил Гамалиил у Авдии, с жестом отвращения указывая на первосвященника Каиафу. И, не ожидая ответа, он отделился от толпы и направился в конец западной части храма. Никто не смел последовать за ним, и он долго стоял там, углубившись в свои мысли.

Горизонт потонул во мраке. Тучи тяжело нависли над высохшей землей, но Гамалиил видел только то, что хотел видеть, и мало-помалу оттуда, с уединенной горы, где во мраке высились три креста, донеслось до него веяние любви, безграничного умиления и доброты.

Лицо учителя смягчилось. Он сам не знал, почему его охватило какое-то неземное спокойствие. Временами он слышал жалобные звуки арф, словно голос плачущего ребенка. Этот голос проникал в его сердце, вытесняя гордость, внешнюю лживость, затрагивая священную глубину человеческой нежности, часто близкой к горячим покаянным слезам. В то время, как он смотрел вниз, немой и неподвижный, волнение его возрастало, невольно сближая далекое прошлое его жизни с настоящим, как будто бы сын его плоти и крови умер во второй раз.

Гамалиил был не один. В тени колонн, скорчившись, стоял на коленях какой-то простолюдин, галилеянин, который при виде незнакомого ему Гамалиила пытался сдержать свои рыдания. Горячая натура его не могла подавить волнения, и он скоро опять принялся плакать и молиться. Во всякую другую минуту своей жизни Гамалиил, быть может, взглянул бы на плачущего и прошел бы мимо, — так велико было расстояние между простыми неучеными людьми и учителями израильскими. Потом, по понятию фарисеев, страдание являлось ведь всегда законной расплатой за грех. «Кто согрешил: он или его родители?» (Ин.9:2), — спрашивали они Иисуса про одного несчастного. Гамалиил двинулся под величественную тень колонн храма, приближаясь к плакавшему человеку. «Почему, — думал он, — этот галилеянин стоит вдали от Креста и смотрит на Него? Страдание было ниспослано чистому и праведному Существу, и это страдание навеки позаимствовало у невинности что-то священное и внушающее уважение»…

Гамалиил склонился к галилеянину.

— Отчего ты плачешь?

К нему повернулось грубое лицо с ясными и наивными глазами, полными слез. Протянув руку по направлению к той точке горизонта, куда они оба смотрели, галилеянин пробормотал:

— Я отрекся от Него.

Учитель инстинктивно отодвинулся назад. Но это было мгновенное движение: на этот раз он не отвернулся со своей обычной надменностью…

От Кого отрекся этот человек? Гамалиил не спросил объяснения. Он понял и ответил тихим голосом, едва владея собой:

— Это была Светлая Душа… Утешься… Он видит все… Он простил тебя…

— Я знаю, ах, я знаю это! — пылко возразил Петр. — Когда Он проходил среди Своих палачей, Он повернулся ко мне… Он взглянул на меня…

Казалось, это воспоминание разрывало ему сердце. И Петр снова разразился рыданиями,

горько раскаиваясь и выливая свою тоску в молитве…

III

И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу.

(Мк.15:38).

Было половина третьего, час, назначенный для жертвоприношения. В храме зажгли все лампады. На алтаре всесожжений горели под открытым небом три положенные обрядами огня. Но как глухо раздавались звуки под сводами храма в этот вечер, так лампады и огни не давали полного яркого света. Они лишь мигали трепетно и зловеще краснели во мраке, словно большие пятна крови на траурном покрывале. Первосвященники торопились покончить со службой и уйти домой.

«Закрой дверь за собой, укройся, пока пройдет гнев Предвечного» (ср. Ис.26:20), — так говорил когда-то ветхозаветный пророк. И как жаждали теперь все они укрыться за этой дверью, почувствовать себя далеко от грозного и невидимого врага!..

Те, кто должен был священнодействовать, подошли к алтарю, одетые в свою льняную одежду, с босыми ногами. Согласно обычаю, тот, кто должен был совершать обряд вечером, выбран был по жребию. Эта обязанность приходилась не более одного раза на долю каждого избранного.

Назначен был Авдия, сын Азера. Имя его глухо прозвучало во мраке. Как?! Именно в этот день, ознаменованный такими странными явлениями?! В тот самый день, когда Авдия в первый раз заседал в синедрионе и осудил Этого Человека на смерть?! Авдия проклинал случай, доставивший ему этот почет. В нем росла и подавляла его бесконечная тоска…

Ах! Если бы он был призван священнодействовать в другое время, когда ослепительный свет опьяняет его и заносит его в область дивных мечтаний, когда все в нем поет и цветет, как на благоухающей горе, где слышится песня любви!.. А под этим мрачным небом его собственная душа казалась ему пустынной и печальной, как долина смерти…

Первосвященники окружили алтарь. Прислужник рассеянно зарезал ягненка, которого ему подали связанным и распростертым. Кровь текла ручьем. Жалобное блеяние пронизало мрак и перешло в хрипение. Никто из присутствующих не отдавал себе отчета в совершившемся обряде. Никто, быть может, кроме Авдии, не подумал о Том, Кто умер там, на горе. Все торопились покончить и уйти.

Тогда Авдия со своими помощниками приблизился к алтарю всесожжений. Один из них взял углей из огня, который горел с западной стороны, и положил их в золотой сосуд. Другой положил в кадильницу ладан, составленный из 13 ароматных трав, посыпанный солью и амброй. Все трое вместе направились к святилищу, поднялись по ступеням и переступили двери из кедрового дерева, над которыми виднелась гигантская виноградная лоза — символ израильского народа: каждая гроздь этой лозы сделана была из массивного золота и достигала высоты человеческого роста. Ветви висели и казались во мраке руками огромного чудовища.

Первосвященники проникли теперь в святилище, — длинную мраморную залу с золотыми украшениями, великолепную, торжественную и холодную… На северной стороне был стол с хлебами предложения, на юге светильник с семью свечами, из которых 5 были зажжены; немного впереди, перед Святая Святых, стоял алтарь кадильный, окруженный венцом и обложенный золотом, как и все в святилище.

Один из участвующих поставил сосуд с угольями на алтарь кадильный и передал Авдии кадильницу с ладаном. Потом оба помощника ушли, все время пятясь задом, и Авдия остался совершенно один. Таким образом обряд исполнялся ежедневно. Стоя лицом к лицу со Святая Святых, первосвященник ожидал сигнала. Волнение его с минуты на минуту возрастало. Он весь дрожал и устремил блуждающий взор на завесу, вышиной в 60 футов, которая отделяла его от самого страшного места на земле. Душа Израиля скрывалась в этом священном месте, где заключен был союз Иеговы с народом. Еще ребенком будущий первосвященник мечтал как о высшем счастье, как о вершине своего священнического служения, о той минуте, когда он взойдет по ступеням святилища. Эта минута для Авдии настала.

Почему же он полон ужаса?

Утром и вечером новый первосвященник обыкновенно возжигал ладан на алтаре, и ни один из них, конечно, не трепетал так, как он. Не трепетал ли Авдия подобно великому первосвященнику, который только один раз в год, в полном одиночестве, проникал во Святая Святых? Конечно нет.

Между тем только один великий первосвященник переступал завесу, отделявшую его от места, где парила тень Иеговы. Взгляд Авдии был устремлен на роскошную завесу голубого, белого, красного и пурпурного цвета, этих излюбленных красок храма. Вышивки на завесе были так тяжелы, что равви говорили на своем высокопарном языке, что сто человек не в силах поднять ее. Пламя свечей в светильнике колыхалось, отражаясь на арабесках причудливой игрой света и тени.

Авдия видел только Его глаза, этот бездонный кроткий взор глаз то открывавшихся, то закрывавшихся в последней борьбе со смертью…

Вдруг лампада с западной стороны замигала и погасла. Дрожь пробежала по телу Авдии.

Что случилось? Разве нужен мрак повсюду?

Он не смел повернуться, чтобы узнать, чье дуновение пронеслось по святилищу, и задыхался в этом трагическом сумраке.

Боже! Как долго тянулось это ожидание! Он не мог, не мог более выдержать встречу с Невидимым. В первый раз сомнение поколебало его обычную самоуверенность. Как?! Он не хотел ничего знать и добровольно заблуждался. Он начал даже обвинять себя в том, что не выполнил положенного законом поста и однажды нарушил покой субботнего дня, выйдя за дозволенные границы.

Нет! Теперь довольно лицемерия, довольно притворства: он не мог заглушить внутреннего голоса… Страдания его уменьшатся, если он взглянет себе в лицо. Сегодня, в этот самый день, он осудил из страха, из угодливости перед другими, Человека, Который, быть может, не был виновен. Конечно, Авдия был молод, и совесть его сильно протестовала, несмотря на все компромиссы окружающих. Он пытался рассеять свои мысли. Разве когда-нибудь наверняка знали, кто был виноват или прав? Конечно, Он был не таков, как другие, Он не походил на других. Но разве невинные всегда непохожи на других людей? Потом, Этот Человек не сказал ничего в свою защиту… Для чего же пытаться спасти тех, которые не просят, чтобы их спасали? Он, вероятно, умер. Умер ли?..

О, сколько ужаса в этой мысли!..

Авдия думал: «О чем помышлял Он в Своем молчании? Что видел Он вдали от нас Своими

широко открытыми глазами? Разве небесный свет не озарял Его лицо? Но тогда…» Авдия зашатался и ухватился за рога алтаря. Трубы прозвучали три раза. В храме царило молчание. Был девятый час. Авдия поднял руку, чтобы посыпать ладан. Рука его замерла на месте. Волосы зашевелились на голове. Перед ним огромная завеса, схваченная невидимой рукой, закачалась и разодралась сверху и донизу. Господь нарушил договор с Израилем, святилище опустело!..

Авдия, рассыпав уголья, бросив ладан, убежал, совсем растерянный, и исчез во мраке. Народ видел, как он шел, шатаясь и бормоча от страха несвязные слова. Невероятное известие передавалось из уст в уста: «Завеса в храме разодралась! Союз Бога с Израилем разрушен!» Это был протяжный крик ужаса.

Правда ли это? Возможно ли? Первосвященники окружили его, закидали вопросами, что он видел? Что слышал? Леденящая, холодная ночь еще прибавила смущения к общему смятению и беспорядку. Но Авдия, бледный, как смерть, стоял в центре группы. Его умоляли, спрашивали со всех сторон. Иоханан бен Заккай, знаменитый учитель, произнес имя Захарии. Да! Уста Авдии раскрылись со стоном ужаса:

— *«Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедр твой.*

Рыдай, кипарис; ибо упал кедр, ибо величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес.

Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их; слышно рыкание львов молодых, потому что опустошена краса Иордана!» (Зах.11:1-3).

Молнии сверкали беспрерывно. Земля содрогалась глубокими толчками, скалы тряслись и рушились. В долине Гиннома гробы раскрылись, тени блуждали около могил… Не вернулся ли мир к первобытному хаосу? Не наступил ли конец его?

Гамалиил остановил Авдию, выслушал его несвязную речь и серьезно сказал:

— Иди к Нему.

Бедняки, толпившиеся у дверей храма, стонали и вопили. Первосвященники и фарисеи потеряли обычную самоуверенность.

Народ молился и просил прощения:

— Мы согрешили. Мы пролили Кровь невинную!..



Рис. Ольги Бухтояровой

— Иисус… Иисус Назорей!..

Одно это имя слышалось повсюду, повторялось всеми и звучало в устах пришедших с Голгофы, которые укрылись под портиками храма, как в надежном убежище.

Авдия пытался отделиться от толпы и пошел вперед с глазами, полными ужаса. Он повторял, как сумасшедший: «Мне нужно снова увидеть Его, мне нужно сказать Ему…» Он остановил по пути одного из людей, возвращавшихся с Голгофы и бивших себя в грудь… Спросил: придет ли он вовремя? Туда, на гору… К Нему…

Человек ответил Авдии:

— Он умер!..



Сквозь мрак

I

Странный был этот вечер…

В мертвенном сумраке толпились тени, и леденящий ужас, казалось, исходил от каждого угла, тонувшего во мраке… Между тем было не поздно: шел шестой час. Субботний день приближался со всеми обрядами и предписаниями учителей, которые делали этот день, не

имеющий равного себе среди других дней, невыносимым. Его должны были встречать пением, как царя, пышным убранством, как невесту.

Гамалиил возвращался в свое жилище среди шумной толпы, собравшейся на праздник и также подавленной ужасом при виде неожиданных знамений и торопившейся укрыться в домах или в палатках. Огромный Ксистос, эта общественная площадь Иерусалима, был покрыт разбитыми шатрами; у городских ворот расположились целые отдельные племена, представлявшие какое-то оригинальное смешение со своими осликами, козами и верблюдами…

Это было необычайное движение, торопливое бегство к надежному убежищу, скопление народа в узких улочках, где спешно заканчивались приготовления к субботе.

Каждая группа торговцев помещалась в специальном квартале. Здесь мясники резали скот под открытым небом, с важными движениями и жестами священнослужителей; там продавцы цветов, овощей и плодов; далее — в кожаных флягах стояли изысканные вина, привозимые караванами из Сидона и Тира; потом — целый базар редкостных тканей и, наконец, еще дальше — лавочки благовоний, где горели и благоухали пастилки из ладана и сандала…

Но пение, крики, движение толпы взад и вперед не могли оживить этого вечера Низана[86]. Иллюминованный храм напрасно посылал прекрасному Иерусалиму целые потоки яркого света. Его лучи делали мрак еще ужаснее и тяжелее, и в пустынных кварталах, казалось, какие-то неясные тени скользили и расплывались в подавляющей массе мрака.

Гамалиил возвращался серьезный и задумчивый. Страшные вопросы толпились в голове великого учителя. Он не торопился отвечать на них сам себе, пытаясь собрать воедино беспорядочные мысли, подобно тому, как пастухи собирают свои стада, чтобы вернуться домой. Его глаза не замечали живописного зрелища, какое представляла собой собравшаяся на праздник толпа.

Правду говоря, он смотрел лишь внутрь себя и едва мог узнать и приветствовать проходивших Шанинаха-бен-Доза, который когда-то молился за его умершего, долго оплакиваемого сына; Иосифа Аримафейского и Никодима. Оба последние были членами синедриона и спешили к воротам Ефремовым. Мимоходом Никодим бросил ему:

— Мы придем после…

После чего? Гамалиил не спрашивал, а только ответил кивком головы. Теперь он переступил порог своего жилища. Комната Сусанны выходила на второй двор, выложенный мрамором, без всяких цветов и растений. Только один сад из роз, принадлежавший раввинам, был терпим в Иерусалиме. Струя воды с мелодичным шумом падала в большой бассейн. Часто Гамалиил слышал легкие шаги Сусанны, сопровождаемые музыкальным рокотом воды. Он видел ее, эту воплощенную грацию и чистоту, сквозь сетку прозрачной воды. Но в этот вечер вся поэзия, вся радость жизни, казалось, умерли навсегда, а с ними даже и она, эта единственная радость его сердца…

Вернулась ли Сусанна? Да, она вернулась. Гамалиил понял это внутренним чувством. Все цветы, которыми было украшено его жилище ради кануна Пасхи и последующей пасхальной недели, — нарциссы, анемоны, стебли лилий, — все увядали теперь перед дверями.

Гамалиил почувствовал, что, возвращаясь с истерзанной душой в этот убранный по-праздничному дом, Сусанна схватила эти цветы со столов, из кубков и с жестом отчаяния выбросила их вон. Боже мой, как должна была она страдать! Он так хорошо знал эту глубокую

душу и высказал бы ей самое живое участие, если бы увидал ее.

Но Сусанна не знала его, и, уважая ее молчание, ее печаль, Гамалиил, не говоря ни слова, прошел мимо комнаты молодой девушки. Он достиг террасы и проник в Алиа — залу, куда он обыкновенно удалялся, чтобы заняться делом и помолиться. Драпировки были приподняты, и он видел Иерусалим, утонувший в сумерках, затихший и далекий, словно в сказке. Над Маовитскими горами реяли пурпурные облака, там и сям виднелся широкий сноп света, падавший от храма, ослепительно яркий на площадях и отсвечивавший на белых кубообразных домах и на куполах крыш...

Странная ночь... В подобную же ночь, ночь Низана, Авраам был охвачен ужасом от великого мрака, когда Сам Предвечный приблизился к нему и заговорил. В такую же ночь, в Вавилоне, таинственная рука начертала на стенах пиршественного зала великие письмена: все это произошло как раз в те же числа, которые приходятся на Пасху. Мысль Гамалиила блуждала около этих воспоминаний, не особенно останавливаясь на них. Ужас Авраама не леденил его крови. Ничья рука не появлялась на мраморе стен, где свет от высокой лампады из кедрового дерева боролся с тенями...

Но чья-то Невидимая Рука схватила завесу храма и разорвала ее сверху и донизу. Гамалиил думал об этой тайне, и ужасные часы пережитого прошлого сглаживались перед тем, что он пережил в этот день. Оставшись теперь наедине с собой, далеко от всех, Гамалиил переживал по очереди все события дня: свои напрасные усилия, чтобы вырвать Иисуса из рук первосвященников, осуждение, крики ненависти и сожаления этой изменчивой толпы, казнь Иисуса и Его смерть.

Раскаяние Петра глубоко тронуло его, скорбь Сусанны проникла глубоко в сердце, низость и клеветничество синедриона покрыли лицо его краской стыда. Увы! Сомнение, скрывавшееся под маской равнодушия, которую он привык носить, мучило его больше скорби и стыда. Кто был Этот Иисус? Кто? Гамалиил и призывал Его, и отталкивал. Загадкой стоял перед ним окровавленный образ Человека, Которого он видел на завороте одной из улиц; эти закрытые глаза, полные небесной кротости. Образ Иисуса еще более усиливал тайну. Кто из людей так самоотверженно отдавал себя? Кто говорил, кто страдал так, как Он, и проклинаемый, и в то же время благословляемый народом, что являлось признаком противоречия между людьми?..

Гамалиил сжал свой лоб обеими руками. Ему хотелось подавить это, быть может, мимолетное волнение и глубже вникнуть в его причины. Он развернул один из драгоценных манускриптов Священного Писания, самая ценность которого делала его недоступным для простолюдина, и начал искать пророчество, о котором говорил бен-Заккай. Гамалиил отложил в сторону пророка Даниила, пророка Исаию и вспомнил, что эти слова принадлежат пророку Захарии. Дивные слова, которые произнес Авдия: *«Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои!»* Он проследил до конца XI главы, где они были написаны: *«И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою... И они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал Мне Господь: "Брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня!" И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника»* (Зах.11:12-13).

— Но это Иуда Искариот, — пробормотал Гамалиил. О нем сейчас говорили в храме. Он продал Учителя за 30 сребреников и бросил эти деньги на поле святилища. И первосвященники спорили о том, как употребить эти нечистые деньги.

И, как дитя в беспомощной тоске, Гамалиил повернулся к изображению Гиллеля Великого[87], заставив себя думать о столетнем предке, который говорил медленным и уверенным голосом,

без боязни и смущения. Он хотел, чтобы прогнать всякие сомнения, припомнить все, переданное ему отцом. Из Вавилона Гиллель пришел учиться в Иерусалим и начал работать, чтобы прокормить старую мать.

Покончив с дневной работой, он слушал поучения наставников. Однажды, когда он не мог внести, благодаря скудному заработку, входную плату, его нашли без чувств, в снегу, под окном синагоги: он приютился там, несмотря на холод, и слушал речь учителя через решетку, не желая пропустить урока. Сколько раз видел Гамалиил в мечтах великого предка замерзавшим под снежным плащом, которого он не чувствовал в своей страстной жажде истины…

— Истина… Что такое истина?

Гамалиил произнес громко эти слова. Сегодня утром они сорвались с губ Пилата. Действительно, до самого дня смерти Христа эти слова, как жалоба человеческого сердца, неслись к Нему так же, как и во все время Его земной жизни; это была жалоба не страдающей плоти, но скорбящей души.

«Почему Он не ответил? — раздумывал Гамалиил. — Истина в Нем. Почему не сказал Он ее Пилату?»

Как! Все сводилось у него к этому тяжелому воспоминанию? В Гамалииле заговорила фарисейская гордость. Кто же был, наконец, Этот Галилеянин, Этот простой работник? Гамалиил едва понимал его язык и с досадой подумал, что манускрипт книги Иова, единственная версия, которая имелась у него, была зарыта им под одну из плит двора, так как он не желал, чтобы этот грубый язык, на котором говорил Иисус, пачкал своим прикосновением еврейские свитки и греческие манускрипты. Конечно, он не знал тогда, что Иисус говорил на этом простонародном наречии. Что ему делать теперь? Гамалиил заставил себя внимательно проследить тексты, написанные вдоль всей молитвенной залы, — слова Писания или знаменитейшие изречения Гиллеля. Тень фарисейского тщеславия омрачила чело учителя, его внутренняя тоска становилась невыносимой. Омрачая светлые, высокие души, тень спускается на них, усиливая в то же время их страдание. Гамалиил громко прочитал горделивое изречение Гиллеля, опьяненного своей наукой, своей славой, своим титулом «князя Нази», совершенно забывшего свое прошлое.

«Мы, наставники, благословенные Богом люди, они, невежды и народ, — проклятые…»

Почему ночь была так темна сегодня? Ясные светлые ночи Востока, напоминающие белизну опала, казалось, навсегда покинули землю, опозорившую себя Его Кровью…

Все было тихо, только ветер носился в узких улицах и жалобно завывал во мраке. Кто жаловался и стонал так? Чей голос доносился в этих коротких дуновениях, звенящих и острых, как звон стали? В печальной тишине одиночества страдание Гамалиила усилилось с той остротой, которую приобретают ночью навязчиво преследующие мозг мысли:

«Они… проклятые…»

Значит, и Человек из народа, умерший на Кресте?..

Гамалиил не мог кончить. Буквы настойчиво блестели на белизне мрамора. Эти буквы лгали… Гиллель лгал… Гамалиил вырвал из его власти свою душу и пробормотал: «Иисус благословенный, Иисус благословенный…»

Эти слова облегчили его, как будто бы кольцо сковавшей его фарисейской цепи сломалось, освободив душу от наследственной гордости и поставив его лицом к лицу с истиной.

II

Кто-то шел. Гамалиил встал, стараясь подавить трепет всего своего существа. По террасам к нему подошли Иосиф Аримафейский и Никодим, оба искренние друзья и союзники учителя. Оба были бледны и расстроены. Их одежда издавала еще сильный запах смирны. С ласковым почтением приветствовали они Гамалиила и молча сели около него, как это было в дни смерти и похорон его единственного сына. Вокруг них все, казалось, спало под этим мрачным, беззвездным небом в мертвом молчании, которое ветер пустыни заполнял своими стонами. Слова медленно сходили с уст этих обитателей Востока. То, что они хотели сказать, таилось еще внутри, среди священных воспоминаний. Скорбь их не выражалась грозовым ливнем, не разразилась порывом бури, но переполненное сердце выдавливало слова медленно, капля по капле, словно воду редких источников в безграничном океане пустыни во время дождей.

— Когда мы встретили тебя, — произнес, наконец, Никодим, — мы шли с Иосифом на Голгофу. Все кончено теперь…

— Я знаю, что все кончено уже три часа тому назад, — прервал его Гамалиил отрывистым тоном. — Не говорите мне, не говорите мне больше о Его муках!..

На серьезном лице Гамалиила отразилось столько волнения, что из глаз Никодима, до сих пор пытавшегося сдержаться, брызнули слезы.

— Я не буду говорить о Его смерти, — продолжал он, — хотя мы могли сосчитать все раны и язвы на Его теле. Но, несмотря на Него, особые размышления пришли мне в голову. Я видел Его страдающим, я слышал Его и скажу, что величайшие страдания Его не были только страданиями плоти…

— Как ты добрался к Нему? — прервал его Гамалиил. — Защитил ли ты Его от первосвященников? Оскорбляли ли они Его могилу так же, как Его Крест?..

— Я отправился к Пилату, — ответил Иосиф, — как только узнал, что Иисус умер, и попросил у него Тело. Он позволил взять Его. Мы с Никодимом пошли и похоронили Его.

— В самом деле? — недоверчиво спросил Гамалиил. — Как переменились времена с той ночи, когда ты, Никодим, тайком ходил к молодому Учителю! Ты боялся опозорить свою репутацию, и разве эта боязнь покинула тебя перед ужасом Его смерти?

— Ах! — вскричал Никодим, — как хотел бы я навсегда изгладить эти воспоминания! Все эти предшествовавшие дни мне хорошо помнятся все подробности, я боролся с собой, я сомневался, я чувствовал себя не таким, как другие. Я пошел к Нему ночью, чтобы никто не знал, особенно опасаясь, чтобы никто из наших не узнал об этом. Ветер выл так же, как сегодня, в узеньких улочках, но небо сияло звездами. Иисус сравнил это с Невидимым Духом, голос Которого мы слышим, но не знаем, откуда он идет и куда уходит. Я сказал Ему: «Я знаю, что Ты — Учитель, пришедший от Бога…» Я предложил Ему свою жалкую, постыдную веру, эту свою исповедь во мраке… Но он не укорял меня… Сколько в нас гордости и ложного стыда!.. Я не бросился тогда к Его ногам, говоря: «Помоги мне! Я верую, но вера моя такая же жалкая, как я сам». Не знаю, почему я не сказал этого, но смерть Его сделала то, что не могла сделать Его жизнь! Я признался в своей вере правителю как бы в возмездие за эту жалкую исповедь во мраке ночи. Мы сняли Его с креста и похоронили. Я не могу простить себе…

— Я никогда не расспрашивал Его, — прервал Гамалиил, слушавший с беспокойным вниманием. — Я действовал ради Его блага, предупреждая и пытаясь вырвать Его из рук врагов. Если бы я уверовал, кто мог помешать мне сказать: «Я верую?»

— Сколько раз впадаем мы в сомнение и смущение! Мог ли бы ты с прежней уверенностью сказать нам: «Я не верю?» — спросил Иосиф с печалью в голосе. — Говори, учитель! Наши познания в сравнении с твоими — детские глупости…

Гамалиил молчал долго, задумчивый, углубившийся в себя пред этими дорогими его сердцу свидетелями его жизни. Минута, которую он старался отдалить, наступила, его мысль должна увлечь за собой их мысли. Эта справедливая и прямая натура поняла и взвесила всю лежавшую на ней ответственность и не испугалась ее. Он высказал все, что видел внутри себя, как сказал бы в великий момент, готовясь перешагнуть порог могилы.

— Никогда еще душа моя не была вне моей власти, как теперь. Никогда не вставала передо мной столь ужасная загадка… Я дрожу. Необходимо иметь великую нравственную красоту, чтобы привлечь небесный свет. Я больше не замечаю в себе этой спокойной уверенности красоты. Многие старые мысли, уже более не мои, не удовлетворяют меня. Никодим, несколько дней тому назад я с презрением сказал тебе: «Ты пошел к Этому Человеку из народа, к Этому невежде». И даже сейчас еще я хотел вернуться к этой дурной мысли. Но я насиловал душу.

— Ты ходил к возлюбленному Избраннику Божию… говорил Гамалиил. — Раньше я говорил вам: «Если это Христос, то Предвечный спасет Его». Слова эти были нечестивы. Никто не знает намерений Господа. Кто может познать пути Божии?..

Через минуту Гамалиил продолжал:

— Я метался под давлением противоречивых мыслей, как лодка без мачты и руля в бурную погоду: мы верим, что Он — Избранник Божий, мы признаем, что Он был Пророк. Но как осмелиться сказать: «Это Христос?» Он ничего не основал и был казнен, как преступник. Ученики Его рассеялись. Дело Его кажется мертвым. Чтобы убедить нас, чтобы доказать нам, что Он был Мессия, что Он выше Илии и Моисея, что Он — ожидаемый Сын Божий, — нужно было что-либо большее, чем Его чудеса. Пророки также воскрешали мертвых. Для нас недостаточно землетрясения, необъяснимого мрака, даже того факта, что Невидимая Рука разорвала завесу храма; все это трудно понять, и даже среди нас многие не знают, есть ли Мессия и придет ли Он когда-нибудь?..

Ветер продолжал стонать в узких улицах. Чувствовалось веяние Духа Божьего, о Котором никто не знает, откуда Он приходит и куда уходит…

Гамалиил продолжал:

— Но этот Свет, исходивший от Него!.. Он Сам был живым чудом. Понимаете ли вы, я хочу сказать, что Он был большим чудом, чем все Его исцеления и чудеса. Когда я увидел Его, все показалось мне суетным, жалким, искусственным. Наши прения и споры об истине казались мне игрой детей, которые бросают камни в звезды. Можно ли носить всю жизнь в себе самом спящее существо? Я спал… Он разбудил меня, внушив мне желание другого света. Этот светлый небесный взор разбивал все готовые формулы, проникал в самую глубину вещей, схватывал вас у самого источника жизни и уносил, как коршун уносит добычу… Нет, как пастырь берет овцу, которую терпеливо освобождает от колючек и терновника, нежно склонившись над ней…

Голос учителя, казалось, доносился издалека и звучал с безграничной нежностью. Он видел Христа, он призывал Его своей внимательной мыслью, он любил Его…

Иосиф полураскрыл губы и едва мог заглушить восклицание удивления. Он проследил весь путь этой души с тех пор, как они говорили о Нем в первый раз за Пасхальной трапезой. Что мешало Гамалиилу присоединиться к ученикам Христа? Ему мешало то обстоятельство, что после слов «это пророк» он не добавил «это Мессия».

Наступило долгое молчание. Гамалиил прервал его, закончив усталым жестом нечеловеческую борьбу души.

— Как похоронили вы Его?

Иосиф рассказал ему в мельчайших подробностях о снятии Тела с Креста и о поспешном помазании Его.

— Он умер уже несколько часов тому назад, — добавил он. — Раны не кровоточили больше, даже эта глубокая рана в боку, которая удостоверила сотника в Его смерти. Я положил руку на сердце, которое не билось. Мы оба, Никодим и я, ничего не видели от слез, застилавших нам глаза, и, мне кажется, Он, Который желал, чтобы Его любили, принял эти слезы. Если бы ты видел, как видели мы Его лицо, истерзанное скорбью, но прекрасное, если я смею так выразиться, божественно прекрасное!.. От него веяло надеждой. Как объяснить это? Все кончено — и ничего не кончено! Он умер, похолодел, сердце не бьется более; я сам положил пучок смирны в глубину Его раны. Я держал руку на Его устах, где не заметно было ни малейшего дыхания. Его тело было так мертвенно-бледно, что, казалось, в нем не осталось ни капли крови. Я имею материальное доказательство Его смерти, я уверен в ней, и сам не знаю, чего я осмеливаюсь ждать, но я жду…

— Где Его могила? — прервал Гамалиил.

— В моем саду, близ Голгофы, я велел вырыть гробницу. Там мы и положили Его. В то время как мы погребали Его, первосвященники спустились из храма, чтобы нарвать в поле трав, которые нужно завтра возложить на алтарь. Наше печальное шествие столкнулось с их веселой процессией, с их пением. Все эти обряды показались мне навсегда покончеными, не имеющими под собой почвы и бессмысленными. Жертвоприношение земли находилось не в их руках, а в наших.

— Ах, разве ты не веришь?

— Подобно Аврааму, Моисею, Он умер… но Он жив!..

— Погоди, — прервал его Гамалиил. — Кто знает, не пройдет ли по нашему пути Предвечный?..

На мрачном небе теперь поднималась луна.

Кротким светом своим она озаряла и людей, и вещи, и заснувший Иерусалим, и отдаленные волнообразные линии гор, сухую землю окрестностей и тихий, молчаливый сад, где почивал Христос сном смерти…



Отчаяние Иуды

I

С той самой минуты, как Иуда предал Учителя, он блуждал бесцельно, наугад, как преследуемое животное. Он убегал и снова бессознательно возвращался по своим следам… Он последовал за Христом издали, затем кинулся к Каиафе, потом к Ироду, ожидая, быть может, какого-либо чуда или возмущения в народе…

Иуда не возлагал надежд на великого первосвященника; как может он упустить свою добычу!..

Но у Ирода, где от Христа требовали чуда, Сын Человеческий, если бы захотел, мог призвать на помощь высшие силы небесные, и они Его, конечно, освободили бы…

Несомненно, ненависть и злоба первосвященников снова нашли бы свою Жертву несколько позднее, но тогда не он бы предал Учителя…

Тогда в ответ на предсказание Спасителя: «Один из вас предаст Меня», — Иуда мог спросить Его: «Не я ли?» Иисус не ответил бы ему: «Ты сказал»…

Ах, если бы кто-нибудь другой предал Учителя, хотя бы Иисус умер, — все равно, только бы не он, а другой!..

Христос не сотворил чуда у Ирода, и за это Иуда возненавидел Его всей силой ненависти. Он мог все сделать — почему же Он не захотел? Он предпочел быть осужденным и умереть. Да,

Он, конечно, предпочел смерть, потому что в этот час одним знамением мог смутить их всех и не сделал этого. Тогда, значит, Ему хотелось умереть… Но зачем же угрызения совести жгут душу предателя? Пусть он, Иуда, предал Христа, но он предал Того, Кто однажды уже скрылся от рук врагов Своих, когда они хотели сбросить Его с высокой скалы вне города…

Он предал Того, кто был Сам Себе Господином и распорядителем Своей судьбы. Тогда в чем же тут преступление? «Ах, Он теперь у Пилата…»

Иуда скользнул в толпу с таким диким, растерянным видом, что дети при виде его прятались в объятия матерей; люди, узнав Иуду, удалялись от него, те самые люди, которые сопровождали его до самого Гефсиманского сада.

В толпе говорили, что правитель колеблется и опасается: он выходил на балкон своего дворца, чтобы переговорить с народом, и возвращался обратно, чтобы допросить Обвиняемого. Пилат всемогущ, он заявил, что не находит в Нем никакой вины, Пилат Его, наверное, освободит. Его супруга посылала к нему с просьбой не делать зла Праведнику, за Которого она пострадала во сне.

Иуда надеется: «Суеверные римляне верят снам и предчувствиям». Но раздается яростный вопль требования смерти, восторжествовавший над всеми колебаниями и опасениями: правитель отдает Его в руки врагов!..

«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: “Согрешил я, предав Кровь невинную”. Они же сказали ему: “Что нам до того? Смотри сам”. И бросив сребреники в храме, вышел…» (Мф.27:3-5).

Но все это не облегчило его, потому что не могло освободить Праведника. Покинутый своими сообщниками, у которых, как всегда это бывает, не нашлось для него ничего, кроме слов презрения, бесприютный, ненавистный Богу, людям и самому себе, Иуда в ужасе стоял перед неизбежным, свершившимся фактом. Вслед за преступлением, когда порыв страстей утихнет, неизбежно следует перемена мыслей, и налицо остается только голый факт, который существует и совершился…

Иуда пустился в путь без цели, без смысла, достиг Еннома, долины мертвых, упал в расщелину скалы. Тут он не увидит больше ничего, не услышит ни одного звука. Мысль его, которую он усиленно старался отвлечь от свершившейся беды, блуждала в прошлом, на том пути, который привел его к преступлению. Его безумие прерывалось светлыми промежутками сознания. Это было нечто вроде страшного затишья, за которым в мертвых пустынях обыкновенно следуют яростные порывы песчаной бури…

II

Подобно другим апостолам, Иуда был избран Иисусом после нагорной проповеди. Он последовал за Учителем, готовый отдаться делу Мессии, как он его понимал: делу блестящей победы над людьми, полного владычества и славы. Но к Христу нельзя прийти как к человеку или как к царю, предложив Ему свои услуги, но не открыв своей души. Услуги человеческие не нужны Тому, Кто ждет от нас только чистой искренней любви… Можно ли хотя на минуту сравнить чувство Иуды, быть может, и искреннее, к своему Учителю с нежной и девственно чистой любовью Иоанна, с наивной верой Нафанаила, в котором не было лукавства, с пламенным порывом Петра и Андрея?

Иуда принес собой свою корыстную и расчетливую натуру. Он слышал о чудесах Учителя,

слышал Его слова о Царстве, которое Он возвещал. Честолюбивая вера в Мессию-Царя, Который восстановит блеск Израильского царства, охватила его, и мы видим, по некоторым вопросам и рассуждениям других апостолов, что многие из них вначале разделяли эту уверенность иудейского народа. В самом деле, что касается этой земной, тщеславной веры, то первые времена Мессии — Иисуса Христа — были для нее периодом радостного опьянения. «Осанна» несметной толпы, радостные крики исцеленных больных, триумфальное шествие среди народа, пророчество и почести, воздаваемые Ему Иоанном Крестителем, — да, это был Царь, Которого они ожидали!

Честолюбивые инстинкты Иуды крепли, надежды его исполнялись. Он займет свое место в новом царстве; его разум и любовь к порядку и хозяйственности уже были признаны перед всеми, так как ему была поручена раздача милостыни и распоряжение всеми временными благами. Потом, когда он сам проповедовал Евангелие в Галилее именем Сына Человеческого, то чувствовал себя облеченным сверхъестественной властью.

Он исцелял больных, он оставался невредим, прикасаясь к яду и гадам. Он увлекал за собой последователей, когда Учитель послал его с проповедью, и это был лучший и высший момент его жизни: даже сами бесы повиновались ему…

— «Иуда? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк.22:48).

Кто произнес теперь эти слова?

Почему эхо отовсюду повторяло их?

Не бесы ли, добычей которых он стал, платили ему за прежнее подчинение? Прошел ли только час или целый век с тех пор, как Христос произнес эти слова, утонувшие во тьме ночи? Иуда не знал…

Для него течение времени остановилось; бессознательным жестом он с яростью отер свои губы. Издали доносились крики, словно шум воды, бьющейся о скалы. Иуда встал, шатаясь, и пошел по долине между скалами и могилами, закрыв лицо судорожно искривленными руками. Снова воцарилось молчание. Иуда снова тяжело упал на землю, под защиту засохших деревьев, не видя и не слыша ничего более…

III

Когда начал он ненавидеть Его?

Недовольство, скорее, ненависть к Учителю, — он хорошо это помнит, — охватили его, когда Христос в первый раз отказался от человеческой славы, скрылся от народа, который в своем опьянении хотел провозгласить Его Царем. С тех пор Иуда стал недоверчив и начал осуждать Его. Зачем терять такой прекрасный случай? Дождется ли Он лучшего? Быть может, Он еще не был уверен вполне в Своем Царстве? Быть может, следовало укрепить Свое влияние, прежде чем вступить в борьбу с живыми силами народа, сопротивлявшимися Ему?

Если Иуда остановился хотя на минуту на этой мысли, то скоро должен был ее отбросить: это постоянное уклонение Христа от всяких почестей и земных триумфов вовсе не было случайностью или расчетливой отсрочкой, нет! В этом сказывалась Его твердая воля, это была резкая черта в Нем, которая с каждым днем обозначалась все ярче. Потом Иисус скрылся от восторженного приема иерусалимских жителей и отклонил выражение любви галилеян. Когда же саддукеи, собравшиеся, чтобы искушать Его, попросили у Него какого-либо знамения с неба, и этим чудом Он мог увлечь их за Собой или, по крайней мере, заставить молчать, —

Христос, щедро рассыпавший Свои дары и не отказывавший в просьбе нищему или бедной женщине, решительно отказался дать какое-либо знамение этому свирепому классу людей…

Презрительный смех саддукеев живым эхом отозвался в душе Иуды. Он начал находить оправдания ненависти врагов Учителя. Он впал в сомнения и начал роптать. Нет, Учитель не был тем Мессией, Которого он ждал, Который должен был восстановить царство Израильское!

Он не был Мессией, этот Человек, проповедующий бедность, самоотречение, прощение: Иуда ошибся, и горечь разочарования росла в его душе по мере того, как пророчества Учителя становились яснее, определеннее, ужаснее. Действительно, вначале Иисус говорил только неясными притчами. Так, когда Он говорил о разрушении храма, подразумевая Свое Тело, никто из учеников не понял Его сразу. Потом шли эти трогательные притчи о Добром Пастыре, отдавшем жизнь Свою за овец, о Царском Сыне, Которого народ желает изгнать, крича: «Мы не хотим, чтобы Он царствовал над нами!..»

Но если можно было не понимать смысла притч Христа, то позднее Он говорил уже точно и определенно. Никто не мог обмануться в смысле слов Его: эти слова возвещали страдание, презрение, смерть.

Каждое из этих слов отталкивало Иуду от Христа, в Котором он разочаровался. Почва, на которой он построил свою жизнь, ускользала из-под его ног, он предвкушал будущее, которое было ненавистно ему, он глубоко проникся этими горькими пророчествами, и здание его веры, его мечтаний разрушилось. Иуда чувствовал отвращение к Тому, Кто разрушил все его планы, он не понимал Его…

Сначала Иуда в душе боролся со своими опасениями, потом начал вполголоса обсуждать их с другими…

Как отчетливо и ясно живет в нем воспоминание о каждом великом разочаровании! Особенно о том, какое он испытал после слов Петра: «Ты Христос, Сын Бога живого!» (Мф.16:16).

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть убиту…

Итак, после Преображения от этого дня до праздника Ваий прошло четыре дня. «Сын Человеческий будет отдан на поругание и биение и распятие… Он будет предан»…

«Предан»! Опять это слово…

И этот шум, доносившийся из Иерусалима, все возраставший и усиливавшийся, казалось, окружавший предателя, — не была ли это уже казнь? Ужели это произошло теперь? Разве не могли отсрочить ее? Хорошо бы подойти и узнать. Ах, если бы он только один раз мог увидеть Его лицо, хотя бы это лицо было окровавлено, хотя бы на этом лице отражался гнев Бога живого!..

Но увидеть бы Его еще раз не так, как в эту ужасную ночь, при свете факелов. Услыхать бы из уст Его что-либо другое, только не эти нежные слова: «Друг Мой». Ах, какие угодно слова, кроме этих! Пусть это будут оскорбления, слова ненависти, упреки, угрозы, проклятия, — только не «друг Мой».

Если бы только Иисус сумел воспользоваться настроением толпы на празднике Ваий, все было бы иначе тогда… Нет, ничего не изменилось бы!

Иуда уже давно не любил Учителя. Не зная, за что уцепиться, утратив идеал души, если можно назвать идеалом мечту о почестях и владычестве над людьми в царстве земного Мессии, Иуда согнулся под тяжестью удара. Он дал волю охватившей его сильнейшей страсти и, раздраженный неудачей, весь отдался ей. Обманутое честолюбие перешло в скупость; и так как он был хранителем денег, то принялся лгать и воровать, чтобы оставить себе что-нибудь существенное от этой исчезнувшей мечты. Каждый отдельный случай только сильнее раздражал его, каждый грех сильнее омрачал его душу.

По мере того, как он чувствовал себя более недостойным, он ненавидел еще сильнее Того, Кто был свят и непорочен. Глубокое разочарование разбитых надежд, обманутых мечтаний; маска лицемерия, которую он носил, чтобы выразить свою преданность и верность, в то время как чувствовал только отвращение; гнев и обида, скопившиеся в душе и искавшие выхода, — все это постепенно увлекало Иуду все ниже и ниже и привело к вечере в Вифании, когда сатана вошел в его душу...

IV

Это обыкновенная история всех предателей. По мере того, как они спускаются ниже, они начинают богохульствовать. Сначала, действуя осторожно, они обвиняют то самое дело или ту веру, которым изменяют.

Они пытаются унизить ее, исказить... Как только они доходят до отрицания ее, то начинают проклинать. Некоторое время они стараются установить соглашение между своей запятнанной совестью и остатками веры. Но как бы в возмездие за измену истине их ожидает на пути постыдное падение. Срывается покров лицемерия, открываются тайные причины, лживые слова обнаруживают свою ничтожность... «Зачем эта расточительность? Можно было продать благовония за 300 сребреников и раздать их бедным...» Нет, нет. Что ему за дело до бедняков. Жаль денег, жаль наслаждений. Вот истинный смысл лицемерных слов. Потом, спустившись ступенью ниже, можно продать Самого Учителя за эту цену. Даже не за эту цену, не за триста, а за тридцать сребреников.

Петр также погрешил против Иисуса. Три раза он отрекся от Него в ответ на слова служанки. Потом он горько плакал, удрученный своей виной, с разбитым сердцем. Он отрекся от своего любимого Учителя!.. Хотя Петр не походил на Иуду, хотя на его долю досталось счастье сознавать, что он непричастен к смерти Иисуса, увы! — все-таки он знал, что прибавил еще более горечи к Его страданиям и смерти своими словами:

— Я не знаю этого Человека.

Когда Петр пришел в себя, он ощутил весь ужас своей вины, как каждый грешник, как первые люди, которые согрешили в раю и трепетали от страха, когда глаза их открылись. Как только Петр осознал всю тяжесть своего греха, он горько заплакал. Он не думал бежать, не старался удалиться от Учителя. Он не пытался избежать Его взора, когда Иисус, проходя в нескольких шагах от него, обернулся и взглянул на него. Наоборот, — Петр устремил на Господа свои глаза, залитые слезами, зная, чувствуя, что Иисус жалел и верил его скорби.

Ужас, который Петр чувствовал к самому себе, еще усилил это чувство, но с этой минуты он полюбил Учителя еще больше, отдал всю смиренную и робкую любовь свою Тому, от Которого отрекся и Который простил ему.

Душа Петра так разнилась от души Иуды!.. Пылкая, наивная, доверчивая, — эта душа могла пасть и как ужасно пасть! Но из глубины падения она с воплем искреннего раскаяния взывала

ко Христу.

Другая душа, душа Иуды, недоверчивая, жестокая, слишком низкая, чтобы возненавидеть себя, обратила свою ненависть на Того, перед Кем пала так низко.

Между тем Иуда сознавал свое преступление. Угрызения совести охватили его, окружили огненным кольцом, подобно тому, как жестокие дети заключают ядовитого скорпиона в роковой для него огненный круг. Но сердце Иуды ни на одну минуту не забилось прежним чувством преданности Учителю.

Любил ли Иуда Его когда-нибудь? В глубине души мог ли он любить кого-нибудь, кроме самого себя?

Сердце человеческое раскаивается и приходит в отчаяние не под влиянием минутной вспышки или какого-либо отдельного впечатления. Это чувство — последнее звено той невидимой цепи, которую человек кует день за днем, часто сам не сознавая этого…

V

Чем дальше, тем глубже мрак и ужас.

Ужасающая тишина последовала за шумом и криком, которые Иуда только что слышал. Он не думал более ни о чем, не стонал. Это могильное молчание, казалось, воцарилось также в его душе. Солнце скрывалось за тучами, колеблющиеся тени тянулись по земле. Вокруг могил, среди бледных маслин, на белизне нагроможденных повсюду камней, казалось, зияли мрачные ямы.

Не был ли это мрак преисподней? Зловещая долина была полна дрожи и трепета. Бледный призрачный свет прорывался сквозь широкие расщелины грозовых туч, заволакивавших небо. Иуда молча бродил туда и сюда, как безумный, бессознательно ища глазами что-то далекое, ужасное…

Но он ничего не видел, глаза его едва различали высохшую землю кругом себя; скалы или безлиственные деревья стеной закрывали от него горизонт. Иуда припал к земле, потом яростно вскочил и начал бродить. Он добрел до каменистой дорожки, которая в этом месте огибала целый лес скал, и взобрался по ней на вершину.

С вершины он мог видеть очень далеко. С минуту он колебался и вдруг в ужасе закрыл глаза и сразу опять с усилием открыл их. Повернувшись к востоку он сначала искал чего-то взором, потом начал смотреть долго и пристально. Его мертвенно-бледное лицо исказилось, он простер руки, сложил губы, как бы для поцелуя, и шептал:

— «Друг Мой!.. Друг Мой!..»

Душа его утонула в трагическом ужасе этих слов.

Во мраке Голгофы высился крест Христа. Иуда едва ли мог различить в темноте бледное, бескровное тело.

Неопределенная белая фигура, склоненная голова… Но в своем безумии предатель ясно видел окровавленный труп, ему казалось, что он мог сосчитать одну за другой все раны. Призывала ли Жертва Своего предателя? Ожидала ли Она его на границе вечности? Иуда не знал. Но с Голгофы, из глубины могил, из недр трепетавшей земли и из грозного, хмурого неба сыпались

на него слова проклятия:

— Иуда! Поцелуем ли предашь Сына Человеческого?

Волосы встали дыбом на голове предателя, и, несмотря на холод, крупные капли пота текли по его лицу. Он задыхался, словно в припадке удушья, он стонал рыдающими стонами, он рычал во мраке ночи…

Ах, если бы несчастный Иуда призвал Его и с раскаянием взглянул бы на Него, как это сделал Петр! Даже менее того: не нужно было никакого движения, взгляда или призыва. Но если бы в мертвенной пустыне его души промелькнула хотя бы слабая тень любви и раскаяния!

Нет, сердце его осталось запечатанным… Иуда долго стоял неподвижно, с распростертыми руками, не имея сил оторваться от ужасного видения. Он стоял так, пока жгучие воды полного отчаяния не затопили его души.

Тогда с дикостью зверя бросился он в вечный мрак смерти…



Пасхальная заря

В окрестностях Иерусалима ночь следующего после субботы дня выдалась тихая, обвеянная нежным дыханием ветерка. На краю горизонта виднелся неясный и отдаленный отблеск света. Трепетно вздрагивали стройные пальмы и гигантские кедры Масличной горы, этого единственного живого пункта среди бесплодной, выжженной солнцем пустыни, окружавшей Святой Город. В эти первые весенние дни смирна, алоэ, корица — нежные растения, издающие сильный аромат — наполняли Священную Землю благоуханием храма.

Вдыхая эти ароматы, люди научились лучше понимать пророков, которые один за другим воспевали таинственные ночные часы древнего Востока, когда ночь рассказывает о блеске и славе Грядущего…

В эту ночь Гамалиил не находил покоя. Суббота, которая, наконец, закончилась, была очень тяжела для него. Он провел целый день на террасе своего дома, неподвижный и задумчивый, оставшись один по уходу членов синедриона. В руках его — свитки Святого Писания, которые остались неразвернутыми. Глаза его были устремлены на Голгофу, пустынную и зловещую,

которая высилась за стенами города. Погруженный в глубокое созерцание, он, без сомнения, видел там вещи, невидимые для других глаз. Глубокая печаль омрачала его лицо, и, когда наступил час вечерней молитвы, Гамалиил инстинктивно и бессознательно прочитал псалом, не имевший никакого отношения к торжественному дню субботы. Глухим голосом, едва шевеля губами, он повторял: *«Боже мой! Боже мой! Зачем Ты меня оставил?..»* (Пс.21:1).

Эти самые слова Голгофа слышала из других Божественных уст… (Мф.27:46).

Если Гамалиил сделал первый шаг, если он признал Иисуса пророком и возлюбленным Сыном Божиим, то беспокойное сомнение охватывало его каждый раз, когда он задавал себе вопрос: принадлежит Иисусу или нет великий титул Мессии? Вокруг этого вопроса сосредоточились теперь все его размышления и терзания. Он мог бы выразить этот вопрос словами Иоанна Крестителя: *«Ты ли Тот, Который должен прийти, или ждать нам другого?»* (Мф.11:3).

Этот вопрос был задан Крестителем Иисусу Христу в начале Его земного служения, когда рассказы о чудесах и слух о первых обращениях достигли пустыни, где жил Иоанн Креститель. Позорная смерть Иисуса, исчезновение учеников, скорбный вопль на Кресте, который Гамалиил невольно смешал с псалмом субботы, — все это увеличивало сомнения и колебания его фарисейской души, убаюкиваемой грезами о славе и гордости.

Возможно ли было решить вопрос, поставленный в этом новом освещении или, вернее, в новом мраке?

Между тем, как ни остра была эта загадка, как ни безотрадны и тяжелы были ее исследования, Гамалиил не мог оторвать мыслей от неотвязного вопроса. Этот Мессия был страстным ожиданием целого народа, смыслом его жизни, его надеждой, воплощением торжества и красоты. Всякое заблуждение по этому поводу было бы ужаснейшим проступком и повлекело бы за собой еще более ужасные последствия. Целые тысячи лет подготавливали это пришествие Мессии, и тысячи лет, несомненно, пройдут после Него.

Гамалиил думал, не без страха, что весь узел истории человечества заключался в обещании, данном Адаму на заре его дней, что Израильский народ поддерживал в себе, как священный огонь, великую надежду на исполнение этого обещания. После Него мир уже не будет таков, каким был до Него, он будет озарен иным светом, управляем другим скипетром: *«Восстань, Иерусалим, и возжигай огни. Вот Царь твой грядет во всей Своей красоте!»* (ср. Зах.9:9).

Вся история еврейского народа, длинный ряд милостей и даров Божиих, ошибки, наказание, раскаяние, прощение, судьи еврейские, цари, пророки, — все это подготавливало постепенно пришествие Мессии и ожидало только Его. Поистине, был ли для Израиля какой-либо более животрепещущий вопрос, чем тот, которым занят был в этот момент ум Гамалиила? И что делало этот вопрос еще острее и мучительнее, так это то, что страшное пришествие Мессии должно было проявиться в каждом отдельном человеке еще особым и внутренним способом.

По словам Иисуса, один человек, сообразно своим наклонностям и внутреннему складу, все поймет и прозреет, другой будет слеп, один будет взят, другой оставлен… Разве эти слова не оправдались?

Каиафа в своей слепой ненависти был уверен, что, погубив Иисуса, он совершил дело Божье. Наоборот, Иосиф, Лазарь, Никодим, члены синедриона или ученые, как Гамалиил, день ото дня становились все увереннее и убежденнее, несмотря на свои сомнения. Наконец, что уже ближе всего касалось его, Гамалиила, его собственная сестра Сусанна обрела источник света в этом Кресте, который для него еще продолжал тонуть во мраке.

Сусанна!.. Иногда Гамалиил заходил к ней. С тех пор, как ее унесли без сознания с Голгофы, насильно вырвали из мрака девятого часа, молодая девушка постоянно плакала, как Рахиль, и не хотела утешиться. Напрасно кроткий и ученый равви Гамалиил пускал в ход всю свою нежность, стараясь ее утешить и понять, — она даже не слышала его. Он не мог сказать ей тех единственных слов, которые она желала услышать, — слов веры и надежды… С горечью сознавал Гамалиил свое бессилие, и чувство, похожее на гнев, охватывало его и кипело в душе. Он завидовал молодому Учителю, Который называл Себя Сыном Божиим и Своей трагической смертью оставил в душах человеческих целые бездны и скорби, и страдания!

Мрак еще продолжался, но суббота давно прошла. Гамалиил был свободен и мог располагать своим временем. Он не мог более выносить своей бессонницы, уединения, бездействия и слез Сусанны и вышел из своего дома. Куда направлялся он? Гамалиил не сумел бы сказать. Правильными и сухими ударами звучали его шаги по узким мраморным плитам. Это был единственный шум, нарушивший великую тишину ночи, и этот шум, казалось, стучал в его висках и раздражал его. Какая же надобность была ему убегать от людей, как он бежал от самого себя? Почему он колебался, не зная, по какой дороге ему идти, и нерешительно ходил взад и вперед? Почему, вопреки усилиям, выбрал он эту улицу, а не другую? Почему он шел медленно, склонив голову, по дороге, по которой три дня тому назад следовал Осужденный? Почему остановился он, когда заметил темневшие пятна, резко выделявшиеся на яркой белизне мрамора? Почему он трепетал от ужаса, бормоча слова жалости, когда согнулся до земли и с тоской смотрел на кровавые следы?

Правда, он скоро выпрямился. Уверенным и важным жестом он поправил носимые на лбу и на левой руке филактерии[88] с выгравированными на них еврейскими буквами. На филактериях были написаны тексты из книг Исхода, и Гамалиил старался укрепить свои мысли этими текстами. Он гнал от себя навязчивое воспоминание и повторял по-еврейски: *«Слушай, Израиль, Господь Бог наш Господь един есть»* (Втор.6:4).

Он упорно твердил эти слова, как бы желая бросить вызов противнику, которого не смел назвать. Хотел ли он защитить Бога Авраама, Исаака и Иакова от вторжения другого Бога, до сих пор неведомого, Который мог присвоить Себе все почести и обожания, ревниво охраняемые Иеговой?

Тяжелые башенные ворота сторожили выход за городские стены, и дорога сворачивала в сторону. Гамалиил направился по узкой каменистой тропинке, ведущей на Голгофу. Он шел по ней довольно долго. Проходили часы, а он ничего не замечал. Между тем в воздухе чувствовалась предрассветная свежесть. Нежные, девственные отблески зари осветили сухую землю. Но Гамалиил, совершенно равнодушный ко всему внешнему, продолжал бороться внутри себя против завладевших им мыслей. Он думал:

«Если бы я только мог видеть Его не в толпе, а один на один, и говорить с Ним, как Никодим. Я спросил бы Его: “Что скажешь Ты о Себе Самом?”»

Вдруг Гамалиил остановился. Воображение нарисовало ему Христа, среди судей и палачей отвечающего им: «Я — Сын Божий».

И величие этого ответа в такую минуту, когда Христос знал прекрасно, что умрет, если произнесет эти слова, наполнило душу Гамалиила священным ужасом. Он сделал несколько шагов вперед, говоря вслух:

— Это правда. Он думал тогда, что Бог избавит Его. Теперь, когда Господь оставил Его умирать без помощи, если бы Он, — хотя это невозможно, — мог бы слышать меня, то уже не сказал бы,

наверное: «Я — Сын Божий». Что же сказал бы Он? Как спрашивать у человека, что он думает о себе самом? Если даже искренность его не подлежит сомнению, то разве не может он поддаться невольному заблуждению относительно себя и своего назначения? Сколько людей обманывались так!

Между тем доверие Гамалиила к молодому Пророку было настолько сильно, что он охотно спросил бы Его, как спрашивал некогда Иоанн Креститель:

— Ты ли Христос?

Ученый был уверен так же, как Креститель, и даже больше, что Иисус в чистоте Своей кроткой души сказал бы только истину и не принял бы незаслуженных почестей. Почему же за все три долгих года Его служения Гамалиил не поговорил с Ним один на один?

Ах, если бы он мог сделать это теперь!.. Как радостно выложил бы он перед Иисусом все свои противоречивые, смутные мысли!..

И снова древние предрассудки проснулись в душе учителя и начали протестовать против одолевавшего его смущения. Гамалиил силился собрать вместе и ясно выразить все свои возражения:

— Разве Сын Божий мог быть подобным нам человеком, жить нашей жизнью, ходить взад и вперед и разговаривать с людьми, смешиваться с толпой? Было ли это достойно Его совершенного Существа? Что говорят пророки?

Невольно внутри него какой-то голос ответил:

— Предвечному угодно путать наши понятия, мы слепы относительно Его предначертаний и путей… Он начертил Свое произведение гигантскими буквами, которые мы своими близорукими глазами умеем разбирать только отчасти и не можем сочетать вместе. Так было и с Посланником Божиим, о Котором пророки говорят, что Он был последним из людей Человеком скорбей и страданий, как бы отпрыском, внезапно вышедшим из засохшей земли, и в то же время Мессией, Царем, владычество Которого распространится до границ отдаленнейших островов, и враги Его будут подножием ног Его. И вернет Ему Господь престол Давида, отца Его. Не подразумевается ли здесь духовный престол? Подобное толкование, конечно, будет возвышеннее и достойнее Его.

Но упрямый учитель вслух возражал сам себе:

— Если Он пришел, чтобы освободить нас от ига римлян, то должен ли Он был снизойти до народа, до толпы простых людей? Или должен был остаться среди избранников народа, среди учителей мысли и знаний? Вопрос решается сам собою. Какой обычный путь для подчинения себе людей? Для простолюдина это успех, для нас же — неоспоримый факт, что Бог во всей Своей мудрости отдает должное мудрецам.

Гамалиил снова остановился и продолжительно вздохнул, как бы удовлетворенный тем, что нашел это торжествующее возражение. Но торжество его продолжалось недолго. Внутренний голос снова заговорил:

— А если это действительно Он? Должен ли был Он на пороге вечности одеться в человеческие лохмотья, которые мы называем богатством или славой? А все наши знания, наша наука — не лохмотья ли так же? Можно ли представить себе Сына Божия оспаривающим ту или другую систему, когда наши величайшие учителя повторяли, стоя уже у дверей могилы, что нет

ничего лучше молчания? Разве не было понятно Его смирение, Его добровольное отчуждение от нас? Подобает ли Мессии, чтобы Его называли богатым или бедным?

Гамалиил оживился и говорил громко и сильно. Теперь он находился на последних склонах Голгофы, неподалеку от вершины.

При неясном свете зари зловеще вырисовывался покрытый Крест Иисуса. Скорбным жестом Гамалиил протянул дрожащие руки к этому символу пустыни, который получил теперь новый смысл и значение, как благословение и божественная надежда.

— Ах, если бы Иисус слышал меня, если бы Он мог услышать меня, я крикнул бы Ему: «Доказательство, вот оно доказательство, что Ты обманул нас, что Твоя божественность была одной мечтой! Если бы Ты был Сын Божий, Ты не явился и не исчез бы, как мечта, не успев создать ничего основательного, не оставив ничего позади Себя. Мог ли Ты так умереть? Умереть, как раб, осыпаемый насмешками народа! Умереть покинутым Богом и людьми! Все наши надежды, все, что смутно назревало в наших душах и толкало нас идти по Твоим следам, — все это умерло на Кресте вместе с Тобой! Умерло!..»

Гамалиил беспокойно ходил взад и вперед. Он отдал бы все на свете, чтобы положить к Его ногам свою веру, омытую слезами. Быть может, он держался слишком далеко, благодаря своему фарисейству. Быть может, благодаря своей гордости, он только издали чувствовал присутствие Божие.

Воспоминания о словах и чудесах Иисуса, угрызения совести, вся необъятная тоска Гамалиила, все это столпилось теперь у этого деревянного Креста, запятнанного Его Кровью, подобно тому, как у смертного ложа любимого существа внезапно встают сквозь слезы горькие воспоминания и сожаления, и тоска...

Но вместе с этими мертвыми воспоминаниями мир не спускался в его душу. Гамалиилу казалось даже, что Тот, Кто умер, вызывал его на беспощадный поединок, посмеиваясь над его мудростью, его аргументами и доказательствами, побивая каждый довод более глубоким и проникновенным доводом, подобно тому, как там, на краю горизонта, сияние зари погасило все звезды, одну за другой, возвещая появление еще невидимого, но победоносного солнца.

Сердце Гамалиила как бы успокоилось на мысли об этой непрестанной борьбе; он нашел в ней какое-то особенное наслаждение, словно воспоминание или призыв Того, Чья душа, согласно верованию евреев, витала еще на границах земного и загробного мира. Перестав спорить с самим собой, Гамалиил весь отдался воспоминанию и начал молиться:

— О, если Ты слышишь меня, ведь Ты не захотел бы, чтобы я верил в Тебя только потому, что мое сердце смущается, созерцая там, внутри себя, сияние Твоего юного лица? Ты не захотел бы, чтобы я верил в Тебя, благодаря слезам Сусанны или по примеру Иосифа и Никодима? Даже потому, что Ты говорил так, как никогда не говорил никто... Чтобы отдать Свою душу, нужно нечто большее, чем человеческая нежность, снисхождение или восхищение... Все это годится для человека, но не для Мессии. Не для Господа... Если Ты был Бог, я должен был иметь глубокую, беззаветную веру в Тебя ради Тебя Самого, без всякого постороннего влияния. Смотри: вся моя душа перед Тобой. Она трепещет, она дрожит в этом мраке. Я чувствую, что мы с Тобой одни в этом ужасном поединке, Ты и я; смотри, я отбросил прочь все мое прошлое, все воспринятые мною мысли, любовь и ненависть, все то, что было в глубине и на поверхности моего существа, — я сбрасываю все это с себя. Моя душа обнажена и девственно чиста перед Господом, как в прежние дни, когда Он создал ее Своим дуновением. Я ищу Тебя не для того, чтобы искушать, но чтобы через Тебя познать Истину. О, молю Тебя, брось на меня яркий луч

света из мрака Твоей смерти, если Ты можешь, если Ты меня слышишь!..

Все было тихо кругом, ни один голос не ответил ему…

Гамалиил смотрел, совсем разбитый и удрученный, на молчаливые окрестности, на Иерусалим, тонувший в тумане, весь белый, тихо дремавший на желтой, выжженной солнцем земле.

Он повторил еще раз:

— Все умерло!

Вдруг конвульсивная дрожь пронизала его. Он почувствовал, что не один, он увидел…

Гамалиил закрыл глаза и схватился обеими руками за голову, не имея сил, не желая видеть этого… Но непобедимая сила заставила его отнять руки и смотреть.

В нескольких шагах от него, на том месте, где высился Крест, стоял Христос. Это не была тень или призрак, а Он Сам, Иисус Назорей, в сиянии новой жизни.

Из этого изувеченного Тела исходило какое-то неземное сияние. Но этот окружавший Иисуса неземной свет не изменил Его прежнего вида.

Одну минуту Гамалиил подумал о галлюцинации и пытался избавиться от нее, но по мере того, как проходило время, он чувствовал все более свое бессилие. Рассудок был в полном порядке, он ясно различал все окружающие предметы, видел землю, камни, холмы, синеватую даль Моавитских[89] гор… Вокруг него начиналась обычная суета утра, он слышал пение птиц, блеяние овец, а там, ниже, в траве паслись козы, и звучали песни пастухов. Здесь же — пустынная и обнаженная Голгофа, окровавленный Крест, следы крови на земле и перед ним — живой и лучезарный Иисус!..



Рис. Ольги Бухтояровой

Гамалиил, быть может, желал, чтобы Господь явился ему в облаке, как его предкам, и говорил бы с ним… Чтобы Он призвал его на гору, как Авраама, или послал бы к нему ангела, как Иакову… Все это было бы лучше, чем снова увидеть Того, Кого он считал распятым и умершим три дня тому назад, Чей холодный и неподвижный труп Иосиф и Никодим, набальзамировав, положили в гробницу, вырытую в саду; Того, Чье сердце не билось более под их заботливой рукой и на устах Которого они тщетно искали малейшего признака дыхания.

Среди полного беспорядка и сумятицы мыслей Гамалиил вдруг вспомнил священный текст: «Бог предохранит Его тело от разложения». Он не пошевелился, священный ужас охватил его до мозга костей, он задыхался, утопал в чувстве невыразимой, огромной радости.

Куда девались все важные вопросы Израильского учителя!.. Почему он не предложил этих вопросов Тому, Кого он только что призывал, чтобы дать ему ответ?

Христос стоял спокойный, кроткий, серьезный, как Существо Царственное и вечно Живущее. Несомненно, если бы Гамалиил спросил Его, Он дал бы ему вечный, божественный ответ. Но одно Его присутствие уничтожало все вопросы, Его Воскресение рассеивало все сомнения. Это не был теперь человек, которого можно судить в границах горделивого человеческого разума: это был Господь, Который повелевает и желает. И все, что Он желал, было прекрасно.

Он бросил в лицо миру божественный вызов, все безумие Своих крестных страданий, ужас Своей казни, презрев и величие, и мудрость, и науку человеческого мира для того, чтобы люди верили в Него, в Него одного, без всякой человеческой поддержки, так как Он пришел на землю ради людей и их вечного спасения. Его слова открыли целый мир Его ученикам.

Пример Христа, земная жизнь и смерть, указав им следы Бога, Которого они должны были обожать и любить, в то же время были для них образцом, которому они должны были следовать.

Вот чего не мог понять иудейский разум, пока Иисус не разъяснил им этого. Он снизошел на землю ради Своих верующих, чтобы указать им новый и незнакомый путь. Он шествовал первый во главе Своих избранников по еще неизведанным тропинкам.

После Него ученики должны были продолжать Его дело, бороться, умереть за него, хотя бы это дело казалось им погибшим. Они должны были сеять там, где другие собирают жатву, любить и верить в любовь, несмотря на полное противоречие всего окружающего, несмотря на полную свою заброшенность и на молчание Господа. Должны были отдаться своей миссии до полного отчаяния, до последнего вопля во мраке, посреди враждебного и слепого человечества. Этот путь, казалось, был так печален и тяжел, но вел в невидимый, полный вечного сияния мир, к Нему, подле Него, для Него, и это была такая радость, такое непостижимое счастье.

Гамалиил следовал божественному предначертанию, озаренному ярким светом Воскресения Христа, которое отразилось в нем подобно тому, как всякое изображение ярко отражается в чистом кристалле. Он прозрел, он уверовал… И уверовал потому, что увидел…

Иисус сказал: *«Блаженны не видевшие, но уверовавшие…»* (Ср. Ин.20:29).



Сон Клавдии Прокулы

I

Правитель Понтий Пилат жил в старинном дворце Ирода, расположенном в северо-западной части Иерусалима.

Чужеземцы, стекавшиеся в Иерусалим на праздник, поразились еще издали внушительной массивности здания этого дворца с тремя башнями, огромными стенами и грозным видом крепости, господствующей над долиной с высоты двухсот футов; на западной стороне террасами громоздились роскошные сады, окаймленные зеленью кактусов, алоэ, розовых лавров, — необъятные сады, в которых с большим трудом проведенная вода текла и журчала повсюду светлыми источниками. Вечером, в часы прохлады, когда спадает жар, на берегах этих ручьев бродили ручные серны, а в тенистых уголках, у подножия высоких стен, целые поля фиалок и белого ириса распространяли дивный аромат.

Это был поистине блестящий дворец... Наглая роскошь Ирода выставлялась напоказ повсюду, даже в стенах из кедрового дерева, с инкрустацией из жемчугов и бериллов. Изящные колонны; мраморные портики; драгоценные ткани; искусно выгравированные столы; замечательные лампы, подвешенные сверху, как в храмах, или прикрепленные наверху, на бронзовых подставках; целая масса подушек, портьер, покрывал с роскошнейшими вышивками, которые продавались на вес золота — все это указывало на утонченную, изысканную роскошь, неведомую еще в других странах.

Здесь, в гинекее[90], алебастровые ночники, наполненные кедровым маслом, поддерживали слабый свет в течение всей долгой ночи Низана[91]. Постель из слоновой кости, убранная пурпуром, высилась на пышных коврах, около нее — овальные зеркала, низкие табуреты. На медных подносах стояли пенные кувшины, наполненные тирским[92] вином, печенье из миндаля и роз, варенья и редкие плоды в дорогих чашах и кубках. Рабы усердно поддерживали всю эту роскошь и блеск, презираемые Клавдией Прокулой, супругой Понтия Пилата.

Удивительно было видеть Клавдию в этой роскошной обстановке, так мало подходящей к ней, к ее вкусам и характеру. Чувствовалось, что она совершенно чужда и этому народу, и самой стране. Серьезная, прекрасная, молодая, с надменным взором, с чистыми и резко очерченными линиями рта, вступавшая уже в тот возраст, когда хрупкая красота женщины тускнеет и вянет, такова была Клавдия. И казалось, что она скорее создана для сурового античного Рима, чем для изнеженного и развращенного Востока: она все заимствовала у сильной римской расы, из которой вышла, в которой родилась. Между тем в роскошной комнате не видно было статуй ларов[93], — домашних богов: Клавдия изгнала вон бронзовые треножники, в которых курился фимиам, и даже изящные, из слоновой кости, статуэтки покровительницы домашнего очага, с которыми никогда не расставались римские матроны,

были ею удалены из комнаты. Говорили, что она увлекалась культом Невидимого Бога и забросила все божества и языческие символы.

В этот час Клавдия Прокула сидела на чем-то в виде стула, так как не выносила восточного обычая возлежать на подушках или коврах и повсюду расставила подобные седалища. Глаза ее блуждали, не останавливаясь ни на чем. Она была спокойна, но так бледна, что ее можно было принять за одну из статуй, которые покоились на гробницах, там, внизу, в римской равнине.

Клавдия отпустила своих женщин. Со вчерашнего вечера она избегала своего пурпурного ложа, на котором обыкновенно спала спокойным сном. Теперь если она и засыпала на несколько минут в тишине ночи, то вдруг просыпалась и вся трепетала от дрожи. Можно было подумать, что она боялась снов, которые могли присниться ей... Наконец, желая победить свое дремотное состояние, Клавдия Прокула встала, набросила на свои заплетенные в косы и высоко подобранные на затылке волосы вышитое золотом покрывало, похожее на надетую на ней тунику, и, пройдя несколько ступеней, спустилась в сады.

Была уже вторая стража[94] ночи. Луна обливала своим холодным светом грациозные и стройные пальмы, сквозь причудливые вырезы листьев бросала тени на траву, на мрамор узких аллей. Легкий ветерок шелестил нежную листву деревьев, принося с собой откуда-то издалека благоухание нарда.

Клавдия Прокула ходила взад и вперед в тишине ночи неуверенным шагом, вздрагивая при малейшем шуме, пугаясь отдаленного крика филина, доносившегося из Долины Мертвых[95]. Эта прогулка продолжалась долго, до тех пор, пока шум, производимый ликторами[96], не предупредил ее о прибытии Понтия Пилата. Тогда она замедлила шаги.

Дворец-крепость быстро озарился светом факелов. На этом красноватом фоне резко выделилось выбритое лицо прокуратора, его короткие волосы, его тога, прикрепленная дорогим аграфом[97] на плече. Понтий Пилат возвращался из крепости Антония, которая господствовала над храмом и где он любил укрываться во время праздников; из боязни какого-нибудь возмущения и мятежа в народе там всегда находился римский гарнизон.

Но вот уже второй раз, что он запаздывал до глубокой ночи и возвращался домой под утро, быть может, желая избежать встречи с Клавдией.

Она направилась к мужу и настигла его в тот момент, когда он переступал порог атриума. У него вырвался удивленный и недовольный жест при виде жены.

— Привет тебе, Клавдия Прокула! — сказал он.

II

Понтий Пилат сел на каменную скамью, тогда как Клавдия осталась стоять перед ним. Он, насколько мог, откладывал объяснение с женой, которого ждал и опасался. Но это было необходимо: тем скорее надо было покончить с ним. Пилат хорошо знал благородный характер Клавдии. Она выскажется сразу и не будет возвращаться к этому вопросу с жестокой мелочностью женщины, которая способна измучить человека и мстить за себя. Он сознавал, что жена превосходит его во всем, и уважал ее, причем к чувству гордости примешивался еще какой-то суеверный ужас.

— Привет тебе, божественная, — повторил он и привстал, протягивая к ней руку.

Клавдия отшатнулась с отвращением, словно прикоснувшись к нечистой вещи. У нее вырвался скорбный крик:

— Итак, ты отдал в их руки Назорея? Он умер, благодаря тебе?!

— Я имел несчастье не угодить тебе… Но твоя высокая мудрость поймет меня, когда ты узнаешь все. Что мог я еще сделать? Час за часом я докладывал тебе все подробности. Сначала я пытался избежать роли судьи над Ним, я отправил Его к Ироду, узнав, что Он подлежит суду тетрарха[98]. Ирод прислал мне Его назад, одев в шутовское платье, и я заявил народу, что ни Ирод, ни я, мы не находим Его достойным смерти. Потом я предложил отпустить Назорея, сопоставив Его с Вараввой, настоящим негодяем, который не мог интересовать народ, так как совершил много убийств среди подобных себе людей. Я думал, что указав на добрые дела, которые совершил Один, и на все зло, содеянное другим, я дал возможность ученикам Иисуса спасти Его, вызвав волнение в народе, как это было несколько дней тому назад, когда они кричали «осанна» и устраивали процессии с пальмовыми ветвями. Нет, я плохо знаю этих людей. Когда первосвященники захватят в руки добычу, они ни за что не выпустят ее. Они разослали повсюду в народ своих шпионов и требовали Варавву. Что можно было сделать тут? Я велел наказать Назорея, чтобы они успокоились, видя Его раны. Дал им крови, которой они жаждали. Они все-таки вопили, требуя Его смерти, и озверели еще больше. Ты видишь, Клавдия, я употребил все средства, которые казались мне практичными. Даже я позаимствовал у них обряды и формулы: я вымыл руки на их глазах и произнес непривычные для меня слова: «Неповинен я в Крови Этого Праведника» — для того, чтобы поймать их на их собственных обрядах. Нет, они не слышат ничего, не понимают ничего в точных выражениях, в прямо поставленных вопросах! Это вечно легкомысленные умы! Я спрашиваю книжников, старейшин и священников: «Что Он сделал вам?» Они отвечают мне уклончивыми фразами, недомолвками: «Если бы Он не был виновен, мы не отдали бы Его в твои руки». Я не спрашивал их об этом!.. Он Сам, Назорей, когда я сказал Ему: «Разве Ты не знаешь, что я имею власть распять Тебя и имею власть отпустить Тебя?», Он Сам ответил мне: «Ты не имел бы этой власти, если бы тебе не дано было свыше». Разве я доискивался происхождения моей власти? Дана ли она мне Юпитером или Меркурием? Возможно ли, чтобы это интересовало Человека, Которого я могу или отпустить на свободу, или отдать в руки палача?

— Ты сам говоришь это, — гневно прервала его Клавдия. — И в этом твое преступление! Ты мог освободить Его, ты должен был сделать это, потому что ты знал, что Он невиновен.

— Невиновен? Известно ли когда-нибудь наверное, кто виновен и кто невиновен? — небрежно возразил Пилат. — Ясно, что Он казался мне совсем безобидным. Все взводимые на Него обвинения не выдерживали критики. Это было нагромождение нелепостей вроде того, например, что Он хотел разрушить храм в три дня! Если Он сказал так, то это чистая бессмыслица — все эти слова о храмах…

Рука Пилата указала вдаль, на фантастичные громады здания, купавшиеся в лунном свете.

— Говорили, — продолжал Пилат, — что Он запрещает платить подать кесарю. Это обвинение уже серьезнее, но сами же обвинители не поддержали его. Наконец, Он называет Себя Царем и Сыном Божиим. Я хотел бы, чтобы наши друзья-римляне были свидетелями при обвинении какого-нибудь римского гражданина в таких нелепостях и слышали бы, что за это требуют его смерти! Они только пожали бы плечами, как сделал я. Быть может, они приказали бы этому человеку отказаться от своих титулов, даже нет, не отказаться, потому что Назорей позаботился прибавить, что Царство Его не от мира сего. Вот и все! Здесь же этот народ, эти подонки земли, требуют крови и смерти.

— Ты был там, чтобы защитить Его, — холодно возразила Клавдия. — Ты говоришь о нашем Риме. Рим послал тебя сюда как представителя его высокой мудрости не для того, чтобы унижать эту мудрость перед еврейским народом своей беззаботностью и низостью…

— Одну минуту, — нетерпеливо прервал ее Пилат. — Как римский прокуратор, я заявил им, что все их обвинения не стоят ничего. Это правда. Но священники, которых я принимал накануне, когда они приходили ко мне просить солдат, чтобы схватить Назорея, поведали мне нечто другое и более беспокойное. Этот Человек проповедует презрение к благам жизни и рассказывает невероятные истории. Он смущает народ Своими предсказаниями и притчами. Так, Он говорит, что человек, одевавшийся при жизни в пурпур и бархат, обречен на адские муки и единственно лишь потому, что одевался и жил роскошно и не заботился о нищем, лежавшем у его дверей! Этот нищий, наоборот, не имея ничего за собой, кроме своего нищенства, попадет за это в рай! Он проповедует, что тот, кто потеряет жизнь, снова найдет ее, что нужно жить, не заботясь о своих интересах, как живут растения и птицы, что князь сего мира уже осужден, что кто хочет идти по доброму пути, тот должен оставить отца, мать, детей и следовать за Ним. Наконец, Он уверяет, что нужно иметь сострадание ко всему и ко всем без различия: и к простым людям, и даже к дурным женщинам…

— Каким образом научит Он меня состраданию? — пробормотала недоуменно Клавдия, и вся ее языческая душа сказалась в этих словах.

— Может ли разумное общество руководствоваться подобными идеями? — продолжал Пилат, казалось, не слышавший слов жены. — Суди сама. В государстве такие люди, скорее, вредны, чем полезны.

— Понтий, — серьезно произнесла Клавдия, — Он начал тебе казаться таким только тогда, когда упомянули имя царя Тиверия. Твои боги ждали от тебя этого осуждения. Возможно, ты сделал все, что мог для Иисуса Назорея, но потому, что это не стоило тебе ровно ничего. Когда ты вошел в суть дела, когда услышал угрозы, ты отступил и предал Его им, потому что испугался.

— А если опасения мои были основательны? — возразил Пилат. — Разве мы уже так уверены в дружбе Тиверия? Знаешь ли ты всю силу ненависти и ярости начальников народа? Они способны и на доносы, и на клевету… Представь себе нас, заподозренных, отозванных отсюда, — ведь так немного надо для этого старика в Капри, — даже потерявших свое звание, состояние, дворец, в котором ты царствуешь, как королева! И все это ради рабочего, простого Человека, Которого они желают убить и, конечно, убили бы помимо меня, заманив в ловушку. Клавдия, где же твоя хваленая мудрость?

Клавдия по-прежнему стояла перед ним, устремив свои горящие глаза на сидевшего и словно умалившегося перед ней человека.

— Несчастный! — вскричала она, оживляясь. — Если уж кто-либо другой должен был покрыть себя Его Кровью, разве обязательно ты должен был это сделать? Итак, ты сознаешься, что роскошь, которой я окружена, это цена Его смерти, и ты мог думать, что я соглашусь пользоваться ею? Или буду жить с тобою? Ты не знаешь меня, ты никогда не знал меня, Понтий! Я только одного этого и просила у тебя! Ты не сделал. Если я просила, умоляла тебя для Него, то также и для тебя самого!

— Для меня? — удивленно спросил Пилат. — Правда, все это было тяжело для меня. Но скоро никто не будет вспоминать об этом… Я забуду об этом завтра же… По крайней мере, я надеюсь на это.

Он продолжал говорить сам с собою, словно желая облегчить свою душу:

— В сущности, Этот Человек интересовал меня. Он говорил странные вещи, загадочные притчи, которые в Его устах были полны красоты и величия. Он говорил: «Я рожден для истины». Думая о тебе, Клавдия, я спросил Его: «Что есть истина?» — и ушел, не дождавшись ответа, под влиянием Его взора, устремленного на меня. Он обладает мужеством, какого я не видел никогда у людей. Он не просил меня, не сказал мне ни одного слова, чтобы я освободил Его. Среди всего шума и яростных криков, требовавших Его смерти, я сказал Ему: «Почему Ты не отвечаешь? Разве Ты не слышишь, в каких преступлениях они обвиняют Тебя?» Я хотел, чтобы Он защищался, но Он хранил молчание. Тогда ты прислала предупредить меня о твоем сне...

— Ах, не говори об этом! — с ужасом вскричала Клавдия, как будто бы ее мысль, помимо воли, возвращалась к тяжелому воспоминанию.

— Значит, сон твой был ужасен? — спросил Понтий Пилат, придав голосу оттенок небрежности. — Какое-нибудь дурное предзнаменование? Какое-нибудь угрожающее нам несчастье? Больше этого? Смерть?

Этот холодный и насмешливый римлянин, который несколько минут тому назад небрежно говорил о Том, Кого он приговорил к смерти, и усталым жестом отгонял надоедливое воспоминание, — этот римлянин дрожал теперь при одной мысли о предзнаменовании, которое тяготело над ним, быть может, угрожало ему, как вооруженная рука, скрытая в тени. Пилат мало верил в своих богов, в будущую жизнь, но он был необычайно суеверен. Впрочем, подобное суеверие было обычной вещью в римской империи, где самые мужественные умы смотрели на сны, как на извещение, посланное непосредственно богами.

Клавдия молчала, словно пригвожденная к месту ужасом, отвечая только жестом на вопросы правителя.

— Говори! Ты знаешь, что я предпочитаю ужасную истину, какова бы она ни была, неизвестности и тайне!

— Я не скажу, я не могу, щадя тебя, Понтий, — произнесла, наконец, Клавдия. Я ничего не говорила тебе до последней минуты. Теперь зло сделано. Мы не можем исправить его. Надо стараться позабыть о нем...

Атриум с мраморными колоннами был залит лунным светом. Понтий Пилат ходил взад и вперед. Тень его причудливо колыхалась на озаренном луной мраморе стен. Он не любил этих ночных часов, когда злые духи охотно посещают людей. Его тоска все росла. Он боялся даже вдуматься в эти предсказания, которых он страшился, как угрозы несчастий; и в то же время он лихорадочно жаждал узнать все.

Пилат привез с собой в Иудею римского астролога, чтобы совещаться с ним о ходе небесных светил и исследовать дымящиеся внутренности жертв. Не проходило дня, чтобы Пилат не спрашивал его. Именно в этот самый вечер он совещался с астрологом в крепости Антония, что и задержало его там до самой ночи. Пилат старался скрыть, насколько возможно, свое суеверие, чувствуя, что жена презирала его за это, и стыдясь, как мужчина, своей непобедимой слабости.

В этот вечер испуганный астролог отказался следить за течением звезд и при исследовании внутренностей жертвы выказал большое смущение.

— Ну же! — настаивал Пилат. — Говори, Клавдия, прошу тебя именем, богов, именем Бога иудеев, если ты в Него веришь более. Этот Человек являлся тебе во сне?

Губы Клавдии задрожали.

С минуту она еще колебалась, но Пилат умолял ее именем Бога живого, и молчать теперь было бы равно богохульству.

III

Страшное сотрясение поколебало стены дворца. Колонны закачались. Все это произошло так быстро, что можно было принять за обман чувств, если бы не крики ужаса стражи, стоявшей у ворот дворца, и часовых, находившихся на улице.

Клавдия тихо произнесла:

— Разве это первое странное явление, которое ты видишь со времени Его смерти? Подождем наступления дня. Я объясню тебе…

— Смотри! Вот и день, — сказал Понтий, указывая рукой на беловатую полосу зари, едва заметную за линией обнаженных холмов. — Ты видела этого Человека?

— Я не знала, что это был за Человек, — серьезным тоном ответила Клавдия. — Мы были в Риме, во дворце цезаря. Император приказал сделать перепись населения и с гордостью говорил о многочисленности своих подданных, сравнивая их с звездами на небе, с песком на морском берегу. И вдруг вошел Человек, одетый в белое. От всего существа Его исходило сияние. Он произнес:

— Все эти люди принадлежат мне.

Август велел выгнать Его, осыпав насмешками. Куда? Я не знаю. Под землю или в отдаленную пустыню. Рим перестал заниматься Им. Здесь, в Иудее, Он ходил, исцелял и говорил о Своем царстве, но выражал это не так ясно, словно это была далекая и таинственная вещь. Он был предан в руки врагов. Его схватили. Это был Иисус.

— Ты слышала, как об этом говорили? — возразил Пилат, наполовину успокоившись. — Это вполне естественно.

— Слушай же, — продолжала Клавдия. — Он спустился с высокой горы, сопровождаемый Своими преследователями и палачами, и направился к кресту, воздвигнутому в Капитолии. Он прошел мимо всего человечества, мимо всего этого мира, который, по Его словам, принадлежал Ему. Широкая борозда ложилась на Его пути. В тот или другой момент жизни Он говорил каждой отдельной человеческой личности:

— Хочешь ли ты предпочесть Меня всему на свете?

И, сообразно страстям и наклонностям человека, это означало: «Хочешь ли ты пожертвовать материальными благами или своею плотью, или своею гордостью ради единственно необходимого тебе, ради Того, Кто олицетворяет в Себе красоту, правду и святость?»

И как странны были различные чувства, волновавшие толпу! Одни удалялись от Иисуса с ненавистью и проклятиями, именно те, у которых Он отнимал их кумир — плоть, или те, которых покидали ради Него, и, наконец, те, которые изменяли Ему из жадности или страха.

Другие в бесчисленном количестве оставались равнодушными, не смотрели на Него и не слушали Его, думая только о своей настоящей жизни.

Наконец, были такие, которые последовали за Ним, бросив все и забыв обо всем. Это — истинно блаженные на земле, которых Он любит и которыми горячо любим. Но каково бы ни было человечество, каждое поколение проходит перед Ним, и ни одно существо не умирает, не услыхав этот таинственный вопрос Христа и не ответив на него.

— Тебя осаждают великие восточные образы, — заметил Пилат. — Когда они овладевают нашей римской душой, то становятся ужасными и неузнаваемыми. Эти слова их пророков: «Предвечный идет», «Предвечный проходит», «Предвечный держит всю массу земли в горсти Своей, как каплю воды»… Ты должна была слышать эти слова около синагог. И совершенно бессознательно ты приложила их к Иисусу, о Котором говорили, что Он Мессия.

Римский прокуратор вздохнул свободнее. У него хватило мужества взглянуть на угрожавшие ему звезды, которые теперь заметно бледнели при нежном свете зари…

IV

— Погоди еще, — настаивала Клавдия. — Я внезапно проснулась; у моих ног, казалось, проходила с шумом толпа людей. Слышались проклятия, вопли ненависти, и я снова упала на подушки в тяжелой дремоте. Этот Человек стоял перед тобой, Понтий! Ты имел власть отпустить Его или погубить. Это был твой час, решительный час, который Он избирает в жизни каждого существа. Ты совсем не жесток, у тебя не дурные наклонности, но ты слаб и боишься потерять материальные блага, которые усыпили твою душу. Иисус Назорей стоял перед тобой, кроткий и сияющий. Он пытался поднять тебя до новой, возвышенной жизни. Он говорил тебе: «Мое царство не от мира сего», чтобы помочь тебе победить искушения плоти и крови. Я видела Его и вижу теперь еще… со словами прощения на устах, Его прощения, которое Он изливал на всех… Он одет в белое и говорит медленным голосом. Длинные волосы разделены на верхушке головы и падают на плечи… Он следит задумчивым взором за каждым твоим движением…

— Да, это Он… — пробормотал про себя Пилат.

— Я умоляла тебя спасти Его и все, что было в тебе хорошего, — сострадание, жажда справедливости, — все это умоляло тебя за Него вместе со мной, — продолжала Клавдия. — Ты колебался, ты испробовал, желая освободить Его, все средства, на которые ты недавно указал мне. А Он? Он ждал, желая знать, сумеешь ли ты подняться выше своей слабости, способен ли ты принести в жертву, несмотря на последствия, истину и справедливость. Ты не сделал этого… Ты предал Его…

Последние слова Клавдии затерялись в рыдании.

— Потом? Потом? — спросил Пилат отрывисто.

— Не вынуждай меня закончить, — умоляла она.

— Тогда Он отомстил за Себя? Не правда ли? Он, быть может, убил меня?

— Ах, больше этого! Ты предал Его врагам, а Он предоставил тебя самому себе. Страшные угрызения совести за соделанное преступление, сначала нечувствительные, все возрастали, усиливались, облегали тебя, как туника, и жгли тебя до мозга костей. Император сместил тебя и заточил в мрачный город, где ты и влачил убийственные дни до самой безрадостной,

безнадежной смерти.

— И я был один? Ты покинула меня, чтобы следовать за Галилеянином и презирать меня? — спросил Пилат горьким тоном.

— Я останусь верной тебе, чтобы следовать за Ним и вымолить тебе прощенье, — ответила Клавдия. — Я говорю с тобой, как язычница, да я и есть только язычница. В Его устах всегда и повсюду слова любви и сострадания… У меня нет такого сострадания. Но ради Него, повсюду, пока ты будешь называться мужем, и я — женой, я буду с тобой.

— Наконец, — с усилием произнес Пилат, как человек, который борется с кошмаром, — все это в будущем. Можно смягчить и умилостивить это будущее, удвоив жертвы богам.

— Жертва богам бессильна, — возразила Клавдия. — Твое имя навеки связано с именем Назорея. Пройдут века, разрушатся царства, империи, города, Рим потеряет свое мировое значение, но ты будешь вечно связан с Ним во все эти долгие века. Ты будешь указывать последующим поколениям на Него, кроткого, окровавленного, с терновым венком на голове и с шутовским скипетром в руках, произнося холодные слова: «Се Человек». Те, кто будут любить Его, почувствуют презрение к тебе, и даже те, кто возненавидит Его, отвернутся от тебя, потому что ты будешь для всех олицетворением постыдных расчетов, низости и подлости.

— Клавдия… — гневно вскричал прокуратор.

— И я, жена Пилата, я также искуплю свой грех, — продолжала она со стоном. — Я начну собой длинный ряд несчастных существ, которые всю гордость своей жизни вложили в честное имя одного человека, и эта честность обманула их. О, как достойны они жалости! Я никогда ни в чем не упрекала тебя, Понтий: ни в твоих общественных делах, ни в твоей личной жизни, которая могла омрачить душу твою и довести ее до полного развращения! Я никогда не выказывала подозрения, ревности, гнева, — всех этих чувств, не достойных женщины… Я ничего не требовала от тебя, кроме уважения, и ты мне дал его. Но прежде всего я требовала от тебя незапятнанной чести твоего имени. Ты опозорил свое честное имя! Ты унизил кровь Клавдиев в моих жилах, которой я слишком гордилась! Другие женщины после меня пройдут, быть может, через такие же мучения — будут ли они явными или тайными, — но было бы лучше для них, если бы они никогда не родились на свет Божий! Когда презираешь человека, которого следует уважать, это такая же повседневная пытка, как та, которая изобретена одним из наших императоров: живого человека привязать к трупу. Итак, если бы я могла увидеть тех, которые пойдут по твоим следам, я бы крикнула им: «Не бойтесь потерять дружбу цезаря, все ваши богатства, почести и насущный хлеб, если это нужно, но берегитесь изменить истине, не покидайте Иисуса Назорея, окруженного врагами. Поверьте жене Пилата!..»

Клавдия остановилась, совсем измученная. Крупные слезы текли по ее бледному лицу. Пилат машинально страдальческим жестом проводил рукой по лбу. Он старался вернуть себе спокойствие в этом вихре ужасных и противоречивых впечатлений. По старой привычке он отбросил все те мысли, которые считал несущественными. В мозгу его засела одна мысль об изгнании и смерти, которых надо было избежать во что бы то ни стало. Потом позор в течение целых веков перед всем человечеством… Но когда еще он умрет? И потом, какое доказательство всего этого? Сон?.. Яркий свет зари разогнал ночные страхи и смягчил его суеверную боязнь. Восхитительные сады, благоухающие свежестью и ароматом цветов, окутались легкой дымкой. В прозрачных водах отражались лучи восходящего солнца. На опаловом небе, совсем в вышине, слегка позолотились купола башен. Пилат успокоился. Его ясный, положительный ум формулировал решительное возражение:

— Я строго осуждаю в себе то, что заставило тебя так страдать, божественная, — произнес он. — Но пусть твой высокий и светлый разум придет на помощь тебе. Все то, что ты мне сказала, было бы ужасно, если бы Иисус Назорей был Живым Предвечным Богом. Но Он жив только в твоем сне. На самом же деле Он умер. Я видел людей, снимавших Его с креста. Его гробница запечатана моей печатью, и мои солдаты стерегут ее.

С неопределенной улыбкой Пилат добавил:

— Мертвые спят долго…

V

В течение нескольких минут странный, необычайный шум слышался извне среди стражи. Солдаты шумно совещались между собой. Появился декурион* с небольшой когортой людей. Все они были вне себя, дрожали всем телом и дико блуждали глазами.

— Господин, — произнес один из них, обращаясь к Пилату, вот эти люди, которым ты приказал стеречь гробницу Галилеянина, прибежали, вне себя, задыхаясь. Сотрясение, которое мы все недавно почувствовали, опрокинуло их на землю. Они говорят неслыханные вещи… Запечатанный гроб открыт неведомой силой. Он пуст!..



Рис. Маргариты Мальцевой

«Кто нам отвалит камень от гроба?..»

I

Сохранилась ли живая вера в сердцах учеников Иисуса Христа после Его смерти? Или все было покончено и запечатано для них под тяжелым камнем гробницы? Горько оплакивая своего Учителя, бросили ли они мысль о Мессии?

Нет. Их вера во Христа, Сына Бога Живого, осталась неприкосновенной. Страдания и смерть Иисуса могли только укрепить ее. Все последние события Учитель настойчиво предсказывал, описывая их заранее до мельчайших подробностей и постоянно напоминая о них, когда какое-нибудь торжество, как например, восторг толпы на празднике Ваий, могло заставить учеников позабыть их.

И хотя, охваченные ужасом первого момента, ученики Христа разбежались, хотя смерть всегда приносит с собой впечатление ужаса и крушения, которое не смягчается даже ожиданием ее, и если это впечатление верно относительно обыкновенных людей, то насколько же сильнее потрясла всех смерть Иисуса! Однако, большинство учеников не осмеливались окончательно поверить или усомниться и только ждали с тоской и скорбью.

Чего они ждали?

Быть может, какого-нибудь необыкновенного явления, вроде второго пришествия, о котором говорил Сын Человеческий, возвещая, что Он придет во всей славе Своей и могуществе… Но, читая евангелистов, невольно думается, что ученики Христа не помышляли о таком Воскресении, которое осуществил Иисус: явное недоверие и сомнения учеников, когда Магдалина и обе Марии рассказали им все, что видели, сомнение Петра и Иоанна, которые поверили только при виде пустого гроба и не знали еще слов Священного Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых (Ин.20:9), заботливость, с которой женщины приготовляли ароматы, чтобы предохранить Его тело от разложения, — все это доказывает, что неосмысленные и медлительные сердцем они не умели понять и схватить весь смысл слов Господа.

С этой точки зрения история апостола Фомы имеет большое значение. Когда ученики говорят ему, что снова видели Учителя, он до того поражен, что отказывается верить их свидетельству: он убедится только тогда, когда вложит свою руку в ребра Его и ощупает пальцами раны, оставшиеся от гвоздей и копья на Теле Учителя.

Эта жажда и необходимость точных доказательств, бросая яркий свет на душевное состояние апостолов, дала последующим векам яркие и веские доказательства.

Только в одном сердце теплилась, как светлый огонек в ночнике из чистого алебастра, вера в Его Воскресение. Мария, Матерь Господа, помнила и верила. Мы не знаем всей глубины Ее скорби и страданий в то время, когда Его предали, бичевали и распяли, потому что не можем понять, какой любовью можно любить Сына, Который есть Бог, и какую безграничную, невысказанную и непонятную нам скорбь может испытать эта любовь. Мы знаем только внешние подробности.

Мы видим Марию на Голгофе сопровождающей Иисуса, когда Он шел на смерть, Марию, чья нежная улыбка приветствовала Его вступление в жизнь в те блаженные дни пребывания в яслях, когда ангелы славословили Бога и наивные пастухи приносили Ему дары. Тогда Она держала Его в Своих объятиях, защищала Его от холода, кутая в Свою бедную одежду. Тогда Он не страдал, прижавшись к Ее груди… Теперь, когда Он умер, осыпаемый насмешками и оскорблениями тех, кого хотел спасти, отверженный, измученный, убитый ими, Она не могла ничего сделать. Ее руки не могли защитить Его, как прежде, — возлюбленного Сына Ее плоти и Ее сердца…

В последние часы жизни ослабевшая голова Христа приподнималась и снова падала, не находя опоры; слезы и кровь текли по Его лицу, и Она не могла отереть их.

При виде каждого приближавшегося к Нему человека, Она трепетала, страшась новых мучений, новых оскорблений для Него. В самом деле, насколько же была Мария проникнута божественной силой и посвящена в божественное предопределение, если могла еще жить после этих ужасных дней, среди палачей Своего Сына или среди тех, кто покинул Его, не проклиная и не возненавидев никого?! Она стояла около Креста. Он видел Ее и знал, что больше Она не смогла сделать ничего.

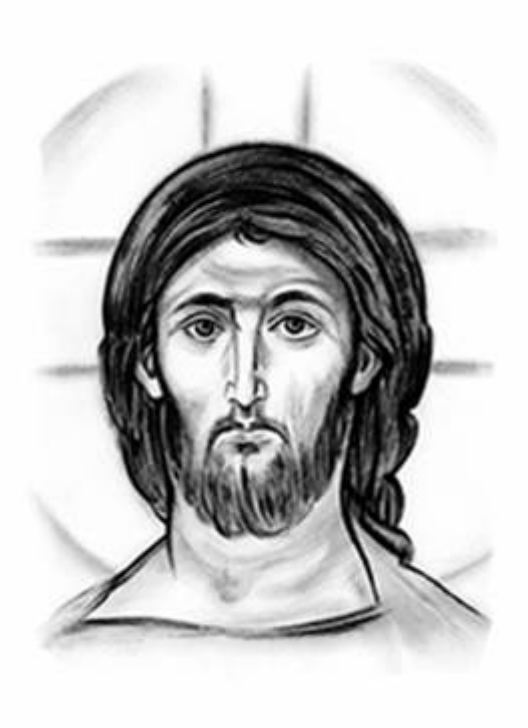


Рис. Маргариты Мальцевой

Мария смотрела на Сына, взором умоляя Его простить Ее беспомощность, молча принося Ему в дар всю безграничную нежность сердца.

Она не сомневалась в Нем; ни разу не остановила божественного вдохновения, уносившего Ее с Собой, и отдавалась воле Божией в Своем героическом самоотречении, с Ним вместе и подобно Ему.

В ужасающем мраке человеческой неблагодарности Она сияла ярким светом, как душа, которая все понимает и желает, и объединяется с Ним.

Ее любовь, чистейшая из всех, далекая от наших человеческих чувств, восходила ко Христу, перейдя границы человеческого понятия. И надлежало так, чтобы любовь к Нему в чистейшем из всех женских сердец дошла до пределов недосягаемой божественности.

Мария не ужасалась, что Он страдал Сам и заставил Ее невыносимо страдать. Все, что Он допускал, было хорошо, все, что Он желал, было прекрасно. Она ни минуту не усомнилась в Нем и в выполняемом Им деле…

Все казалось погибшим, разрушенным, оставленным, Она Сама очутилась в непроницаемом мраке, но Сын Божий, Ее Сын, призывал Ее в этот мрак, и Она последовала за Ним. Она не желала чуда, если Он не хотел этого.

Она чувствовала, что Сын Ее на вершине славы и величия, несмотря на видимое унижение и на молчание.

Ее обожание становилось еще самоотверженнее, Ее единение с Ним — еще теснее. И когда скорбная Матерь удалялась с Голгофы с Иоанном, потому что все было кончено, глубокая вера жила в Ее истерзанной душе, подобно гнезду морской птицы, которое волны во время бури носят на своих пятнистых гребнях, крутят его и окунают в бездну, а оно снова выплывает и живет…

II

Но другие? Иоанн, друг Иисуса? Магдалина?

Верили ли они? Верила ли неизвестная нам толпа людей, для которых разочарование было тем тяжелее, чем сильнее была их надежда? И что думали они?

Сусанна находилась на Голгофе среди женщин, несколько поодаль, в тени скал, неспособная уйти, удалиться от Него, не в силах выносить весь ужас агонии Господа, Его тяжких страданий…

Она не чувствовала устремленных на нее насмешливых, недоброжелательных взглядов, не спрашивала себя, как она, дочь иудейских учителей, очутилась на месте казни, как осмелилась остановиться здесь. Острота ее скорби уничтожила и сломала все человеческие понятия, подобно тому, как зимой бурный ветер ломает мертвые ветки деревьев. Сумятица в ее душе дошла до последней степени. Божественное откровение, внезапно осенившее ее, еще более усилило ее ужас, ее неспособность понять все происходившее.

В ней не было небесного смирения Марии или страстной пылкости Магдалины, в ней жила наивная, совершенно детская любовь к Нему. Зачем столько слез, крови, оскорблений? Она была подавлена этим и все ждала чего-то во мраке ночи. Чего ждала она? Сусанна сама не знала. Какого-нибудь откровения или чуда, которое вернуло бы ей Его живого, счастливого. Да, живого, как в те дни, когда она говорила с Ним в саду, благоухающем розами и другими цветами, среди полураспустившихся лилий. Увы! Нет! Она слышала только прерывистое дыхание, которое становилось все слабее, и видела кровь, падавшую тяжелыми, медленными каплями…

Она думала, как могла только думать в этом хаосе мыслей, бедных, обрывистых беспорядочных мыслей.



Рис. Маргариты Мальцевой

Разве допустят Его умереть? И никто не придет освободить Его? Быть может, Господь ожидает

последнего момента, подобно тому, как Он спас отроков в пещи огненной?

Он придет…

Она искала кого-то вокруг себя и с растерянным видом спрашивала женщин:

— Где же все те, кого Он исцелил? О, если бы они захотели…

Она не слышала ответов и машинально повторяла отрывки псалмов: «Господь придет, Он появится на облаках (ср. Пс.103:3), Он освободит Меня (ср. Пс.117:5)…» Эти слова долетали до нее откуда-то издалека, словно целая безграничная пустыня легла между ними и ее душой. Она старалась отделаться от них, возмущаясь несоответствием их с происходившим здесь, на Голгофе. Но, несмотря на это, слова псалма против воли звенели в ее мозгу, словно однообразные, тоскливые звуки флейты на похоронных процессиях…

Услышав стон Иисуса, Сусанна протянула вперед руки, словно желая оттолкнуть от себя неумолимую действительность. Она не смела поднять глаза на Божественное лицо Страдальца, боясь понять случившееся. Ее пугала неподвижность Его ног, которые перестали вздрагивать. Сусанна не помнила, как этот ужас в ее душе становился постепенно все острее, определеннее и совсем заледенил ее душу; не помнила, как осмелилась, наконец, вся дрожа, поднять глаза, и, хотя никогда не видела, как умирают, но сейчас же поняла, что это случилось, что великое спокойствие смерти запечатлелось на неподвижном лице Иисуса…

Тогда, охваченная отчаянием, она убежала. Потом вдруг явилось сознание, что каждый шаг удаляет ее от Иисуса, что надлежало вернуться к Нему. А если Его уже сняли с Креста? Если она никогда не увидит Его больше? Но силы ее слабели. Она не могла сдержать своих рыданий, своих воплей отчаяния. Какие-нибудь люди, друзья или враги, все еще окружали Иисуса… Она не должна так плакать, так отчаиваться перед другими…

Бурный порыв скорби, который захватил ее душу, смыл все, чем она жила до сих пор, и в ней уцелело лишь желание сохранить от чужих взоров священную, целомудренную чистоту слез.

Когда она очутится у себя дома, тогда…

И когда она вошла в дом, затворив дверь перед гневом Предвечного, она упала на пол, совсем разбитая, стараясь заглушить тяжелой тканью покрывала свое рыдание, одно слово, один скорбный вопль:

— Он умер! Умер!..

Это отчаяние продолжалось целых два дня. По мере того, как проходило время, ее охватывало страстное желание снова увидеть Его, сделать что-нибудь для Него.

У нее не оставалось ничего, кроме Его могилы, Его гроба, и она не знала даже, как его найти и где он находится. На первый раз она вынуждена будет идти туда с другими…

Где же были все эти другие? Женщины, которые последовали за Ним из Галилеи, Магдалина, обе Марии?..

А Матерь Господа? Сусанна остановилась на этом имени, которое произвело на нее успокаивающее впечатление, совсем неизведанное ею в ее великой скорби.

Мария пожалеет ее, она всегда жалеет всех…

Украдкой, пользуясь темнотой, Сусанна вышла из дома; она знала жилище Иоанна и думала, что найдет там Марию. Она вошла робко и очутилась среди женщин, которые приготовляли травы и ароматы для погребения Спасителя. Этот простой житейский обряд, который в жизни иудеев обыкновенно сопровождает каждую смерть, вместо того, чтобы заглушить ее скорбь, сильнее обострил ее, так как каждый жест присутствующих давал ей материальное доказательство того, что все было кончено, что Он более не существовал.

Напрасно пыталась Сусанна присоединиться к женщинам, которые, всецело занятые печальным делом, предложили ей место. Она взяла в руки несколько стеблей иссопа, но руки ее дрожали: очевидно, она ошиблась, думая, что эта работа для Него будет ей приятна...

Через несколько минут она удалилась, ничего не видя от слез, укрылась во второй, меньшей зале, ища Марию и не смея спросить о Ней. Никто не обращал внимания на нее, спеша кончить, приготовить все до рассвета, чтобы пойти к гробу.

Сусанна уселась в углу, укрывшись своим покрывалом и горько плача. Так сидела она до тех пор, пока нежная материнская рука не опустилась на нее с жестом благословения. Она почувствовала всем своим существом этот ласковый жест, как чувствуют ласку очень юные существа, скорбь которых увеличивается и высказывается сильнее, когда они видят ее разделенной и понятой другими.

Это была рука Марии. Сусанна схватила эту руку и, рыдая, начала целовать ее. Нежная рука осталась в ее руках, и мало-помалу великая печаль молодой девушки утихла, смягчилась и перешла в незнакомое ей чувство тихого спокойствия.

Менее удрученная теперь, Сусанна сейчас же подумала о горе Пресвятой Девы, Матери Господа, еще более глубоком и молчаливом...

Она невольно покраснела за свой эгоизм и пыталась что-то сказать...

Объятия Марии были очень нежны. Она, Которую не могли утешить никакие человеческие слова, молчала о Себе Самой, глубокие бездны Ее сердца не раскрылись...

Святая Дева склонилась к Сусанне со словами, обычными в устах Ее Сына: «Не плачь».

Никто не произносил этих слов Иисуса с таким оттенком и выражением. Но вместо того, чтобы усилить отчаяние Сусанны, воспоминание о словах Учителя и голос Марии прогнали всякую тревогу, успокоили и утешили измученное сердце.

Кроткая и милосердная Дева продолжала некоторое время Свое дело милосердия и сострадания, затем Она отвела молодую девушку к другим женщинам.

Близилось утро. Мария все более сосредоточивалась и углублялась в размышление. Если бы это не показалось ей нелепым, Сусанна могла бы подумать, что нечто более лучезарное, чем душевный мир, охватило Скорбную Матерь. Казалось, от Нее исходило какое-то сияние, которое усиливалось с минуты на минуту.

А там, извне, первые веяния зари коснулись уже верхушки горы Мориа, золотых куполов башен и простирались повсюду, сея свет и жизнь вслед уходящей ночи.



Рис. Маргариты Мальцевой

III

Расставшись с Матерью Господа, Сусанна присоединилась к женщинам, направлявшимся ко Святому Гробу. То были Анна, обе Марии и все остальные, последовавшие за Иисусом из Галилеи; они разделились на несколько групп, чтобы не привлечь к себе внимание.

Магдалина, опередив своих спутниц, пошла одна и скорее бежала, чем шла. Сусанна, наоборот, следовала медленно за другими, боясь и желая в одно и то же время скорее прийти ко Гробу, где, наконец, она увидит Его, но безгласного и безжизненного… В силах ли была она снова увидеть Его и не впасть в отчаяние последних часов, не пережить этого ощущения полной угнетенности, безысходной скорби? Но могла ли она остаться, когда все пошли к Нему?..

За стенами города тянулась каменистая дорога, окаймленная дикими фиговыми деревьями с густой листвой и красными плодами. За этой живой изгородью не видно было ни деревьев, ни полей, ни лугов: повсюду были только обнаженные горы и сухая земля; между скал кое-где попадался гигантский алоэ, там и сям выглядывали высокие голубые стебли и пучки восточных цветов, на которых висела еще дымка тумана, предвестника зари.

Взоры Осужденного устремлялись в те дни на эту печальную картину окрестностей, гармонировавшую с Его душевной тоской, когда Он следовал по этому пути. Здесь Он упал. Там Он утешал плачущих женщин, говорил с ними. Им казалось теперь, что прошли целые века с тех пор, как он говорил… Все сосредоточилось для них в Его смерти. Сусанна с трепетом думала о Нем, пыталась припомнить закрытые глаза, полуоткрытые уста Страдальца на Кресте. Нет, она помнила только Его благословляющий жест, стон, который пронизал ее сердце, слова, которые Он ей сказал…

О! Опять увидеть Его! Если не торопиться, это будут лишь короткие минуты. Несомненно, Его гроб не будут больше открывать. Когда она пойдет назад по этому пути, снова пройдет мимо этих огромных алоэ, шипы которых задевали ее, — все будет покончено. Она снова может увидеть Его, но для этого надлежало ждать вечность.

Каждая из женщин, сообразно своему характеру и глубине почитания Иисуса, думала об этих последних минутах подле Него или о последних заботах и попечениях, которые они спешили оказать Ему, чтобы закончить торопливое помазание Его Тела. Они обменивались редкими словами, теми незначащими фразами, которыми перебрасываются обыкновенно тогда, когда не хочется открыть переполненную душу.

Вдруг одна из женщин остановилась, охваченная внезапной мыслью:

— Кто отвалит нам камень от Гроба?

Все остановились. Это правда. Как было не подумать об этом? Ведь ни у кого из них не хватит силы…

В иудейских гробницах, обыкновенно вырываемых в скалах и похожих на клетки, которые совсем выравниваются или делаются с легким уклоном, тела умерших покоились горизонтально, в нишах, и вход закрывался камнем. Нужен был рычаг, чтобы поднять камень, и людей, чтобы удалить его.

Мироносицы остановились в нерешительности и совещались между собой:

— Что делать? Вернуться? Поискать учеников Иисуса?

Но день уже начинался, и если они будут ждать еще, то их застанут и помешают. Быть может, какой-нибудь случайный утренний прохожий поможет им…

Итак, они шли к погребенному Христу, трепещущие и углубленные в свою печаль, неся приготовленные ароматы, не ожидая больше ничего, потеряв всякую надежду, торопясь отдать Ему последний долг. Даже в своей робкой, боязливой вере, которая, однако, не покидала их, они имели несчастье столкнуться с препятствием, с помехой, которой не могли избежать.

Кто отвалит им камень от гроба? Да, кто же? Они не знали, что сказать на это.

Наоборот, враги и преследователи Христа теперь спокойно отдыхали. Иисус умер, претерпев позорную казнь, и был погребен. Враги и равнодушные люди соединились, чтобы увериться в Его смерти. Пилат, священники и Каифа, — все они были довольны, что отделались от несносного им, противного присутствия. Он не будет больше обличать, не будет судить никого, не будет возмущать народ. Он не будет смущать их спокойную жизнь, их нечестивые души Своим словом или задумчивым, проникновенным взором. Его взор преследовал Пилата, когда беспечный правитель бросил Осужденному эту фразу: «Что есть истина?» (Ин.18:38).

Обычная история человечества.

Они также отдыхали и в течение века поздравляли себя с блестяще завершенным делом: все эти римские императоры, богоотступники, варвары, еретики, — вся эта общественная сила, какое бы название она ни носила. И в конце концов, все они были раздавлены, побеждены великим могуществом Иисуса. Каждый из них сначала воображал, что покончил с Галилеянином и Его учениками. И все это было так просто…

История людей была написана, казалось, на Голгофе. Откуда же этот смутный страх, эта боязнь чего-то неожиданного и ужасного? Никакого чуда не произошло, когда Он умирал: Он не отвечал на все вызовы и оскорбления, не поразил никого… Он не защищал Своих, так как и Сам был беззащитен. Он оставался немым и неподвижным, видя их отчаяние, страдая Сам… В этом мраке и молчании души людей ободрялись и высказывались; друзья и враги дошли как до крайней ненависти, так и до последней границы слепого доверия и любви к Нему.

Он молчал.

— Подождем, увидим, придет ли к Нему Господь. Да! Подождем!

Насмешливое ожидание было напрасно: «Он умер… Там, в вышине погас свет…»

— Запечатаем Его Гроб и поставим стражу!

Сделано.

Ночь окутала темнотой таинственную могилу.

«Кто будет думать еще об этом Человеке? Если Его боязливые друзья вздумают украсть Его Тело и заявят о чуде — на них есть закон, есть римские солдаты…»

Но старая песня всех этих надежд разбилась о Божественную силу.

Прислушайтесь к шагам в тиши ночной.

Это Он, живой, сияющий, победоносный…

Он идет, но не в те часы, когда мы ожидали Его, ранее казни и смерти; не все ли равно, если Он — сама Жизнь и Свет? Он появляется, но не тем путем, которым ждали Его робкие сердца, и не случайным прохожим, которые могут отвалить камень от гроба и тем самым помочь помазать труп.

Христа в гробе нет! Гробница, охраняемая стражей, заключает в себе только пустоту…

В течение целых веков происходит то же самое, и все это не может научить своим примером последующие поколения людей. Все они, каждый в свое время, наложили печать на свое собственное поражение, и Предвечный не стесняет их свободную волю.



IV

Нежное дуновение ветерка проносилось над анемонами[99], цветами «дочери ветров».

Мирно дремал меланхолический сад, этот оазис оливковых и пальмовых деревьев в сухой, выжженной солнцем земле. Среди этих деревьев высились обычные в стране безлиственные деревья, и целый дождь голубых и розовых лепестков покрывал их ветви. Пучки цикламен, широкие чашечки лилий, пригнувшиеся к земле мимозы, нарциссы, фиалки распускались у подножья огромных кедров. Голуби летали кругом, купаясь в сиянии утра. Чудное место для

вечного покоя…

Иосиф приготовил свою гробницу в тени деревьев, среди аромата цветов. «Он уступил Господу это место покоя, это «жилище вечности», как говорится в священных книгах.

Гробница видна была при входе в сад, там, среди мирт. Святые женщины двинулись к ней и вдруг отступили с изумлением: гробница была открыта, и… Гроб пуст!

Евангелие подтверждает великое изумление святых женщин; оно рассказывает нам о явлении и словах ангелов, о том, как некоторые из женщин побежали с трепетом и великой радостью, спеша возвестить ученикам, другие же, охваченные страхом, никому не сказали ни слова, — так велик был их ужас.

Сусанна стояла позади. Что значили и даже ангелы для той, которая искала Господа, Повелителя ангелов? До слуха ее донеслось то, что сказала Мария, мать Иакова; только несколько слов:

— Он жив, вы Его увидите…

Сусанна, задыхаясь от волнения, на минуту остановилась у порога гробницы. Она не дрожала, не ужасалась. Но сильная радость после такой скорби словно оглушила ее. Она не сказала ни слова ни Петру, ни Иоанну, которые поспешно пришли из Иерусалима, ни Магдалине, бесцельно бродившей рядом и плакавшей над могилой… Мало-помалу Сусанне показалось, что глаза ее открылись, и она увидела всю красоту лучезарного утра. Она подняла свое сияющее лицо к лучам солнца, проскользнувшим сквозь ветви кедров, и в первый раз заметила голубей, ворковавших в мимозах и цветущих розовых деревьях. Прислушавшись к веселому шуму просыпающегося дня, она услыхала радостное чириканье воробьев.

Как прекрасна земля! Та самая земля, которая два дня тому назад казалась ей мертвенной и печальной… Сусанна думала о Галилее, где она увидела Его впервые. Когда она припомнила слова Христа, ей показалось, что с глаз ее спала повязка. Как могла она не ждать?! Как могла не понимать?! Мария, Матерь Иисуса, в Своем небесном доверии не забыла слов Своего Сына и, несомненно, эта горячая вера окутывала Ее ореолом душевного мира и сияния.

Радость Сусанны совершенно подавила прошедшую печаль; она не умела объяснить себе, почему так скорбела раньше. Почему она плакала подобно тем, у которых нет надежды? Почему искала Живого среди мертвых?

Жив! Он жив!..



Эти слова пронизали все ее существо. До сих пор она не вполне понимала: блаженные слова коснулись лишь слегка ее души. Старая скорбь еще боролась в ней с радостью и мало-помалу рассеялась, как дымка тумана, пронизанного солнечным светом и рассыпавшегося золотой пылью по бесплодным окрестностям.

Что говорила она тогда, у подножия Креста? Какой отрывок псалма звенел в ее голове, мучая ее, словно искушая? «Господь жив! Он идет! Он освободил Меня! Я воспою Ему!..»

Святая истина, несказанная прелесть этих слов!

Это Он сказал их. Разве вся природа, весь мир не воспевали Его теперь, — и ангелы, и цветы, и благоухание, и радостное щебетание птиц в сиянии утра?

Но тогда что значили для нее эти псалмы?

Сусанна шла среди других женщин, думая о Галилее, где она снова увидит Его. Она тихо молилась про себя, благословляя Господа, всегда верного в Своих словах, многомилостивого в Своих дарах, которые превыше всякой молитвы, всяких бездумных желаний и надежд человека… Полузакрыв глаза, она шла несколько позади по пустынной дороге, окаймленной кактусами и дикими фиговыми деревьями. Сердце ее горело. Женщины шли, или восторженно беседуя между собой, или молча, полные ужаса…

Вдруг по дороге раздались шаги…

Когда она увидит Его, что скажет она о себе самой? Если это будет только на минуту? Какая молитва нужна ей, чтобы вполне довериться Ему? Задать ли несколько вопросов, чтобы узнать Его мысль, Его волю относительно ее? Сколько раз за эти дни она желала повидать Его, только повидать, чтобы почувствовать Его живым.

Да, Он был жив! Духовный голод и жажда Сусанны увеличивались, словно в той бездне вечности, где человек погибает, вечно жаждая и голодая.

Она призывала Его всей душой — Его, Властителя ее души… Ему она поведает свои жестокие

сомнения, свою печаль, все…

Но не ошибается ли она? Хорошо ли она знала саму себя? До какой степени ослабела ее воля? До какой точки дошла ее вера? Что за беда, если она не знает этого? Он все знал. Он читал в ее душе, так как она была прозрачна в Его глазах. Он видел все: все ее печали, слабости, возмущение, ее робость… Он проникал до основания все ее существо. С каким трепетом думала она, что Он знает и видит дальше и больше всех ее слов…

Шаги все приближались по дороге… А Иисус? Что Он скажет ей? Он держал в Своих руках тайну ее жизни и произнес те незабвенные слова… Иоанн передал им эти дивные слова, сказанные Им в тот вечер прощанья…

Иисус сказал: «Живите в любви Моей»…

Столько скорби было пережито, что, кажется, целые века прошли с того часа. Конечно, теперь Он предпочтет молчание и не откроет ей ничего из будущего. Это было Его обыкновением: «Ваш отец знает… Не беспокойтесь ни о чем»… Она поймет все и день за днем будет следовать по пути, указанному ей Провидением. Она уже горячо любила все, что Он любил, и чувствовала, чего Он желал от людей: иметь чистоту лилий и радостную покорность птиц. Он научит ее любить более трудное и тяжелое в жизни, если потребуется это от нее. Она ничего не боялась. Бояться Его!.. Разве можно бояться Его, воплощенной Кротости! Зачем же этот ужас, смешанный с радостью, когда на повороте дороги слышанные ею шаги смешались с ее шагами?..

Святые женщины остановились…

Не поднимая глаз, Сусанна почувствовала, что Иисус был там и что на Нем покоился отблеск Святая Святых.

Все женщины бросились к Его ногам и, целуя их, поклонились Ему, Иисусу, лучезарному, окутанному небесным сиянием, в Своих белых одеждах. Телесная оболочка почти не скрывала за собой Бога, Которого невозможно было лицезреть на земле, не умерев.

Обратившись к распростертым мироносицам, Он произнес обычные слова:

— Не бойтесь. Идите возвестить моим братьям…

Сусанна чувствовала, что Он призывал и ее на служение, когда сделал благословляющий жест. Растерянная душа Сусанны укрылась в Нем, подобно воробьям, которые летали вокруг нее, укрываясь в расщелинах скалы. Он произнес: «Живите во Мне»… Сусанна так горячо желала и, наконец, услышала эти слова, сказанные для нее в великой тайне Его молчания.

Он не сказал — «проходите», но — «живите».

Она вся отдалась той великой тайне, в сравнении с которой все мимолетные радости земли меркнут и замирают, как долгая, бесконечная жалоба…

М. Монлор



В чем счастье?

Повесть из жизни фиваидских пустынников IV века[100]

I

П Верхнем (т. е. южном) Египте в четвертом веке было много городов; из них Антиноя и Ликополь, Гераклея, Крокодилополь и Гермополь[101] отличались людьми образованного общества.

В Гермополе в числе других жил грек знатного рода, молодой и богатый, по имени Тимофей.

Он имел простой, благородный характер, был от природы весел и чрезмерно добр. Внешней красотой он не выделялся, зато имел хорошую душу.

Совершенную противоположность представляла его жена Леда. Это была удивительная красавица — высокая, стройная, грациозная, но с черствым сердцем и заносчивым нравом. Она безжалостно обращалась с рабами и была равнодушна и холодна ко всем страданиям человеческим. Она была умна и талантлива; играла на лире, знала грамматику, риторику, астрономию и древнюю литературу. Ее комнаты были полны дивными произведениями искусства — картинами и статуями.

Леда была полна самомнения, и высокомерие ее не знало границ. Она блистала, поражала, очаровывала своей красотою. Ее черные, как агат, глаза отливали синевой. Лицо имело матовую белизну, а кожа лица была так нежна, что светилась мягким блеском. Глаза были холодны и тверды, и в них выражалась несокрушимая сила; они то горели страстью и одушевлением, манили и влекли, то смотрели гордо и насмешливо. Волосы были совершенно белы, как лен, и переливались златоцветными нитями. Они были густы и завивались локонами.

В доме Тимофея жил юноша лет двадцати, египтянин. Его звали Онуфрием. Он был беден и не имел никого из родных.

Его отец был другом Ктезилая, отца Тимофея, и, умирая, поручил его Ктезилаю. Ктезилай свято исполнил просьбу умирающего друга и воспитал египтянина вместе с родным сыном.

Тимофей же любил Онуфрия как брата.

II

В триклиниуме[102], перед большим мраморным столом, уставленном обильно кушаньями и напитками, возлежали Тимофей, Леда и несколько гостей из египтян и греков. Все они были в разноцветных туниках и плащах, и на всех была надета самая разнообразная обувь.

Множество рабов сновало туда и сюда, подавая гостям самые изысканные, утонченные кушанья.

После каждого блюда гости мыли руки из бронзового кувшина.

Греки за обедом всегда вели живую веселую беседу.

Так и теперь пир прерывался взрывами смеха и быстрым обменом мыслей.

— Как ты себе представляешь сущность монады Плотина[103]? — обратился было Тимофей к префекту Гермополя, последователю неоплатонической философии.

— Я представляю ее себе яснее самого Плотина, — хвастливо ответил префект.

Но дальнейшие рассуждения их были прерваны протестом прочих участников пиршества.

— Бросьте свою философию, — кричали они, — это слишком серьезная тема для застольной беседы. Поговорим лучше об александрийских новостях…

— Притом в настоящую минуту интереснее решить вопрос: что лучше: хиосское или лесбосское вино? — засмеялся Артемий, приезжий александрийский купец.

— Конечно, разговор о философии — лакомое блюдо для души; однако расскажи нам, что нового в столице Египта? — промолвил Тимофей.

— Восстание за восстанием. То чернь набросилась на христиан, покровительствуемых императором, то христиане ведут ожесточенные споры между собой по поводу какого-то нового учения, которое одни из них признают ложным, а другие — правильным. Я слышал также, что и среди придворных образовались две партии, которые яростно борются за первенство. И, вдобавок к этому, каждая хлопочет привлечь на свою сторону императора…

— Что теперь из этого произойдет?

— То, что император примкнет к нам, — заявил префект.



— Ну, это навряд ли, — возразил Тимофей. — К тому же, в силу христианского учения он

упорно, на мои постоянные просьбы, избегает развлечений и шумных собраний. Вот и сегодня мне так и не удалось пригласить его сюда. Он полюбил простоту жизни и уединенные мечтания. Я нередко заставал его в саду, с тоской и надеждой смотрящим на небесный свод. Он говорил мне, что из этого созерцания он черпает новые мысли…

— Да, я прежде чаще видел его в твоих собраниях, — отозвался префект, — жаль, что его нет с нами: кажется, он довольно умно может вести беседу, хотя и молод…

В эту минуту гости ахнули от изумления:

— Онуфрий, вот неожиданность! Наконец-то удостоил прийти к нам — ты, который вечно удалялся от нас.

— Мой друг отвергает прелести и удовольствия света, — ласково улыбаясь, добавил Тимофей.

Онуфрий на минуту остановился в дверях, потом поспешно вошел в триклиниум, окинув присутствующих быстрым, проницательным взглядом.

Бледное лицо Леды покрылось ярким румянцем; черные глаза ее сверкнули, как молния, ослепительным блеском.

— Иди же, садись скорее к нам, Онуфрий; мы ждем твоей редкой беседы. Сейчас подадут твое любимое кушанье. Рабы, берите одежду у господина, — воскликнул Тимофей.

— Я не презираю невинных утех мира, — сказал Онуфрий, как бы продолжая начатый гостями разговор, — но я отрешился от них, потому что нашел более отрадные и высокие. И я пришел сюда для того, чтобы говорить вам об учении вечной жизни, о Спасителе мира Христе…

Отдав плащ на руки подбежавших рабов, Онуфрий остался в длинной тунике, застегнутой у горла, с длинными рукавами. Эта лиловая туника около шеи, на подоле и рукавах была вышита серебряными орнаментами. Черные кудри юноши живописно ложились на фиолетовую одежду, отражаясь в серебряных блестках обшивки. Тонкие, изящные черты его смуглого лица сияли внутренним жаром и одушевлением; он был поразительно хорош в эту минуту. Все невольно залюбовались юношей, а Леда глядела на него с трепетным восторгом.

— Поешь же с нами, Онуфрий, — мягко сказал Тимофей. — Затем мы выслушаем то, о чем ты намерен говорить.

И он пододвинул ему серебряные блюда, поданные слугами.

— Я не для пищи пришел сюда, — отвечал Онуфрий, отстраняя от себя блюда, — потому что «не хлебом единым будет жить человек». Я пришел возвестить вам о Том, Кто создал и небо, и землю одним Словом Своим, Кто послал на землю Сына Своего для спасения людей. Я буду говорить вам о Спасителе мира, о Христе, проповедуемом и прославляемом устами ангелов и людей. Вы живете изо дня в день во мраке неверия; вы едите, пьете, наслаждаетесь суетными удовольствиями и не думаете, что ждет вас впереди. Души ваши — гнездилища грехов; сердца ваши — стойла страстей, загрязненные пометом праздных и нечистых мыслей. Исконный враг человечества дьявол сеет плевелы, завлекает вас в свои сети, и вы бежите к ним, стремитесь упасть в них, как неоперившиеся неопытные птенцы. Он истребляет в вас редкие проблески чистой мысли, высокого чувства, а вы покоряетесь ему, как ягнята, когда стригут их шерсть…

— Покайтесь, ибо настало время покаяния, — воскликнул громко Онуфрий, поднявшись с места.

Очи его горели вдохновением, голос звенел и дрожал.

Он продолжил свою речь стоя:

— Не отчаивайтесь, и для вас доступно небесное блаженство, которое Бог приготовил для верующих в Него. Веруйте во Христа, — и вы получите спасение. Вспомните, что вас ожидает смерть, а за ней мучения ада, нескончаемые мучения. Покайтесь: Бог ждет вашего покаяния; Он долготерпелив и многомилостив. Не покарает он грешника раскаявшегося. Для грешников и приходил в мир Христос, для их спасения Он и страдал невыразимо, и принял крестную смерть. Вы слышали, я думаю, что христиане чтут Распятого на Кресте… Да, Христос был распят и умер на Кресте. Но на третий день Он воскрес из мертвых, Он победил смерть, сокрушил власть дьявола и тем даровал нам безсмертие. Безсмертие души! Подумайте о том, что все ваши самые великие философы не смели заикнуться об этом, не дерзали помыслить о безсмертии человеческого духа, о загробной жизни, о грядущем вечном блаженстве. А мы, христиане, не только верим в это, но и знаем. Мы верим в невозможное для человеческой мудрости. Но невозможное у людей возможно у Бога. Веруйте же в Спасителя мира, — и вы получите неоцененные сокровища, которых никто и ничто у вас не отнимет и не уничтожит…

Онуфрий еще долго говорил в этом роде.

Громкие раскаты его голоса отдавались в потрясенных душах слушателей.

Они замерли в удивлении и безмолвно внимали ему.

III

Леда быстро ходила взад и вперед по своей громадной комнате. Казалось, гроза, которая бушевала в ее душе, потрясая волнением, тревогой и возбуждением ее нервы, заставляла ее неустанно все сильнее быть в движении. Она ломала свои прекрасные, точно изваянные, руки и не могла ни на минуту остаться в покое. С раскрасневшимся лицом, сверкающими черными очами и разметавшимися по плечам белыми, переливающими золотом кудрями, она была необычайно прекрасна.

— Я гречанка, — тихо говорила она с собою, — но не сочла для себя унизительным сказать ему о своей любви. Я люблю, и этим высока и права. Сколько раз я говорила ему о ней! А он всегда с одинаковым равнодушием отвергал меня! Он хочет, чтобы я была христианкой, верила в проповедуемого им Христа, по его словам — Бога, умершего за людей. Но как я могу поверить, и в чем я уверюсь, когда мою душу наполняет другой мир, когда мое сердце полно иных стремлений? О, Онуфрий, напрасно ты расточаешь свои чудные речи! Зачем ты не хочешь знать, что мне нужна, как воздух, необходима, как дыхание, твоя любовь ко мне, только твоя любовь! Плохо то учение, которое не велит пламенно любить; и потому ты не привлечешь меня к нему, как ни старайся. Божество мое — ты, Онуфрий; блаженство — твоя любовь!.. Последний раз я сделаю еще попытку, и если буду отвергнута, то быстро сойду к теням Аида…

И Леда, тяжело дыша, остановилась, оглянувшись вокруг каким-то страдальческим взором.

Затем она спокойно и величественно надела на свою голову что-то наподобие женской шляпы. Это был шелковый шарф с розовыми и зелеными полосами, сделанный в виде колпака; он закрывал всю середину головы до лба, сбоку же волосы были открыты; шарф обводил шею под подбородком и завязывался сзади.

Одевшись, Леда вышла из дома, глубоко погруженная в свои мысли и охваченная любовью…

А в это время Онуфрий гулял за городом.

Он только что вышел из одного христианского монастыря. Лицо его было светло и сияло чудной, святой радостью. Он тихо шел по равнине, покрытой шелковистой, сочной травой и ароматными цветами.

Картины прошлого проносились перед ним, и отрадное чувство наполняло его. Вспомнил он, что, блистательно окончивши образование в ликее[104], он хотел уже поступить в школу философов, как случайно был потрясен проповедью игумена, услышанной им в монастыре, куда пошел только из любопытства. Он явился к этому игумену и, наученный им вере в Христа, догматам и Священному Писанию, крестился, полный безграничной веры в Иисуса Христа.

При этом воспоминании Онуфрий с благодарностью поднял глаза к небу и надолго остановил их в его бездонной синеве…

— Теперь я не томлюсь уже неизвестностью, — воскликнул он, — все открыто, истина осветила мне жизнь, больше и дальше мне некуда идти…

Вдали показались жилища пастухов; они были разных видов. Вправо стояло несколько калив[105]. Стены их были составлены из стволов деревьев, окон не было, вход был широкий без дверей. Островерхие крыши, сделанные из корней, сучьев и ветвей, были покрыты соломой, которая золотилась в лучах солнца.

Несколько дальше, через поток, над которым пролегал мостик, возвышались другие постройки. Это были хижины острой формы, с узким и высоким отверстием впереди, заменявшим двери. Они были сделаны из прутьев, покрытых листьями. Островерхая крыша стояла на стенках строения. Эти хижины были очень красивы, имели какой-то легкий, свежий вид, и чем-то светлым, патриархальным, милым веяло от них…

В одной из этих хижин жил пастух, грек Стратон, обращенный Онуфрием в христианство. К нему и направился теперь юноша.

С криками радости встретил его признательный Стратон. Он пас коз и в своей христианкой новой жизни довольствовался скромным положением. Он ввел египтянина в свое жилище, которое было бедно, но пленяло чистотой. На Стратоне была надета короткая туника из льняной ткани, подвязанная по талии кожаным поясом. На ногах была обувь из кожи, похожая на сапоги, только с пуговицами по бокам.

Мир и покой наполняли душу пастуха, и не этот покой оцепенения и отупения, который томительнее всякой муки, хоть она и нема, но тот истинный, живой, чудный, возвышенный покой, который усладителен и отраден, как блаженство.

С рвением и детским усердием, в глубокой простоте и смирении шел Стратон по пути добра и познания истины. Онуфрий любил пастуха за его горячность в вере, за его сердечность и благочестие.

Он с лаской взглянул на пастуха и сказал:

— Здравствуй, Стратон, многие позавидовали бы твоей жизни: посмотри, какая безмятежность в твоем жилище, какой свет, мир и кротость кругом тебя!

— Ах, — отвечал тот, — эти люди, которые вечно гоняются за призраками, делаются рабами своих страстей и капризов, всегда желая настаивать на своем. Несчастны эти люди…

— Дай им, Господи, истинную жизнь, — молитвенно проговорил он.

В сердце Онуфрия шевельнулась жалость, и перед его духовными очами мелькнул бледный, искаженный страстью образ Леды…

— Сердце мое непрестанно хвалит Господа и Спасителя моего Христа, — продолжал пастух. — Велики Его благодеяния и милости, и я не в силах возблагодарить Его. Какая сладость объемлет мое сердце, словно оно тает во мне, а я пью живую воду. О, ничего подобного никогда не испытывал я, когда был язычником…

— А я тебе принес книгу, которая говорит о вечном милосердии и любви Создателя, — сказал египтянин. — Хочешь, я прочту тебе глаголы жизни?

Какое-то просветленное умиление отразилось на умном и кротком лице грека, которое озарилось восторгом.

— Счастие нисходит в мою душу, когда ты читаешь о Христе, — прерывающимся голосом прошептал он,

Приветливо и дружелюбно взглянув на Стратона, египтянин достал из плаща кодекс. Это была книга, состоявшая из нескольких листов пергамента, переплетенных вместе. Онуфрий стал читать Евангелие.

Не торопясь и отчетливо читал он. Его голос звучал благоговением и неизъяснимой любовью.

Пастух стоял, жадно вслушиваясь в каждое слово, словно боясь упустить его. Он весь был слух, и светлые слезы тихо катились по его кроткому лицу…

Громко раздавался голос египтянина, как бы одухотворенный словами Богодухновенной Книги. Божественные слова Христовы, проникая в душу, просветляют ум, врачуют страсти, возносят от суеты земной. И сердца тех, кто слушал их, влеклись к Спасителю мира, желая излиться перед Ним, приникнуть к Его стопам, испытывая жажду бесконечно любить Его…



IV

Тропический чудный день угасал.

Голубые и фиолетовые тени ложились на деревья, окружавшие дома, и на отдельные пески.

Приближалась ночь дальнего юга, холодная, волшебная, темная, сверкающая звездами. Эта

ночь освежает растения от дневного зноя; она приободряет людей и животных. Эта ночь вносит энергию жизни, дает силы на дело и труд.

Онуфрий сидел в саду. На его смуглом лице застыло кроткое выражение. На высоком челе отражалась ясность ума, однако тревожная, неотступная дума сквозила в его черных глазах, которые горели, как звезды, в безлунной ночи… Фиалки, ирисы, мальвы, колокольчики росли по дорожкам сада, который наполняли финиковые пальмы, алоэ, бананы, гранаты, нильские акации, сикоморы, персики и декоративные кустарники бисерного тамарикса.

Стояла дивная тишина, веяло каким-то тихим спокойствием и отрадой. Онуфрий был погружен в тревожную задумчивость; по временам он поднимал свои черные, проникнутые тайным светом, глаза. Крупные слезы катились из них, а взгляд с выражением горячей мольбы устремлялся к небу.

Но что это? Что нарушило тишину холодной тропической ночи?

Какой-то шорох пронесся будто бы и тут же замер…

«Ветра не было, это не шелест листьев».

Снова послышался шорох, все ближе и яснее.

Из-за банановых деревьев появилась легкая, воздушная фигура Леды. Она была в шелковой белой тунике и вся укутана белым покрывалом из толстой шерстяной материи. Черные глаза ее сверкали, пылая страстью и гордым осознанием своей красоты. Тонкие ноздри волнительно вздымались. Все существо ее было наполнено уверенностью в собственной неотразимости.

Высокомерной походкой подступила она к Онуфрию.

Ее взгляд, наполненный истомой и негой, был слишком откровенным. Она вся трепетала.

Но на лице Онуфрия, к которому она обращала свои нескромные взоры, появилось прямо противоположное Леде выражение: глаза его потускнели, словно он увидел или должен был услышать для себя нечто крайне неприятное, несносное и надоедливое.

И действительно, Леда заговорила, обращаясь к Онуфрию со страстным шепотом:

— Послушай, Онуфрий, долго ты будешь мучить меня? Ради тебя я все оставлю. Мы уйдем далеко отсюда. Я создам тебе элизиум[106]; окружу тебя чудесами искусств и всеми сокровищами жизни. Я окружу тебя заботой и лаской. Ты будешь спать на благовонных цветах, ходить по вавилонским коврам. Зачем ты отвращаешься от меня? Полюби меня! Ну… взгляни же на меня, радость моей жизни, услаждение сердца моего!

И она, нагнувшись, старалась заглянуть в его глаза.

Онуфрий отшатнулся и, отмахнувшись рукой, спокойно возразил:

— Я уже много раз говорил тебе, Леда, что не люблю и не смогу полюбить тебя. Пусть счастие и радость любви будут для других… Но не для меня. Я далек от земных привязанностей. Ты чужда мне. Мне жаль моего друга Тимофея, и я берегу его покой, не говоря ему о тебе. Неужели ты думаешь, что я могу предать моего друга, сына человека, сотворившего для меня так много добра?

— Я ненавижу мужа, — сказала Леда, и ее прекрасное лицо покрылось мертвенной бледностью…

Она, казалось, невыносимо страдала.

— Ты потеряла себя, Леда! Тебя одолели уныние и неподвластная человеческому разуму тоска. Я знаю это по себе и жалею тебя. Не отвергай Бога, отринь свое высокомерие, и ты найдешь истинное счастие и покой.

— Оставь пустые речи. Я слишком горда, чтобы склониться перед каким-нибудь существом, хоть это был бы и Бог. Действительно, я не найду ни в чем радости, но ты жалеешь меня напрасно! Я презираю жалость и не хочу ее.

— Но я христианин и не могу не жалеть тебя. Я хочу спасения твоей душе. Не пренебрегай моими наставлениями и увещаниями. Сколько раз я просил тебя убедиться в Истине и поверить в Господа Иисуса Христа, о Котором я много говорил тебе! Веруй и крестись, Леда, и ты обретешь настоящую радость…

— Взгляни, Онуфрий, — прервала Леда, не обращая внимания на его слова, — неужели я не хороша?

Она небрежно отбросила с головы покрывало. Волосы ее, связанные на затылке, распались, сбегая с плеч причудливыми волнами. Зеленоватый, бледный свет луны скользил по шелковым нитям ухоженных длинных прядей, переливаясь таинственными призывными лучами…

Леда казалась волшебным видением, в котором было больше красоты и очарования, чем в тех фантастических снах, что парили над спящими душами делосских[107] дочерей…

Мифическая красота богинь терялась перед этой яркой, сказочной и вместе с тем действительной красотой Леды… В ее черных глазах горела любовь, проникая их обольстительным, захватывающим сердце выражением. В них дрожала пламенная влага, и нежная томность заволакивала их… Они искрились из какой-то чудесной глубины, и взор их стремился, тянулся, приникал к Онуфрию…

Это была любовь, любовь земная во всех своих радужных окрасках расцвета, во всей своей влекущей силе, со всеми чарами заблуждения и ослепления. Она словно несла фиал наслаждений, готовая отдать его своему избраннику…

Любовь со своей жгучей, рвущейся страстью и неутолимой жаждой счастья клокотала в сердце молодой женщины. Гордость ее как бы ниспала и, надломленная, простерлась у ее ног…

В своей необычной, неотразимой красоте, дышащая упоительной прелестью, полная могучего головокружительного соблазна, свободная, вольная, бесстрашная, со взглядом, обещающим неизменное веселье, Леда являлась победительницей над смертными детьми земли, и трудно человеку было устоять перед нею… Ее взгляд таил бездну желаний; он рисовал целый мир новых, разнообразных, неведомых наслаждений, обвивая грезой, лаская и маня…



Рис. Маргариты Мальцевой

V

— Разве не хороша я? — звенящим голосом снова спросила Леда.

— Нет, ты прекрасна, Леда, — просто отвечал Онуфрий, — но твоя красота не имеет для меня значения: я знаю другую, лучшую, высшую красоту.

— Какая же это красота? — воскликнула она.

— Ты не хочешь видеть ее, Леда. Эта красота животворит и дает вечную радость. Красота Христа Спасителя.

— Опять, — произнесла Леда, и томительное выражение, как облако, накрыло ее лицо.

— Не говори мне ни о чем подобном, — продолжала она. — Ты видишь, что речи твои не трогают меня, но только докучают. Я не хочу ничего слышать об этом!

— Я не могу не говорить о том, что волнует меня более всего. Христос — Источник моей жизни, — строго остановил Онуфрий.

— Я ничего не хочу знать… — снова воскликнула Леда, нервно срывая прекрасные цветы, растущие вдоль дорожки сада и разрывая их своими тонкими пальцами. — Для меня ничего не существует. Ты все затмил, Онуфрий. Я люблю тебя безумно и жду ответной любви…

— В сердце моем свет Христов! Я живу беспредельной любовью к моему Спасителю, Христу Господу Иисусу, и призываю тебя уверовать, последовав моему примеру.

— Отвлеченная любовь, — зло и презрительно проговорила Леда.

— Как мне жаль тебя, что ты не хочешь познать истину, — грустно сказал Онуфрий. — Любовь ко Христу — это цель, смысл бытия и и многосложная деятельность духа… Любовь ко Христу — святая, исполненная правды, добра и совершенной нравственности….

— Я тебя, тебя люблю. Вот настоящая любовь, — твердо сказала она.

— Ты заблуждаешься, Леда. То, что ты считаешь настоящей любовью, это не любовь, а лишь быстро исчезающая фантасма[108], привлекательный, дразнящий чувства обман, который не может дать счастья. Истинна и безусловна на свете та любовь, о которой я уже тебе говорил. Исключительная любовь не создается на основе физического мира; в ней отрава и гнет минувших дней, которые всецело изжиты… Видала ты, Леда, как в солнечный, яркий день блещет вода потока? Ее поверхность зыблется, сияющая и заманчивая… Лучи солнца окрашивают прозрачные струи, и она ласкает и восхищает глаза… Но скоро прибегут быстролетные тени, поглотят лучи, и смотрит она, мрачная и замкнутая, своей мутной глубиной. Оглянешься кругом — и словно нет выхода, тесно, душно, а впереди стелется мгла, как знойный туман тропических зим. А там? Несется вихрь, кружатся белые пылинки, застилая все своей безбрежной пеленой. И эти вьюги и морозы севера походят на то внутреннее состояние, о котором я тебе говорю: давит тоска, нет смысла в грядущем, и бездонная пустота в душе человека. Нет ни к чему интереса, все кажется ничтожно, сердце сжимается и падает. Вот образ любви к одному человеку…

— Онуфрий, — поспешно прервала Леда, — мне несносна проповедуемая тобою любовь… Эта воздушная, немая, безжизненная, отвлеченная любовь.

— Ты боишься страданий, — с иронией усмехнулась она.

— Нет, это не боязнь перед скорбями. Страдание есть благо, в нем сила откровения. Оно просветляет ум, делает твердой волю. Безутешная боль страданий и их беспросветное состояние, как в горниле, закаляют душу. Я не бегу и не прячусь от них.

— Как это безрассудно! Ты все даешь мне советы, все убеждаешь меня!..

— Я не учу тебя. Разве можно научить правде и вере, которые сами нисходят и рождаются в сердце, желающем и готовом принять их? Такого учения нет. Я христианин, и в сердце моем забота о тебе.

— Но кто может убедить меня в том, что против моего сердца? Не думай, что я бессильна!

— Нет, — проговорила Леда, и выражение непобедимой гордости сверкнуло в ее глазах, — у меня много сил, но только в любви твоей я вижу мое счастие, все же другое для меня не существует.

— Примени же свои силы, Леда, разбей и отбрось в своей любви все, что мучает тебя, что затемняет твой ум заблуждением, что фальшивой, яркой окраской вкрадывается в твое сердце. Смотри на меня как на брата, и я буду любить тебя истинной любовью.

— Леда, — кротко продолжал Онуфрий, — ты будешь для меня вся, как душа. Только одна такая любовь дает счастье, бессмертное, отрешенное от скорбей и грехов… Свободное, святое счастие. Не ищи с трепетом страсти, Леда. Настоящее счастье близко от тебя; пожелай истинной любви, и благодать снизойдет в твою душу. Люди своими гнусными мыслями только оскорбляют настоящую истинную любовь, называя не ее этим святым именем.

Онуфрий, не сводя глаз, пристально и сосредоточенно смотрел на Леду, следя за борьбой, отражавшейся на ее лице, на котором прорывались страстные движения сердца…

Он молился и желал ее обновления…

— Настоящая истинная любовь — это любовь Христова, — вдохновенно проговорил он, глядя на нее спокойным взглядом…

Этот бестрепетный взор глядел с той божественной полнотой и свободой, которая является, когда человек вступил уже в духовный мир христианской любви…

— Господь не отнимает у тебя любви, но хочет, чтобы она была истинна…

— Как я страдаю! — вырвалось глухим стоном из груди Леды. — Ты не хочешь понять, Онуфрий, что я желала бы только одной твоей любви! Неужели я не стою ее?..

— Я люблю тебя, Леда, — со светлым лицом отвечал Онуфрий, — но только как сестру! И я хочу тебя любить по-христиански, но ты не желаешь этой любви…

— Нет, лучше смерть, — воскликнула Леда, — лучше муки ада! Отраднее мучения Тантала[109] и Прометея[110], чем та любовь, которую ты мне предлагаешь!

— Ты отвергаешь истинное счастие, вечное блаженство, — отвечал Онуфрий.

— Онуфрий, — тихо проговорила Леда, — жизнь моя, счастие мое!

Она быстро подошла к юноше и наклонилась к нему, держась одной рукой за мраморную спинку скамейки.

— Пусть все исчезнет, — шептала она, — и весь мир померкнет, как падучая звезда, и уплывет, как корабль, который быстро пролетает по волнам, бесследно теряясь в дали… Свет очей моих, дыхание моего сердца…

Любовь озаряла глаза Леды; жар сердца, как пламя, обжигал ее… Она порывисто прижала юношу к своему сердцу, которое билось в ее груди так сильно, словно хотело разорваться… Но Онуфрий спокойно и твердо освободился из ее жгучих объятий. Прекрасные глаза юноши с укором смотрели на нее… Его взор был безмятежен и, казалось, изливал чистоту, мир и отраду. Вся фигура его была полна непорочности.

Глубокая жалость осветила его кроткое лицо.

— Леда, я прежде почитал тебя как госпожу, любил как сестру, уважал как жену моего лучшего друга. Но ты сама все разрушила. Опомнись, и тогда я полюблю тебя святой истинной любовью, завещанной людям Христом. А твою страсть я отвергаю… И запомни навсегда, что я никогда не полюблю тебя твоей страстной и безумной любовью!

Демонический смех нарушил тишину ночи.

Онуфрий вздрогнул: это смеялась Леда. Прекрасное лицо ее было искажено: безумная страсть, гнев, негодование, гордость — все соединилось и отразилось в его чертах. Злоба блистала в ее глазах; нечеловеческая улыбка язвительно изгибалась на устах.

— Неразумный! — сказала она. — Ты осмелился меня оттолкнуть? Меня, за одну ласку которой многие готовы были умереть! Я всех гордо отвергала. А теперь? О, стыд и позор! Я пренебрежена египтянином… Берегись же, Онуфрий: я отомщу. Моя месть будет ужасна. Я ничего не боюсь. Бесстрашие — моя стихия… Но нет, мне ли, гречанке, свободной дочери богов, унизиться местью, которая свойственна рабам?! Любовью моей я хотела возвысить тебя до себя. Но ты упорно хочешь ползать внизу… Оставайся же там… А богиня поднимется на

Олимп…

Леда дико захохотала и обернулась, чтобы уйти.

Презрительный смех ее пронесся звучной волной и затерялся где-то далеко-далеко…

— Боже, — промолвил Онуфрий, — прости меня и не обвини за душу ее, если она не захочет спасения! Ведь я Тебя, Господи, одного люблю и к Тебе одному стремлюсь!..

И он тихо удалился домой, вознося пламенные молитвы к Богу…



VI

В эти дни между рабами шел оживленный разговор.

— Сегодня госпожа что-то сердита; даже не удостоила меня выслушать, — говорит домоправитель Сарап-Аммон, обращаясь к товарищам, — а я хотел доложить ей о привозе заграничных припасов.

— Да, — задумчиво проговорил садовник Эхестрат, — госпожа не первый день в таком настроении; она давно перестала обращать внимание на рост ее любимых цветов. Что-то удивительное творится с ней.

— Вот вздор-то говорят, — как бы про себя заметила молчавшая до сих пор Вриенна, рабыня родом из Сирии, заведовавшая у Леды благовониями и притираниями.

— Почему же это вздор? — исподлобья взглянув на нее, процедил египтянин.

— А потому, что у всех вас ума и сообразительности меньше, чем у ихневмона[111]. Разве вам невдомек, что наша госпожа полюбила молодого египтянина Онуфрия? Она страдает от того, что тот отвергает ее любовь…

— Онуфрия? — в один голос недоумевающе воскликнули все. — Полюбила Онуфрия, ты говоришь?

— А то что же? А ты думал, что госпожа сохнет по складкам твоего жирного лица? — в упор глядя на раскинувшего в недоумении руками Сарап-Аммона, расхохоталась Вриенна.

— Молчи у меня! — прикрикнул на нее раздосадованный домоправитель.

— Что же? У госпожи вкус недурен, — продолжала как ни в чем не бывало Вриенна. — Онуфрий молод, статен, красив. Только цвет лица у него темноват. Ну да вы, египтяне, с лица-то словно обгорелые, — поддразнила она Сарап-Аммона.

Тот только отмахнулся и стал грубым тоном отдавать приказание Кефтену завтра пораньше заглянуть на кухню и проверить у повара наличные запасы.

Вриенна улыбнулась и молча направилась в помещения женских покоев, где находились спальни для прислуги.

VII

В покое сидела Леда и ее подруга Мелита…

На тонких пьедесталах крокейского зеленого мрамора возвышались вазы из африканского ярко-желтого мрамора. В них разливали аромат свежие, еще не обсохшие от росы, цветы.

Среди ваз блестели своей белизной статуи богов и богинь. Мрамор, казалось, дышал… Улыбающиеся уста словно говорили о здравой светлой жизни, и выражение свободы и нравственной мощи веяло на их белых челах… Гений греков отпечатался в этом дивном творчестве…

— Какой несносный мой муж, — капризно проговорила Мелита, — я звала его вместе со мной, а он говорит, что ему теперь нет времени.

— Твой Элланик, — отвечала Леда, — постоянно занят делом.

— Ах, какая мука с ним, — заметила избалованная Мелита, — он, кажется, и минуту боится отдать удовольствию. Говорит, что проведенное в развлечениях время — потерянное время.

— А была пора, — жалобно вздохнула молодая женщина, — когда Элланик был, как и все молодые люди, предан развлечениям… Но это, когда он еще не носил цепей Гименея… Смело и ловко, как пифийский Аполлон, он красовался на ипподроме, когда, правя квадригой, летел, опережая соперников, и получал венок победы!.. Как кипуча и разнообразна была его жизнь! Он то внимал в палестре речам философов, то вместе с молодыми людьми носился в вихре удовольствий… А теперь!.. Всегда серьезный, он занимается этими людьми, христианами… Он бывает на их собраниях, перестал заказывать себе дорогие плащи из шелка, привозимого из Серики[112], которыми щеголял, бывало… А ужаснее всего то, что он меня хочет привлечь в эту секту… Но разве я могу жертвовать удовольствиями ради каких-то сумрачных истин почитателей крестов — христиан.

— Да, вот… — продолжала Мелита. — Ведь друг твоего мужа, Тимофея, — христианин, и Элланик подружился с ним…

Леда вздрогнула и скользнула рассеянным взглядом по белокурым, светлым волосам подруги.

— А может быть, в учении христиан и заключается высшая правда, — задумчиво проговорила она, — но не в этом суть…

Незаметная дрожь пробежала по всему телу Леды, и она стала нервно ходить по комнате.

— Онуфрий говорит, — обратилась она к подруге, — что смерть для христиан утешительна, что она есть только сон, в котором человек переходит в какую-то лучшую жизнь…

В бледно-голубых глазах Мелиты отразился ужас, и она беспомощно уронила свои тонкие белые руки на широкие волны розовой туники, серебряные узоры которой спускались с ее колен.

— Умереть? — воскликнула она. — Как это страшно!

Леда молча ходила, загадочно улыбаясь.

Мелита поглядела на свою мудрую подругу долгим взглядом и только теперь заметила в ней перемену.

Лицо Леды похудело; затаенная дума теплилась в ее глазах, и выражение сдерживаемой, подавляемой тоски обвило их, а на гладком, подобно мрамору, челе пролегла, как тень, легкая морщинка…

Но было то, чего никто не мог уловить никаким наблюдением в этой сильной самообладанием женщине, это захватывающая страсть, разрывающую сердце любовь.

Внешне Леда казалась холодной статуей со своим таинственно грустным взором.

— Что с тобою, Леда? В тебе какая-то перемена, — с испугом проговорила Мелита, и дрожащие слезинки, как жемчуг, повисли на ее густых, пушистых ресницах.

— Со мной? — удивленно спросила Леда. — Ровно ничего. Что это тебе показалось?

И она словно выросла, бросив на уничиженную подругу гордый, властный взгляд…

Та вся сжалась, и что-то растерянное, умоляющее выражала ее невольная, робкая поза…

— Вот странно! Пришло же тебе в голову: «переменилась»! Успокойся, милая Мелита, я все та же, разгони свои мрачные подозрения…

И Леда рассмеялась непринужденным смехом.

— Поговорим лучше о пустяках, совсем о постороннем…

— Знаешь, — вдруг неожиданно произнесла легкомысленная женщина, — я просила мужа устроить пир. Некоторые знакомые придут из Александрии. Ты знаешь, Леда, я не могу грустить, скука убила бы меня. Праздник, полный шума, движения, праздник — вот мое счастье. Гул ликования, торжество веселья — атмосфера, в которой только и возможно мое существование. Обыденная, будничная жизнь мне невыносима; она томит меня, как кошмар, застилая все передо мной своей серой мглой; и я вся замираю, сжимаюсь, словно вступаю в какую-то безвыходную глушь… Мне, как бабочке, необходимо солнце радости, волшебно сияющий день весны…

— А друг твоего мужа, Онуфрий, будет у нас на пиру? — прервав свою жалобу на повседневный строй жизни, спросила Мелита.

— Едва ли, — спокойно ответила Леда. — Он не бывает на пирах и вообще избегает общества и веселья. Любимая его мечта — жить в пустыне. Какими яркими красками он описывает ее!..

— Как! Удалиться в пустыню? — недоумевающе воскликнула Мелита. — Жить в пустыне, ничего не иметь, никого не видеть, постоянно трепетать, подвергая себя опасностям?.. Это невозможно, удивительно! И такой молодой… Нет, это ужасно!..

— Да, это странно, — сказала Леда, — но тем не менее Онуфрия действительно влечет к одиночеству…

Полное непонимание отражалось на лице Мелиты, так что при взгляде на ее широко раскрытые глаза становилось ясно, что ничто не могло бы воодушевить на добровольное перенесение лишений и невзгод эту потонувшую в роскоши и холе, слабую духом, светскую женщину.

— Ах, неужели бы ты могла сочувствовать таким идеям? — спросила она.

— Нет, — проговорила Леда, — но мне понятен героизм, и я, быть может, была бы способна на такие пустяки.

Несокрушимая сила блеснула в ее глазах, и ее энергичная фигура представляла в эту минуту поразительный контраст с этой изнеженной женщиной.

Лицо Мелиты было бледно; налетевшая скука повседневной жизни искажала его черты…

Леда взглянула на подругу, и снисходительная, жалостная улыбка замелькала на ее устах.

— Успокойся, Мелита, — сказала она, — пойдем лучше к нам: там собрались друзья Тимофея, и, наверное, царит веселье…

Мелита мгновенно развеселилась; розовый румянец разлился по ее нежным щекам, глаза засияли беззаботно пылким выражением.

— Пойдем! — по-детски воскликнула она. — Дальше, дальше от пугающих призраков обыденной жизни!

— Леда, как я люблю это трепетное, торжественное веселье, — певуче промолвила Мелита, шаловливо качнувшись своей тонкой фигуркой, и, грациозно встав, направилась в триклиниум легкой, воздушной поступью.

«Бессильны твои речи, Онуфрий», — подумала Леда, глядя на пронесшийся перед ней безмятежный образ…



Рис. Маргариты Мальцевой

VIII

Загородный дом Элланика стоял недалеко от дороги, которая вела в Антинополь и Ликополь.

Здесь холмы замыкались рощами, а за ними, в стороне от равнин и пастбищ, тянулось обширное песчаное пространство, в котором, как чудесный оазис, блистал в лучах солнца роскошный сад.

Среди этого сада возвышался дом, построенный по плану и прихотливой фантазии Элланика, — только одна зала (устаревш. — *ред.*) была в египетском стиле.

Элланик не любил север, и поэтому с полуночной стороны в его доме не было окон, а их заменяла стена, середина которой была насквозь пробита причудливыми узорами. В зимние дождливые вечера эта стена задвигалась переносными затворами из розового дерева.

Чисто египетского стиля зала (экус[113]), похожая на базилику[114], имела длинную крышу, которая в центральной части залы возвышалась над потолком боковых сторон ее. Вдоль залы шли в два ряда колонны, разделяя ее на три обширные части. Канители[115] этих колонн упирались в края потолка нижнего этажа, на которых покоились стены второго этажа этой залы, куда вливались снопы света через высокие окна. На боковых крышах залы шли террасы для прогулки.

Потолки залы были греческие. Их покрывала сеть кессонов[116], состоявших из квадратов, пустых внутри, лепные края которых выступали вниз. Дно кессонов, или впадины между краями их, образовывал ровный, гладкий потолок.

Середину залы занимал большой продольный мраморный стол, разукрашенный тончайшей работы бронзою. Кругом его тянулись мраморные ложа для пиров. Лихны[117] спускались на бронзовых цепях с потолка боковых сторон залы…

Элланик страстно любил природу.

Он пламенно любил свою родную тропическую природу: и это знойное небо с его огненным солнцем, и раскаленные пески в их тревожной дремоте, и зловещую тишину полуденных часов, и быстролетные прозрачные сумерки, и холодные ночи с их неизгладимыми картинами, озаренными влажным оком луны, и лучезарное утро в его дивных окрасках.

Элланик не любил замкнутой жизни роскошных покоев, переполненных блеском мишуры, — его утомлял шум, неустанная молва, стук и грохот большого города. Здоровый духом и телом, общительный и веселый, он любил в дорогом златотканом наряде, на своих чудных конях, в блистающей квадриге[118], перегнать противника на ипподроме; любил бешено мчаться на арабском скакуне по необъятным равнинам.

Но более всего в мире, даже больше своей жены Мелиты, любил он природу. В природе он находил все счастие, всю эстетику и поэзию, все искусство и знание. Природа, чистая, девственная, чуждая фальши и обмана, величавая и прекрасная, украшала его широкий кругозор и отвечала на запросы его души.

Онуфрий встретил в нем благоприятную почву для животворных семян учения Христова.

Элланик со свойственным ему жаром сердца поверил во Христа и совершено изменил свою прежнюю жизнь. Он осудил свое пристрастие к состязанию на квадригах в ипподроме, как и пристрастие к роскоши одежд. Теперь природа стала для него зеркалом, в котором отчетливо и

ярко отражались чудные дела Божии.

В любовь его к жене проникли забота и тревога.

Он глубоко жалел Мелиту и со всем усердием старался исправить, обновить ее, вдохнуть в нее интерес к высшим целям, укрепить ее волю. Мелита же, преданная роскоши и всевозможным удовольствиям и развлечениям, жалуясь на скуку, уехала на время в свою великолепную виллу, расположенную на востоке от Гермополя.

* * *

Сиял один из тех прекрасных дней, которые проливают в сердце сладость отрады, создавая возвышенное, чудное настроение.

Элланик идет по анфиладе своих зал.

Вот север… Он остановился, и его ясный, веселый взор затуманила грусть.

— Здравствуй, друг, — внезапно, как нежный звук лиры, раздался голос Онуфрия. — Наконец-то я нашел тебя!

— Онуфрий, как я рад! — воскликнул Элланик, быстро обернувшись.

Он стремительно обнял гостя.

— Пойдем отсюда, — проговорил грек.

— Разве здесь не хорошо? — спросил Онуфрий, загадочно улыбаясь.

— Посмотри, друг, сюда, — указал он на северную стену.

Элланик взглянул и невольно залюбовался. Сквозь гигантское кружево резных отверстий лился не яркий, но тихий, спокойный свет. Там, под дуновением легкого ветерка, шелестели серебристые листки маслин, а за ними, как золотая мантия, величаво простирались пески равнин…

— Все хорошо в Божием мире, — сказал Онуфрий.

— Помнишь, — продолжал он, — что говорит вдохновенный царь Давид: «Все концы земли увидели спасение Бога нашего» *(Пс.97:3)*, и еще: «Восклицайте Господу, вся земля!» *(Пс.97:4)*.

— Онуфрий, как я счастлив! — говорил Элланик, направляясь с ним в экус. — Как я счастлив! Я узнал Христа, я пришел к истине, и радость, и свет ее проникают все сердце мое…

— Но, — глубоко вздохнул он, — есть одна забота, одно мучение, которые гнетут и отравляют меня…

— Ты говоришь о Мелите? — быстро проговорил Онуфрий. — Успокойся, друг, будь уверен в милосердии Божием: Христос не оставит ее.

— О, только бы она пришла ко Христу и бросила свою пустую жизнь! — воскликнул Элланик.

— Надейся и пребывай в мире, — добавил участливо египтянин.

— Господин, в экусе ожидают тебя гости, — известил появившийся навстречу раб.

— Иди, я сейчас буду там, — махнул ему рукою Элланик.

Слуга мгновенно скрылся, словно затерявшись среди чертогов. После обмена обычных приветствий между хозяином и гостями слуги принесли изящные мраморные вазы, переполненные различными плодами, потом расставили низенькие амфоры, обвитые гирляндами белых и красных роз.

Вазы, казалось, благоухали, а в амфорах пенилась искрометная влага… В них было вино, смешанное с водой, благовонная жидкость критского меда, напиток из фиников и ключевая вода.

На столе стояли хрустальные тарелки и калафы[119], походившие на наши стаканы. Рядом с ними лежали серебряные щипчики для плодов; они имели круглую форму и представляли из себя пустой внутри шар, разрезанный пополам, с двумя прикрепленными к нему ручками.

Один из присутствовавших, сын знатного комита, Диомей, играл на кифаре[120]. Звуки лиры то лились с тихой, покорной грустью, то плакали с мучительной жалобой, то дрожали воплем горя, то замирали от страданий и разрешались ужасом драмы. Или вдруг прерывались на миг и, внезапно изменив тональность, заражались неудержимым потоком бурного веселья, рокотали и переливались звуками наслаждения жизни…

Но вот руки Диомея оставили кифару; звуки прервались, и лира замолчала… Долгое время никто не произносил ни слова; затем безмолвие сменилось рукоплесканиями, выражающими похвалу и удовольствие…



Рис. Ольги Бухтояровой

IX

— Чем занимаешься теперь, друг? — нарушив молчание, с улыбкой обратился Онуфрий к греку Анфемиду. — Все продолжаешь ткать метафизическую паутину, все еще смешиваешь религию с метафизикой[121]?

Быстрый, как молния, взгляд Анфемида остановился на лице египтянина, скользя по нему

неуловимой насмешкой.

— Нет, я не говорю, — твердо отвечал грек, — что все в религии — создания одной только фантазии человека… Но, как известно, первоначальная метафизика всех народов заключается в их религиозных понятиях и представлениях. Тут — сверхчувственный мир, душа и Бог! Скажи же мне, Онуфрий: то, что за природой, не подлежит ли рассуждениям и фантазии человечества? И не всякий ли сам создает эту фантазию, смотря по степени мышления и силе воображения?..

— Да, — проговорил Онуфрий, — метафизическое, сверхчувственное каждый может создать, смотря по своему развитию, способности, более или менее богатому содержанию своего внутреннего мира, это правда. Но вся ложь и все заблуждение в том, что не надо смешивать одно с другим…

— Религия, — продолжал он, — не есть философия особого рода; она порождает не одни метафизические представления.

Грек окинул глазами своих собеседников. Этот взор, как блуждающий луч света, пробежал по ним.

— Я согласен с Онуфрием, — подтвердил Диомей, — ведь Сократ шел против софистов, которые не верили в общую для всех истину, говоря, что всякий человек может понимать все по-своему. Сократ же верил в безусловную истину, страстно добивался открыть ее и утверждал, что без этой истины не могло бы существовать в мире ни общества, ни закона, ни правды…

— Нет, — убежденно произнес Анфемид, — религия — это примитивная метафизика, на почве которой вырастает со временем историческое философское умозрение. Первая философия народов заключается в их священных книгах.

— Но это еще не значит, — сказал египтянин, — чтобы эти священные книги были философскими трактатами, а религии — философскими школами.

— Ах, уж эти мне метафизика и религия! — воскликнул римлянин Публий Флориан, и глаза его загорелись. — О чем спорить? Пусть пребывает там где-то этот сверхчувствительный мир; пусть нити метафизики незримо переплетаются с нитями религии!.. Мы живем здесь, в этом чувственном, прекрасном мире, вкушаем его блага, упиваемся его прелестями, наслаждаемся его дарами, воспринимаем в себя его красоту, — и все это чисто внешним образом, осязательно, больно и сладостно.

— Оставь свою материю, — возмутился Анфемид.

— Узкий, чувственный человек! — презрительно бросил он Флориану.

Тот беззаботно и весело рассмеялся и стал с удвоенным аппетитом истреблять бананы, финики и сливы.

— Но ты забыл, друг, — вставил свое слово Элланик, — религиозное, освобождающее значение греческой философии…

— Впрочем, — стараясь стушеваться, прибавил он, — я обещал никогда не погружаться в хаос метафизических исследований.

И жизнерадостный взор грека померкнул, когда по нему скользнул могучий взгляд мечущих

искры черных глаз Анфемида.

— Но ведь религия, — горячо заговорил он, — с полным убеждением свидетельствует, что есть метафизический мир и метафизическое существование.

— Но и только, — возразил Онуфрий. — Метафизика сходится с религией лишь в том, что признает некоторое сверхчувственное бытие, которое, однако, сама метафизика не может ни найти, ни засвидетельствовать.

— Как! — прервал Анфемид. — Ведь метафизика предполагает самораскрытие Абсолютного и Его мощное откровение, исторически же — какую-либо форму такого откровения, то есть известную религию…

— Но сами идеи божественного, — сказал египтянин, — не самодельны, никем не изобретаются и непременно должны быть даны метафизике как нечто безусловно положительное.

— Метафизика сама в себе единственная сила, — гневно проговорил Анфемид, — и ее духовное начало не может быть дано как внешний частный факт, оно может только открываться в чувственном.

— Да, — сказал Диомей, — но только одна безусловная истина не может быть дана эмпирически. Ведь и в постепенном развитии греческой религии и греческой философии шло подготовление языческого общества к восприятию истин вселенской религии, которая одна может вместить совершенное откровение. Ведь Христос царствовал и до Своего вочеловечения!.. И язычники-философы, познавшие единство Божества, были внутри просвещаемы этим Словом, без Которого нельзя познать истины. Всякая религия, кроме христианской, ограничена по своему содержанию, относительна, условна, как временная языческая форма.

— Ах, Анфемид! — вздохнул Диомей. — Ведь в немногом ты расходишься с нами; рассейся это твое маленькое заблуждение, и ты наш! Я молю Христа Бога моего, чтобы Он просветил и привел тебя к истине. Я не дождусь того времени, когда ты, покинув заблуждение, будешь иметь возможность принять святое крещение.

Глаза Диомея с братской нежностью смотрели на грека, и голос его был трогательно кроток.

Онуфрий с любовью взглянул на Диомея и сказал:

— Успокойся, брат, я тоже молюсь об этом и надеюсь, что Бог услышит наши молитвы. Будем же терпеливо ждать!

На несколько минут все замолкли, словно сама задумчивость повеяла здесь своими крылами.

А предмет нежной заботы их сидел, плотно закрыв уста, замкнутый в своем самомнении и непогрешимости идей. Лучи солнца, струившиеся в окна экуса, золотым светом касались его черных волос, локонами обвивавших античную голову с высоким умным лбом.

Он походил на гордого духа, с которым, за цену покорности его, ангелы ведут непрерывную борьбу…

X

— Я верю, — наконец проговорил Анфемид, — в безусловную метафизику, которая выше религии, которая ничему не подчинена, но сама все просвещает, открывая вечную жизнь. Я верю в истину этой метафизики, и никакие доводы, убеждения и речи не разуверят меня!

Анфемид умолк и не говорил ни слова во все время беседы друзей.

— Будем ждать и надеяться, — повторил Онуфрий, — что сила истинной религии победит, и Христос приведет тебя к Себе!

— Знаешь, Анфемид, — несмело начал Диомей, робко глядя на него, — диалог нашего Платона[122] о красоте…

— Да, нашего, — произнес он, делая ударение на последнем слове.

— Так вот, в красоте Платона была проповедь идеального мира. Она преображала самое тело человека; она учила его тому, что самый образ человека сообразен Божеству и что божественное может явиться в человеческом образе.

— И в Богочеловеке, — добавил Онуфрий, — все естественное, непосредственно человеческое всецело приносится в жертву, умирает в себе, чтобы ожить в Боге и соединить человечество с Божеством…

— Но идеи о Боге и бессмертии, — продолжал Онуфрий, — только в христианстве получили новый полный смысл и значение. Христианство не заимствовало, а пресуществило их в себе, очистило, развило, освятило их. Единая истинная вселенская религия есть откровение. Она не самодельна и не может быть выдумана человеком. Эта религия есть безусловная истина, которая дается нашей мысли, а не создается ею. Сам по себе разум не мог бы выдумать сущее, положительное, безусловное; сам по себе он не мог бы прийти к этому, если бы истина не была дана ему в откровении.

Элланик и Диомей восторженно внимали Онуфрию, между тем как Анфимед молчал, казалось, весь превратившись в неподвижную статую.

— Не сердитесь на меня, друзья, — неожиданно заговорил Публий Флориан, — но, по моему убеждению, доказательством утонченной общественности и высокого развития является равнодушное отношение ко всему достойному восторга и обожания.

— Анфемид, друг мой, — с комическим пафосом воскликнул он, — не сердись, что я не поклонник твоей метафизики! Право же, как хорошо погрузиться во всю эту внешность, — сколько в ней наслаждений! Ты знаешь, я не люблю волнений. Покой и наслаждение — вот моя жизнь!

— Вернее, застой! — иронически сквозь зубы проговорил грек.

— Нет! — весело сказал Флориан. — Я наслаждаюсь и в то же время отдаюсь покою. Ты не понимаешь этого рода наслаждения. Я беру от жизни все: все виды утех мои, и никто их отнять от меня не может. Что взято мною, то мое, и назад от меня не уйдет. Так выгоднее и безопаснее. К чему я буду напрасно терзаться в стремлении узнать правоту религий или ловить тени метафизического мира? Я далек от восторга и ничему не удивляюсь, следуя принципу Горация: nil admirari[123]…

— Однако, Элланик, — обратился он к хозяину, — еще не потускнела твоя страсть к природе?.. Прости, друг, но что может быть лучше столичной жизни, которая захватывает, кипит и несется в своем блеске, движении, радости, заботе и поглощающем интересе, так что человек невольно живет ее подробностями, сливается с ее побуждениями, дышит ее фибрами, сознавая, как и в нем бьется пульс ее многозвучной деятельности, чувствуя, как и в нем вырастает жажда счастья, которое он спешит взять с шумной арены этой жизни, усыпанной цветами успехов и неудач… Я никогда бы не мог постоянно жить вне города. Переезжать из города в город, жить по разным городам — вот мое благополучие! Но как уроженец столицы, я больше всего люблю ее. Эти разновидные здания, термы, театры, площади… И в часы вечера — эти огни, которые, сверкая и соединяясь в одну цепь, создают словно люстру жизни. Нет, не живи я в столице, надо мною сжалилась бы Атропос[124].

— Я не знал, что ты поэт, — с сарказмом заметил Анфемид.

— Поэзия — дар Божий, — сказал Онуфрий. — Только надо одушевляться ею на добро, а не для зла.

— Я верю, Анфемид, — спокойно добавил он, — что твой любящий и жаждущий дух наконец обретет истину, а в ней и вечное счастье… А ты, Публий, также будешь наш: ты сбросишь с себя чуждую тебе одежду хамелеона и облечешься в свет правды.

Беспечный Флориан налил себе в калаф[125] критский мед и стал пить, задорно поглядывая на сумрачного Анфемида.

— Друзья мои, — вдохновенно проговорил Онуфрий, — мне хотелось и отрадно было сказать вам о том, что составляет суть и основу жизни и что есть величайшее блаженство человека. Не стихийными силами, не естественными производительными силами природы, не ее семенем и кровью будет жить человек… Нет, он будет жить Словом Божиим, Которое пресуществляет хлеб и вино в Свое божественное Тело. Это Слово Божие — Христос Бог, Он сказал нам: «Я есмь хлеб жизни… ядущий хлеб сей будет жить вовек» *(Ср. Ин.6:51)*. Возлюбим всем сердцем и всею мыслью Спасителя нашего, запечатлеем глаголы Его в тайниках душ наших и последуем за Ним!.. Тогда в каждом деле нашей жизни, в каждом ее перевороте, в радости и горе, в каждом нашем шаге и дыхании мы будем чувствовать и сознавать исполнение Его божественных глаголов: «Ядущий Меня жить будет Мною» *(Ср. Ин.6:54)*.

Чудный свет пронизал глаза Анфемида, но он поникнул головой и промолчал; а легкомысленный Публий перестал есть, и остроты не шли с его языка…

XI

Луна плыла по необъятной шири небес.

Вспыхивая и мерцая, сверкали звезды…

Элланик с Онуфрием и Диомедом сидели на террасе. Она спускалась в сад, который стоял, весь словно преображенный фантастическими лучами месяца…

Плющ пробегал по мраморным плитам, причудливо цепляясь за карнизы и обвиваясь вокруг перил. Ползучие растения повисли на них сеткой…

— Не хотел остаться с нами, уехал, — начал Диомей. — Ну, Публия и не жалею: он пристрастился к суете и не может провести двух дней вне своего любимого города…

— Анфемид придет ко Христу, — твердо сказал Онуфрий. — Молись, но не страдай. И Публий не погибнет… Милосердие Божие — бесконечная глубина, которую не заполнит все неизмеримое мировое пространство…

— Я люблю природу, — прервал Элланик, — люблю звездное небо, люблю все мироздание. Но знаешь, какая иногда фантазия живо и ярко рисуется передо мной? Я словно вижу луну; мне представляются ее горы, пропасти, долины и моря… Это какой-то странный и чудный мир. Там нет цветного небесного свода, но вверху и кругом золотистая неясная мгла, которая уходит в безбрежную пустоту… Там нет ни холода, ни жара, и нет дождевых облаков. Но, как это ясно видится моим очам, там разлита животворная влага, трогательный полусвет, кроткие тени, невыразимый аромат, который испускают растения и которыми дышит почва. Там капли росы украшают дивным убором растения, и, когда лучи солнца падают на Селену, цветы, осыпанные росою, блестят миллионами искр и чудных окрасок. Но вот роса испаряется, и алмазная сеть поднимается в бездонное небо, блещущие нити обрываются на пути, висят, как сияющие ожерелья, и снова поднимаются ослепительными зигзагами все выше и выше, словно распущенные сапфировые бусы… А затем опять наступают влажные, таинственные ночи!..

— Мне месяц кажется не только светлым, но и влажным, — продолжал Элланик, пристально глядя на кроткое ночное светило.

— Может быть, ты и прав, друг, — отвечал Онуфрий. — Это тайна! Кто узнает эту истину? Что можем мы знать о том, что сокрыто от нас? Относительно звезд и планет мы находимся только в области гаданий и предположений…

— Как ты думаешь, Онуфрий, — спросил Диомей, — есть ли живые существа на других мирах, кроме нашей земли?

— Это тайна для нас, — повторил Онуфрий. — Бог не открыл нам этого. Откровение молчит… Стало быть, нам не надо знать об этом.

— Но это не успокаивает и не утешает, — возразил Элланик. — Я пламенно хотел бы знать тайну миров.

— Бог не открыл нам этого, — продолжал Онуфрий. — Да и зачем Всемогущему Богу непременно населять миры существами? Разве эти миры без них менее чудесны, менее прекрасны по своей сущности и менее возбуждают в наших сердцах хвалу благости и величию Божию? Как можем мы знать без Божественного откровения, какое значение имеют звездные миры в непостижимой деятельности Творца? Кто может понять, какими мыслями руководился Всесильный, когда создавал миры и повелевал солнцам гореть разноцветными огнями? Кто может проникнуть в глубину премудрости Божией и в бесконечность замыслов Его? Кто разгадает цель и смысл бытия? Какой человеческий разум постигнет это, и какая наука объяснит это? Кто увидит лик тайны, кто снимет покрывало с него, кто перейдет границу ее? Откровение ничего не говорит нам о жизни миров, поэтому мы ничего не знаем о них. Поглядим вокруг себя на земле… В природе так много сокрытого, неизвестного для нас. Так не лучше ли обратить свои знания в пределы возможного? Гармоническое строение организма человека — целый мир, в котором каждый орган так мудро устроен, что невозможно достойно прославить за это Господа.

— А душа человека? — говорил Онуфрий. — Это бесконечный мир, проявления которого так разнообразны, что нам никогда с ним не освоиться. Господь желает нам только блага и пользы нашей душе, чтобы мы обрели вечное блаженство. А знание миров не даст нам ничего, кроме бесплодной и ненужной прибавки знаний в области проблем. Господь хотел, чтобы мы

сосредоточивались на своем духовном мире, шли по пути нравственного совершенствования, развивались в подвигах добра, применяя его в общественной жизни на пользу ближних, все одушевляя любовью к ним. Вот цель, значение и смысл нашей земной жизни. Только об этом учил и говорил Спаситель. Сколько добра мы можем совершить с сердцем, полным любви к Богу! До какой силы добродетели и цвета благочестия мы можем достигнуть! Вся эта духовная жизнь так действительна и многосложна, так могуча по своим действиям, состояниям и идеям, что по силе своего содержания не уступает и неведомому бытию многочисленных миров. Господь велик; Он выше, прекраснее, бесконечнее всего. Охваченное восторгом наше сердце преклоняется перед Ним, горит любовью, стремится к Нему, и теряется, тонет перед Его величием, могуществом, премудростью, красотой, любовью… Мы существуем животворящей силой Божией, и в вечности дыхание Его создаст нам блаженство… Зачем же мы будем стремиться узнать о планетах, отстоящих от нас на миллионы и больше стадий? Что заимствует из этого наш разум, чему научимся мы и что приобретем?

Онуфрий замолчал, вперив взор в ярко блистающую звезду Спику…[126]

Друзья сидели, погруженные в раздумье. А прекрасная голубая звезда словно звала и манила, не разрешая загадки, и ее лучи из колоссальной дали мерцали безмятежно и таинственно. Кругом же на земле, казалось, все говорило: «Христово Евангелие — вот деятельность для детей земли, и к ней они должны прилепиться».

— Ты прав, Онуфрий, — встрепенувшись, в один голос, сказали греки.

Пролетело несколько минут.

— Онуфрий, — спросил робко Диомей, — ты не изменил своего решения уйти в пустыню?

— Нет, — отвечал тот, обернувшись к друзьям.

— Вы знаете и понимаете меня. — сказал им Онуфрий. — А другие? Меня будут считать себялюбцем; меня назовут человеком, который уходит от людей в горделивом самомнении, заботясь только о спасении своей души. Пусть так, пусть! Я радостно понесу клевету и с горячей любовью и светлым разумением встречу упреки и осуждения людей. Ведь они не понимают и так думают потому, что не знают меня и выводят заключения по внешним действиям. Они видят только явления, а причина и сущность ускользают от них. Кто может знать безошибочно, какой переворот совершается во внутреннем мире человека, какие идеи владеют им с юных лет, и какие мысли осуществляет он на деле? Поэтому я далек от негодования на ближних.

— Отшельник, — продолжал Онуфрий, — этот себялюбец, по мнению заносчивого света, обладает всей силой любви, молясь в уединении за весь мир. Разве не возносит он ежедневно своих жертв на алтарь общего блага? Разве он не самый деятельный член, который заботится о разносторонней пользе людей?..

— Когда же ты покинешь нас? — дрогнувшим голосом сказал Элланик.

И сдержанные слезы затрепетали в глазах собеседников, заслоняя их прозрачной, грустной пеленой…

— Я еще год пробуду с вами, — проговорил Онуфрий, с любовью улыбаясь.

Радость засияла в их глазах, словно они озарились блеском далеких, неведомых звезд…

А дивная, полная загадок ночь веяла нежной прохладой, вселяя в людей возвышенное настроение и вознося их безотчетным восторгом…

Чудился шепот тропической ночи, которая приближалась вслед за дневным сиянием…



Рис. Ольги Бухтояровой

XII

На террасе того дома, в котором жил Онуфрий, у Тимофея, сидела за прялкой старушка.

Онуфрий ходил молча по мозаичному полу, задумчиво глядя перед собой…

Это была кормилица и нянька Онуфрия, вскормившая и выходившая его. Она была благочестивая христианка и, как самая преданная, самоотверженная мать любила своего питомца глубокой, безмерной любовью.

Ей было лет семьдесят. Серая шерстяная туника с высоким воротом и длинными рукавами облегала ее худощавую фигуру. Совершенно белые волосы были гладко причесаны и заколоты на затылке.

Испещренное мелкими морщинами лицо Таосы дышало таким добродушием и искренностью, что с первого взгляда она внушала к себе неограниченное доверие.

И действительно, честность и прямота ее были необыкновенны. Несмотря на свои лета, она носила в себе живую бодрость и такую энергию, что в ней не замечалось и следа дряхлости. Увядший цвет лица ее освещался внутренним блеском. В такое кроткое выражение слагалась ее улыбка, что вызывала к ней расположение.

Голубые ласковые глаза Таосы были необыкновенно ясны; они словно отражали чудесную красоту ее души, так что окружающим становилось легко и светло при виде ее. Она производила какое-то умиротворяющее впечатление, словно затемняла все дурное, порочное, тяжелое в жизни, все сглаживала и украшала собой, напоминая о том, что, несмотря на царящее зло, много еще есть прекрасного и отрадного в мире…

Таоса казалась олицетворением той прекрасной, светлой старости, которая проникнута детской непорочностью. Эта старость никого не тяготит своими жалобами и вздохами. Она молча и со смирением переносит боль и не ропщет, не укоряет. Она живет с молитвой и любовью ко всему божественному…

— Так ты уже всецело решил, Онуфрий? — обратилась старушка к юноше. — И скоро уйдешь?

Таоса, не оставляя работы, с глубокой любовью взглянула на него.

— Да, Таоса, — отвечал он. — Ты давно и хорошо знаешь о моей любви к пустыне и можешь понять, что все уговоры и просьбы остаться в миру будут бессильны и напрасны. Моя мечта должна осуществиться…

— Я это знаю и не удерживаю тебя, — покорно сказала старушка.

— Ты истинная христианка, — продолжал Онуфрий, — и поэтому твоя печаль удивляет меня.

— Не укоряй меня, — быстро проговорила Таоса. — Я радуюсь твоим высоким, чудным стремлениям, но я грешный и слабый человек, и мне жаль расстаться с тобой, моим воспитанником. Не видеть тебя, света моей старости, радости моих угасающих дней — это слишком тяжело и мучительно для меня…

— Подумай, дорогая Таоса, — поспешно заговорил юноша, — ведь смерть неизбежна для всех, а разлука со мной недолга: ты там увидишь меня…

Тихие слезы, как роса с цветов, катились по блеклым ланитам старушки, лицо ее отражало безропотность, а взгляд печальных глаз, полный нежности, был устремлен на Онуфрия…

— Там не будет разлуки, Таоса, а здесь время быстро и безвозвратно пройдет, — прозвучал осторожно, как вздох, и тихо, как шепот ветерка, голос Онуфрия.

Старушка отерла слезы концом платка и сквозь улыбку снова взглянула на юношу.

— Таоса, ты понимаешь меня, — воскликнул Онуфрий. — Окружающим меня непонятны мои желания и стремления, и теперь я никому уже не говорю о них. Ты одна поняла, скорее, почувствовала сердцем, мои устремления, и именно тебе открыл я мир моей души. Моя любовь к пустыне кажется безумной многим из знающих меня, а между тем то, что есть в действительности, я сознаю, чувствую и представляю во всей широте и неизбежности. Все окружающие меня, и друзья и недруги, не хотят понять, да я и не ищу их понимания, что любовь к пустыне — мое предназначение свыше. Всякий избирает свое дело, свою деятельность, свой подвиг. Пути к Богу разнообразны, виды стремления к духовному восхождению различны. Мое желание жить в пустыне — одно из выражений моей любви к Богу. Я знаю, что можно служить Богу и в мире, живя среди людей. Любовь ко Христу — светильник, который будет гореть везде. Господь не заповедовал пустынножительства; но Он Сам уходил на время в пустыню. Как я люблю пустыню! Какие образы святости Духа пронесутся в душе моей, когда эта бесплодная, но дивная пустыня будет охвачена тишиной непрестанной молитвы Богу… Сквозь ночной холод и мириады звезд, блистающих в бездне темно-синего неба, сердце мое замрет в молитве, а ширь пустыни даст моим горячим воздыханиям к Богу полет, как птице крылья. Душа моя вознесется выше сует земных!.. А когда со всех сторон необъятного горизонта пустыни поднимется свет утренней зари, то расступятся звезды и восстанет образ Спасителя мира… Какой неземной свет! Какая неизреченная радость… И я припаду к стопам Его

— Прощай, Таоса, завтра меня не будет в Гермополе, и здесь на земле ты больше не увидишь меня. Не плачь и не тоскуй. Я возрождаюсь для вечной жизни и буду молиться о тебе.

Старушка дрожала… Нервы ее ослабли, она всеми силами сдерживала рыдания, призывая самообладание.

Онуфрий же, весь охваченный трепетным волнением, ничего этого не замечал. Глаза его были устремлены к небу, сердце пылало незнакомым жаром…

— Я ничего не возьму с собой, — продолжал он, — все мое имущество я оставляю тебе, Таоса…

— Я все раздам бедным, а сама уйду в парфенон, — кротко ответила старушка.

— Это твоя воля, но я счастлив твоим решением.

— Неужели тебе не жаль друзей, Онуфрий? — несмело спросила она.

— Нет, я не забочусь только о своей душе. Я люблю тебя, Таоса, как мать, и люблю всех своих друзей. Удаляясь в пустыню, я хочу принести пользу всем людям. Я буду молиться, чтобы в царстве Христа все обрели вечную жизнь и блаженство.

Онуфрий подошел к старушке, нежно приобнял ее за плечи, выражая свою привязанность и любовь…

Сердце Таосы сжалось… Онуфрий же с глубокой грустью посмотрел на нее, и их взгляды сошлись, словно навеки прощались друг с другом престарелая кормилица и ее любимый питомец.

Они молчали, только слышно было биение их сердец. Души их единились с такой христианской любовью, словно Сам Господь присутствовал при этом единении.

Мгновение… И Онуфрий отнял руки и быстро исчез за массивными резными дверями…



XIII

Прошло более полувека…

Фиваида[127] — уже не та сожженная солнцем, бесплодная, мертвая, наводящая уныние пустыня. Нет, это цветущая долина, полная плодородных оазисов; если внутри ее и встречаются громадные пространства, усыпанные песками, то и эти пески носят совсем другой характер, чем в Сахаре.

По пескам Фиваиды под палящими лучами солнца шел старец, египетский монах. Лицо его было утомлено от долгого мучительного пути, но упование, ожидание, энергия неотразимо отпечатывались в его глазах.

Голову его покрывал куколь; одет же он был в хитон без рукавов, достигающий до пят и стянутый поясом. На шею и плечи была наброшена мафорта[128], козья кожа; на ногах виднелись сандалии.

Никто бы не узнал в смиренном подвижнике прежнего гермопольского вельможу, утопавшего в роскоши и изнеженности. Между тем, это был Тимофей.

Спустя несколько дней после того, как из его дома исчез Онуфрий, его жену Леду нашли в ее комнате с сердцем, пронзенным кинжалом: она лишила себя жизни.

Высокомерная женщина как жила, так и умерла. Она закрыла свое сердце для всего, кроме своей сокрушительной любви. Ни одной слезы не проронила она, в холодном молчании пройдя мимо людей со своей безумной мукой. Она не хотела смириться, не хотела открыть христианскому утешению доступ в свое сердце.

Гордость погубила ее.

Тимофей, сильно любивший свою жену, страшно тосковал о ней. К его страданию примешивалась еще и печаль о без вести исчезнувшем друге. Но, при его мирном и незлобивом нраве, он не пал, и вера спасла его.

Случайно встретился он с одним христианином, который отвел его к знаменитому в то время антиохийскому епископу Мелетию[129]. Тот открыл в его сердце, замкнутом горем, источник освежающих слез, исповедал перед ним Христа, и спасительная вера до того охватила грека, что в его сердце возникла любовь к Богу, и под влиянием этой любви он раздал бедным все свои деньги и имения.

Но он не мог забыть о Леде: ее грустный образ носился перед ним, и он видел глубокую, темную рану в ее груди, из которой лилась алая кровь… И всегда, до самой смерти, он всем существом своим молился благому и милосердному Искупителю за несчастную Леду…

Под давлением и воздействием горя, страдающий, но и полный упования и любви ко Христу, Тимофей ходил всюду, где только слышал, что люди там томились от нищеты. Везде он оказывал им помощь. Бедным давал деньги, нравственно страдающих утешал горячим, искренним убеждением и сочувствием.



Рис. Ольги Бухтояровой

Ясную, несомневающуюся, чудесную надежду влагал он в их сердца, и они возрождались к радостной, истинной жизни.

Он укреплял труждающихся, часто сам работал с ними, чтобы ободрить их. Везде являлся он вестником избавления и олицетворением радости. Казалось, при его приближении исчезали куда-то беды и напасти…

Всюду вносил он с собой в общество великое учение Христово, Его вечные, обновляющие жизнь непросвещенных людей глаголы.

Отдав все свое богатство и сделавшись добровольно бедным, ушел он в монастырь, где проводил подвижническую, Богу угодную жизнь.

Однажды он пожелал обойти Фиваидскую пустыню, с целью посетить живших там отшельников. Он хотел видеть их жизнь для пользы и назидания своего и других. И он видел много анахоретов[130] и был потрясен до глубины души их аскетической на земле жизнью.

Неизъяснимы были лишения и скорби их, неслыханны труды, невыносимы борьба и подвиги, но велика любовь и ангелоподобна чистота.

После, придя в свой монастырь, он описал их подвиги, которые составили несколько книг для благотворного и поучительного чтения христиан.

Теперь он шел обратно, окрыленный тем, что увидел, забывая об утомлении тяжелых переходов и благодаря Бога за то, что сподобил его видеть и слышать неизвестных и скрытых от света людей, которыми и держался грешный мир, хотя и не был достоин их…

XIV

В пустыне Оазиса, лежащей в южной части Фиваиды, проходя мимо небольшой горы, Тимофей увидал выходившего из нее старца с длинными белыми волосами и с такой же бородой, спускавшейся до земли. Он был наг и только по чреслам одет громадными листьями кокосовой пальмы. Глаза его были выразительны, лицо худое, цвет тела темно-бронзовый, окрашенный солнцем. Вид старца был страшен и в то же время привлекателен ярко выраженной духовной

красотой.

На голове он нес сосуд из колокинты — горькой тыквы, которая растет в пустынях Фиваиды и Палестины.

Тимофей был так поражен видом старца, что сначала остановился, как прикованный, потом бросился бежать… Не от испуга, нет, а от какого-то странного, трепетного чувства.

Тогда пустынник закричал ему:

— Остановись, брат, ведь я такой же человек, как и ты. Христом Богом умоляю тебя, подойди ко мне.

Этот голос резанул Тимофея по сердцу… Что-то далекое, родное, милое всколыхнул этот голос в нем, но он не мог его вспомнить… Он подошел к старцу и, увидев его святое лицо и взор, светящийся лаской и добротой, упал к ногам его, прося благословения.

Когда он встал, в глазах пустынника сверкали слезы — он узнал Тимофея, несмотря на перемену и долгие годы. Однако отшельник утаил это до времени.

Пустынник позвал Тимофея с собой и сказал ему:

— Пойдем, брат, посмотри на мое жилище и подивись милости Божией, которая щедро благодетельствует мне и охраняет меня от всяких бед.

После недолгой ходьбы по голым пескам они достигли маленького оазиса.

Тимофей не мог произнести ни слова от удивления.

— Что, брат? — проговорил старец. — А ты испугался меня… Я тебе говорил, что велика благость Божия ко мне, грешному.

Пустынник улыбнулся, и эта улыбка, как луч утренней зари, блеснула на его темном лице…

Оазис был прекрасен. Высокая ярко-зелена трава и цветы сплошь покрывали землю. Пальмы, стройные и тонкие, величественно поднимали свои широкие венцы, мелодично колыхаясь в лазури и, казалось, посылали свои жаркие грезы животворному светилу, а оно, это безмятежное солнце, нежило их палящими лучами…

Высокие цитрусовые деревья раскидывали сень отрадной прохлады, и среди их темных листьев причудливо спускались золотисто-желтые плоды, похожие на большие лимоны… За ними находилась природная пещера из темно-розового порфира[131]; крыша ее была покрыта наносной землей, и на ней благоухали цветы. Близ пещеры протекал быстрый ручей; при входе росла большая финиковая пальма, на верхушке которой висело много фиников. Пустынник, обратясь к востоку, помолился и предложил Тимофею сладкие финики. Когда тот подкрепился пищей, пустынник воскликнул:

— Ты — Тимофей, мой друг от младенческих лет, а я Онуфрий, который удалился из твоего дома, покинув тебя!

Монах бросился на шею к Онуфрию, и они обменялись святым лобзанием любви. Сердца их были полны умиления, и они долго сидели молча, глядя друг на друга. Затем Тимофей рассказал пустыннику историю своей жизни, поведав ему также и о самоубийстве Леды.

Онуфрий встал и проговорил:

— Велики, ужасны грехи человеческие. Но не будем отчаиваться, а укрепимся надеждой. Упование — все для человека, оно — якорь спасения даже в час погибели…

— Мы не можем произносить приговор над грешником, — воскликнул Онуфрий. — Мы должны только молиться, искать Божьего милосердия, струить из сердца слезы покаяния… Глубокого, сокрушенно-смиренного покаяния…

Он замолчал и, подняв руки к небу, стал громко молиться. Слова его неслись к горнему, дышали верой и христианской, всепроникающей, святой любовью…

Он так истово молился, что казалось, будто какая-то священная благогодать наполняла все кругом, сменяя молитву чудной тишиной…

Тимофей смотрел на своего друга и радостно становилось ему: Онуфрий словно готов был унестись ввысь, вслед за своей горячей молитвой.


Рис. Ольги Бухтояровой

XV

— Скажи мне, Тимофей, — спросил Онуфрий, — что сделалось с нашими друзьями?

— Года через два после того, как ты ушел от меня, — начал грек, — Флориан стал ревностным христианином, принял крещение; но он жил недолго и вскоре мирно скончался. Диомей оставил все и ушел в монастырь Келлии[132]. Мелита изменилась и поставила себе целью воспитание бедных и брошенных детей. Она ездила всюду вместе с Эллаником, во всем помогавшим ей, и строила орфанотрофии[133]. В Александрии я сам видел созданный ею приют для детей. Она выполнила свою идею и искупила этим легкомыслие и пустоту своей прежней жизни.

— Что же ты молчишь об Анфемиде? — проговорил Онуфрий.

— В утешение тебе я могу поведать о нем, что он освободился от своего метафизического

заблуждения, уехал жить в Элладу, там полюбил одну непорочную девушку и сочетался с ней таинством брака. Больше ничего никогда я не слыхал о нем…

— Я знаю, знаю, — смиренно произнес Онуфрий, — они все спасены, и некоторые из них уже там, в лоне Божием, и созерцают Христа…

— «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, — радостно воскликнул Онуфрий, — буду благословлять имя Твое из века в век!» (ср. Пс.144:1 — *ред.*).

Затем, в ответ на просьбу Тимофея, Онуфрий рассказал ему о себе.

— Я хотел подвижнической жизни, — говорил он. — Отречение от мира пленяло, и жажда суровой жизни возжигала меня. Я рвался в пустыню; образы духовной красоты и святости носились в моей душе, вились передо мной. Я долго томился, но, наконец, решил и тайно от тебя ушел из твоего дома. После продолжительной пешей ходьбы я пришел в город Оксиринх[134], а оттуда в близлежащий монастырь, называвшийся Еремополит. Туда раз явился один пустынножитель. Его просветленные очи с их окрыленно-проникающим взором затронули мое сердце. Я вступил с ним в беседу; он говорил, а душа и сердце мои исполнялись невыразимой сладостью. И живя в миру, как я уже говорил тебе, я всегда стремился в пустыню, и в монастырь укрылся временно, желая испытать свои силы; а теперь, подвигнутый и вдохновленный пустынником, в котором видел олицетворение Христовой радости в отречении от мира, я встал ночью, взял на дорогу несколько хлебцев и вышел из монастыря… Руководимый Богом, я шел, желая узнать Его там, где Он захотел поселить меня. На пути своем встретил одного пустынника, обитавшего, как и я теперь, в пещере. Он научил меня образу жизни пустынников и преподал мне средство бороться с тайными врагами и противостоять им. Он простился со мной, и я уже один достиг этой пустыни, и до сих пор живу в ней… Тебе уже известно, как велико милосердие Божие ко мне, и теперь я еще более обогащен и обласкан милостью Божией, потому что чувствую, что скоро наступит конец моей жизни, и я на закате ее утешен лицезрением друга, который и похоронит меня. Бог послал тебя ко мне, чтобы дать мне отраду. Вот уже шестьдесят лет я живу в пустыне и не видел ни человека, ни зверя. Если бы ты знал, друг, что вынес я и претерпел! То не высказать языком человеческим. Но я говорю тебе только из послушания, так как ты желаешь этого. Похвальба — грех, а смирение — наше приобретение. В продолжение тридцати лет голод и жажда, солнечный зной и ночной холод терзали меня. И в то же время мне рисовались картины всех обольщений, сладостей и сокровищ жизни; и меня тянуло возвратиться в мир. Я боролся и пережил такую борьбу, о которой и теперь вспомнить страшно. К тому же тоска и скорбь постоянно точили мое сердце так, что я много раз изнемогал и думал, что умру. Но я положил свою душу в алкание и жажду, и Господь призрел на меня. Он излил свою благодать на меня, послал мне безмятежность и тишину. И Он дал мне пищу. Вот я пришел в эту пещеру, и у подошвы ее выросла финиковая пальма, каждый месяц произрастающая новые плоды, которыми я и питаюсь наравне с душистыми лимонами. А близ нее течет источник чистой воды. Но мое высшее счастие в том, что Господь посылает ко мне Ангела Своего, который приобщает меня Пречистых Таин Христа и Бога моего. Вчера я удостоился принятия Животворящих Таин и узнал, что скоро смиренная душа моя выйдет из грешного тела. Вот и тебя Господь перед кончиной послал ко мне. Благословен приход твой, и да посетит тебя Своей милостью Бог спасения нашего!..

— Онуфрий, — робко проговорил Тимофей, заглушая слезы, — как сильно ты страдал!

— Да, возлюбленный брат, — отвечал тот, — я страдал от лишений, от отсутствия воды и хлеба. Днем, сжигаемый зноем, я томился от жажды, а когда наступала холодная ночь, я собирал с камней мутные капли росы и освежал ею свой язык и искал и ел сорную горькую траву… Какие

труды подъял я в непроходимой пустыне, этого и высказать невозможно, и не следует высказывать, потому что человек из любви к Богу должен совершать их втайне. Но я не раскаивался в том, что избрал мучительную жизнь пустыни, и милосердный Бог, видя меня, всецело отдавшегося подвигам, велел Ангелу Своему заботиться обо мне. Этот светлый дух, как создание Бога любви, являлся ко мне, кроткий, непорочный, могучий, отрадный, и для укрепления моего грешного тела приносил мне ежедневно немного хлеба и воды. Потом Господь послал мне обильную пищу: близ моей пещеры разросся и расцвел оазис…

Онуфрий молча указал на пальмы… Перед умиленным взором Тимофея в дуновении легкого ветерка высокая финиковая пальма гармонически перебирала своими длинными, копьеобразными листьями; а среди них на тонких крепких ветках, которые ветер, пробегая, не может погнуть, благоухали нежные финики…

— Посмотри, как неизъяснимо милосердие Божие! — словно угадал отшельник мысли Тимофея. — И подивись благости Его! Каждый месяц в продолжение года эта пальма приносит множество плодов.

— Вот выпей и воды, — с любовью угощал Онуфрий друга. — Она так вкусна, что освежает сердце, словно вода живая…

— Вкуси и китр, — предложил он, разрезая острым осколком камня их твердую золотистую кожу.

Тимофей ел белую, похожую на хлеб, мякоть китр и удивлялся, что она не горька.

— Онуфрий, — воскликнул он, — всегда горькие китры, здесь сладки, как мед!

— Тимофей, старайся совершать волю Божию, и все необходимое тебе пошлется Им. Он говорит в Своем Евангелии: «Не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?”… Потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:31-33 — *ред*.)

— Скажи мне, — начал Тимофей, — когда пустынника посетит печаль, кто утешит его? Во время болезни кто послужит и поможет ему? Если сатана пошлет демонов, где он найдет человека, могущего изменить направление его мыслей или уговорить его, когда он одинок? И если не будет у него пищи, где он найдет ее?

— Верь мне, — отвечал Онуфрий, — если какой-либо пустынник пожелает видеть человека, то берет его Ангел Божий и возносит на небо, чтобы он увидел святых. Неизреченная радость наполняет тогда сердце пустынника; его душа озаряется неизреченным светом, и он радуется, что сподобился видеть небесные блага, и забывает все страдания и земные труды свои, перенесенные в пустыне. Блаженство наполняет его, и, возвращенный на свое место, он живет внутренним состоянием и воспоминанием о небе… Он начинает усерднее работать Богу, и упование дает ему силу переживать все скорби и лишения, уверяя его в получении того, что он удостоен был видеть.

Тимофей понял, что Онуфрий говорил также и о себе, но лишь по своему глубокому смирению не мог этого высказать. Он хотел спросить Онуфрия о тайне загробной жизни, но не осмелился, считая себя недостойным.

Онуфрий, казалось, проник в его мысли и сказал:

— Надо верить, брат, в то, что существует чудное бытие, а не допытываться, когда не открыто, какое оно.

— Я люблю пустыню, — закончил отшельник, — не жалел никогда, что отказался от мира и нашел здесь отраду, которая приведет меня к вечному счастию…

— Возлюбленный брат, об одном прошу тебя, — обратился Онуфрий к Тимофею, — не оставайся здесь в пустыне, а возвратись в свой монастырь и погреби меня, не взяв от меня ничего себе в воспоминание. А когда придешь в Египет, вспоминай меня перед лицом братий и всех христиан. Ты послан в пустыню лишь для того, чтобы видеть рабов Божиих и рассказать о их жизни братиям для прославления Христа Бога.

Он умолк, и созерцательный взор его с пламенной надеждой обратился к востоку. Прозрачно-белые лучи рассвета теплились, словно отблеск чего-то милого, родного. Долина была покрыта легкой тенью, которая трепетала в воздухе, готовая рассеяться перед восходящею зарей, проливавшей на все нежный примиряющий свет.

Эпилог

Заходящее солнце озаряло пурпурными лучами святого, умершего о Господе…

Он неподвижно, благолепно лежал вблизи своей пещеры, на рогоже, сплетенной его руками из пальмовых ветвей.

Сквозь его крепко смеженные очи как бы пробивался чудесный свет. Отрадная совершившаяся мысль запечатлелась на его застывшем и онемевшем лице. Уста его были сомкнуты улыбкой таинственной радости.

Лицо Онуфрия преобразилось, словно уходящая к долу душа его навеяла на него отблеск неземной красоты! Казалось, это была не смерть, а прекрасный, блаженный сон, в котором отражались райские видения. Руки же его, прижатые к груди, сложились знамением креста.

Тимофей стоял коленопреклоненный. Он пел похоронные молитвы и песни над усопшим блаженным праведником. Часто его голос прерывали рыдания о покинувшем его друге, но он ободрялся надеждою и снова пел, молясь и прощаясь, и припадая к Онуфрию с желанием теперь уже до погребения не оставлять его…



[1] Епископ Михаил / Памяти отца Григория / Надгробное слово Преосвященнейшего епископа Михаила // Звонница. – 1997. – № 22. – С. 6.

[2] Епископ Никон / Приветственное слово // Звонница. – 1996. – № 18. – С. 3.

[3] Серапис (языческ.) — божество Древнего Египта, считался богом умерших, а также богом изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни.

[4] Изида (языческ.) — божество Древнего Египта, считалась богиней плодородия, магии, защитница фараонов и их власти.

[5] Марк Аврелий (121–180 гг.) — римский император с 161 по 180 г.

[6] Амфитеатр Флавиана — то же, что Колизей или амфитеатр Флавиев.

[7] По другим сведениям, Марк Аврелий был человек слабого здоровья; но несмотря на это, он не только проявлял большую деятельность во все время своего правления, но еще и увлекался философией, вследствие чего ему и присвоено имя философа. Как писатель он прославился своими двенадцатью книгами философских правил жизни, заимствованных им у стоиков. После третьего похода на маркоманов благороднейший из императоров-язычников скончался в 180 г. в Вене, бывшем Виндобоне (примеч. автора текста).

[8] Эпиктет был знаменитый писатель, представитель основанной Зеноном в 308 году до Р. Хр. на острове Кипре школы стоиков, приверженцы которой основывали свои главнейшие понятия о нравственности на четырех правилах добродетели, а именно: на справедливости, храбрости, самообладании и благоразумии (примеч. автора текста).

[9] Герольд — распорядитель и судья на торжествах, рыцарских турнирах; служитель при дворах королей.

[10] Распущенная Фаустина-Анния была совершенной противоположностью своему царственному мужу. Красоту и безнравственность она наследовала от своей покойной матери. Несмотря на это, ее муж обращался с нею с нежною заботливостью и даже защищал

впоследствии в своих 12 книгах. По смерти этих двух знаменитых красавиц — матери и дочери — в честь их воздвигли храмы, на алтарях которых приносились жертвы богам.

[11] Лары и Пенаты — в римской мифологии домашние боги, покровители семейного очага.

[12] Матронами у древних римлян назывались женщины безукоризненной нравственности, матери семейств.

[13] Лориум — небольшое поселение в 19 км к западу от Рима; здесь находилась императорская вилла.

[14] Сенека (умер в 65 г. от Р.Х.)— римский философ-стоик, поэт и госуд. деятель, воспитатель римск. императора Нерона, гонителя христиан.

[15] Арика — город в Др. Риме, располож. на террит. Северной Африки, провинции Др. Рима (соврем. Тунис), торговый культурный центр.

[16] Палатинский холм — центральный из семи главных холмов Рима высотой 40 м, одно из самых древнезаселенных мест в Риме.

[17] Юпитер считался у римлян старейшим и величайшим из богов, отцом людей и бессмертных, богом вселенной (согласно римск. мифологии).

[18] Форум — площадь в древнем Риме, которая служила местом народных собраний при обсуждении государственных дел, а также являлось судилищем. На ней же происходили в известное время и торжища — ярмарки.

[19] Ликторами у древних римлян назывались почетные служители, которые давались государством высшим сановникам администрации, первоначально царям, потом преимущественно диктаторам (в римской республике лицо, облеченное неограниченной властью, избиравшееся консулами и сенатом), консулам и преторам (правительственные лица, пользующиеся высшей властью, между прочим, и судебною), как для исполнения их приказаний, так и в качестве почетной стражи. Ликторы предшествовали сановнику, приглашали народ очистить ему место и оказывать должные почести, а также схватывали виновных и тут же на месте наказывали прутьями, связку которых как знак своего достоинства каждый ликтор должен был носить при себе.

[20] Юнона — согласно мифологии, считалась у древних греков и римлян женою Юпитера, а Минерва — богинею мудрости.

[21] Жрицы богини Весты (по римс. мифол.) назывались весталками. При храме Весты, римской жреческой богини, покровительницы семейн. очага, их было от 4 до 6. Они избирались на 30 лет, и на обязанности их было поддерживать священный огонь на алтаре. Весталки давали обет девственности.

[22] Сестерций — мелкая монета.

[23] Ср. (Откр. 22, 13)

[24] Епископ Смирнский Поликарп (род. ок. 69 г., умер ок. 166/167 гг. н.э.), жил в г. Смирна в Малой Азии, священномученик.

[25] Аникита — епископ Рима с 157 по 168 гг. н.э.

[26] Диана (у древних греков — Артемида) — в римской мифологии богиня охоты, плодородия, олицетворение луны…

[27] Рея — в античной мифол. богиня, исцелившая языческого бога виноделия Диониса.

[28] Дионис — в античной мифол. бог винодения и театра, сын Зевса.

[29] Филадельфия — имеется в виду: город на юге Италии.

[30] Ликторы — в Древнем Риме госслужащие, приводившие в исполнение приговоры должностных лиц обвиняемым (вплоть до смертной казни).

[31] Адриан Публий Элий Траян — римский император в 117-138 гг

[32] Эскулап — по мифол. Древн. Рима, языческий бог врачевания, изображался с посохом в руках, который обвивает громадная змея.

[33] Нерон Клавдий Цезарь Август Германик — римский император с 13.10.54 по 09.06. 68 гг. н. э., гонитель христиан.

[34] Домициан Тит Флавий (24.10.51 - 18. 09.96 гг.) — римский император с 81 по 91 гг. н. э., гонитель христиан.

[35] Нерон (15 декабря 37 г. — 9 июня 68 г.) — римский император с 54 по 68 гг., один из самых жестоких гонителей христиан. Полное имя Нерон Клавдий Цезарь Август Германик.

[36] Аппиевы ворота — самые большие городские ворота античного Рима, откуда начиналась Аппиева дорога, соединяющая Грецию и Рим.

[37] Эпикуреец — приверженец философского учения, суть которого — достижение счастья стремлением к наслаждению, избегая всякой боли.

[38] Иосиф Флавий — древнееврейский историк и военачальник, род. в 37 г. от Р. Х. в Иерусалиме.

[39] Квинт — римский историк, написавший историю Александра Македонского.

[40] «Cirius Romunus Sum» в переводе: «Я — Римский гражданин».

[41] «Christianus sum» в переводе: «Я — христианин».

[42] Гомер — древнегреческий поэт-сказитель, собиратель легенд, род. 928 г. до Р. Х.

[43] Виргилий Публий — римский поэт, род. ок. 70 г. до Р. Х. в Галлии.

[44] Гораций — древнеримский поэт, род. ок. 65 г. до Р. Х. в Италии.

[45] Овидий — древнеримский поэт, род. ок. 43 г. до Р. Х. в Италии.

[46] Плиний Младший (ок. 61 г. – ок. 113 г.) — воспитывался дядей знаменитым италианским

писателем Плинием Старшим, погибшим при извержении Везувия в 79 г.

[47] Геркуланум и Помпея — древнеримские города на побережье Неаполитанского залива, перестали существовать после извержения вулкана Везувия в 79 г. н.э.

[48] Ритор (греческое слово) — то же, что оратор (римское слово)

[49] Нерон Клавдий Цезарь Август Германик — римский император с 13.10.54 по 09.06.68 гг. н. э., гонитель христиан.

[50] Домициан Тит Флавий (24.10.51 – 18. 09.96 гг.) — римский император с 81 по 91 гг. н. э., гонитель христиан.

[51] Ср. (I Кор. 15, 17)

[52] Стоик — приверженец философской школы стоицизма, суть которой в достижении душевного равновесия посредством разумного контроля над страстями и отрешенности от внешних благ.

[53] (Рим. 7, 24)

[54] Пиндар — лирический поэт Древней Греции, род. ок. 518 г. до Р. Х.

[55] Анакреонт — древнегреч. лирический поэт, род. ок. 579 г. до Р. Х.

[56] Гомер — древнегреческий поэт-сказитель, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», род. ок. 928 г. до Р. Х.

[57] Демосфен — афинский госуд. деятель и оратор, род. 384 г. до Р. Х.

[58] (Лк. 24; 13)

[59] (Лк. 24; 30.)

[60] (Лк. 24; 31).

[61] Мирт — род вечнозеленых древесных растений с белыми пушистыми цветками, содержащими эфирные масла.

[62] Нард — травянистое растение подсемейства валериановых, а также смола и эфирное масло, получаемые из него. Растение до 1 метра с лиловыми цветами.

[63] Хан — гостиница.

[64] Левит — 1) потомки Левия, родоначальника одного из 12 колен Израилевых, назначавшиеся в соответствии с законом, данным через Моисея Богом, на особое служение при скинии (храме), в помощь священникам — потомкам Аарона, происходившего из того же колена; 2) потомки Левия вообще (примеч. с сайта «Azbyka. ru»).

[65] Толедо — город в центральной части Испании.

[66] Пилигримство (устаревш. слово) — хождение на богомолье, паломничество по святым

местам.

[67] Гранды — высшая знать в средневековой Испании, дворянский титул в XVI веке.

[68] Хламида —мужская верхняя одежда древних греков и римлян в виде плаща с застежной на правом плече или на груди.

[69] Епанча (женск. род) — длинный и широкий старинный плащ.

[70] Аршин — мера длины, равная 0, 7112 м. 20 аршин — 14, 224 метра.

[71] Иегова (*церк.-слав.* Сущий) — 1) искусственно созданное имя Бога (в иудаизме); 2) традиционное написание имени Бога в переводах Ветхого Завета; 3) вариант транскрипции одного из имен Бога в русских переводах Ветхого Завета и в художественных произведениях.

[72] Виссон — тончайшая белая ткань (тонкий лен), использовалась для одежды первосвященников, царей, фараонов, центурионов и патрициев (производилась в Палестине и Египте).

[73] Обол — весовая единица, равная примерно 0,73 грамма; серебряная, золотая или медная монета в Древней Греции, 1/6 драхмы. В Римской империи обол был бронзовой или медной монетой.

[74] Сикомор — библейская смоковница, один из видов рода Фикус семейства Тутовые. Сикомором также называют белый клен или платан. Родиной сикомора считается Египет.

[75] Ср. (Мф. 24, 29-30; Лк. 23, 30)

[76] (Мф. 24, 9)

[77] (Мф. 25, 41)

[78] Бочар — то же, что бондарь: мастер по изготовлению бочек, кадок.

[79] Далее автор текста перечисляет еврейские имена: «Іохапапа, Іозуа, Иссахара или Касафу, Анапіила, Іоазара».

[80] Талмуд — свод догматических, правовых и религиозно-этических положений иудаизма…

[81] Іосиф Флавій (род в Иерусалиме в 37 г. от Р. Х.) — древнегреческий историк и военачальник. Известен дошедшими до нас на греческом языке трудами «Иудейская война» и «Иудейские древности».

[82] Иссахар (воздаяние, награда) — пятый сын Иакова от Лии, глава одного из 12 колен Израилевых (Быт. 30; 17, 18).

[83] Предварят — форма будущего времени третьего лица множ. числа глагола «предварять», что означает предшествовать чему-либо, опередить что-либо раньше кого-либо.

[84] Гамалиил (ум. ок. 50 г. по Р.Х.) — иудейский законоучитель, фарисей, член иерусалимского синедриона во времена Иисуса Христа. Гамалиил стоял во главе умеренного теологич. направления, основоположником которого был его дед Гиллей. Одним из учеников

Гамалиила был Савл из Тарса (апостол Павел) (Деян. 22, 3).

[85] Оазис Эн-Гадди — оазис с пресной водой и горячими источниками на западном берегу Мертвого моря, в 30 км к югу от Хеврона. Недалеко от этого места Давид скрывался от царя Саула.

[86] Низан — по еврейскому календарю: весенний месяц, соответствующий второй половине марта и первой половине апреля.

[87] Гиллель Великий (род. 112 г. до н. э. — ум. 5-10 гг. н. э.) — законоучитель эпохи царя Ирода, наиболее известный раввин века, предшествующего христианской эре, высокий нравоучитель, мудрец, основатель фарисейской школы; умер в Иерусалиме.

[88] Филактерии — две кожаные коробочки, которые иудеи подвязывают во время утренней молитвы на лбу и на левой руке и которые содержат пергаментные листки с текстом молитв и изречений из Торы. Каждый еврей должен надевать две филактерии, привязывая их ремнями во время утренней молитвы (за исключением суббот и праздничных дней).

[89] Моавитские горы — горы в Иордании. По преданию, там находится таинственная могила ветхозаветного пророка Моисеея.

[90] Гинекей — так назывались отделения домов, в которых жили женщины (римские названия заботливо сохранялись в Иерусалиме).

[91] Низан — название месяца, нашего марта–апреля.

[92] Тирское вино — красное сухое вино.

[93] Статуи ларов — древнеримские статуи домашних богов. Лары — божества, покровители семьи или города, ставились на стол во время домашних трапез.

[94] Первая стража ночи — начиналась от заката солнца и продолжалась три часа и называлась вечером; вторая стража ночи продолжалась до полуночи и именовалась полночью (Лк. 12; 38).

[95] Долина Мертвых — в античной мифологии часть загробного мира, где избранные герои проводят дни без печали и забот.

[96] Ликторы — одна из низших гос. должностей, телохранитель при высшем гос. служащем, носили с собой пучок прутьев с секирой, как символ власти и наказуемости.

[97] Аграф — застежка в виде броши для платьев, причесок.

[98] Тетрарх (четверовластник) — один из четырех правителей в тетрархии (форма правительства с четырьмя равноправными властителями).

[99] Анемона — род многолетних цветковых растений, семейства Лютиковые; другое название Ветреница, Ветряница.

[100] Сведения о жизни египетского пустынника, преп. Онуфрия, здесь почерпнуто из жизнеописания его, приписываемого ученику св. Макария Египетского, отшельнику Пафнутию, путешествовавшему в конце IV века с благочестивой целью по Фиваиде и

описавшему это путешествие для назидания братии. *(Примечание автора текста).*

[101] В Гермополь, по преданию, приходил Спаситель с Девой Марией и праведным Иосифом, исполняя пророчество Исаии: «Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем» (Ис. 19, 1). Об этом говорят: Созомен (раннехристианский писатель-историк), Руфин (римский церковный писатель), Никифор Каллист (византийский церковный историк). Автор «Лавсаика» (повествование о жизни святых и блаженных отцов), Палладий, епископ еленопольский, путешествуя по Египту в 391 году, видел в Гермополе тот языческий храм, в котором все идолы пали на землю при появлении Спасителя. *(Примечания автора текста).*

[102] Триклиниум — пиршественный зал с тремя застольными ложами: в триклиниуме римляне ели, возлежа на специальных ложах — *клиниях*.

[103] Плотин (род. 270 г. от Р. Х.) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Монада, как основная единица бытия, философам представлялась как неделимый элемент, из кот. состоит реальность.

[104] Ликей — философская школа, основанная Аристотелем в Афинах в 335 году.

[105] Калива — (греч. — хижина), небольшой домик, в котором живут обычно один или два монаха-отшельника.

[106] Элизиум (от греч. — «елисейские поля») — в античной мифологии часть загробного мира, в котором пребывают после смерти избранные герои, проводя там дни без забот и печали.

[107] Делос — греческий остров в Эгейском море, один из важнейших культурно-религиозных центров античности

[108] Фантазм (phantasma) — бред, сопровождающийся видениями: видение различных предметов в бреду («Историч. словарь галлицизмов русск. яз.» / Епишкин Н. И.). Галлицизм — слово, заимствованное из франц. яз.

[109] Тантал — по древнегреч. мифологии, царь, наказанный богами за гордыню и святотатство; его наказанием были вечный голод и жажда, несмотря на доступность пищи и воды.

[110] Прометей — согласно древнегреч. мифологии, Прометей похитил олимпийский огонь и передал его людям, за что был прикован богами (Зевсом) к скале, а орел клевал его печень каждый день, которая постоянно восстанавливалась, обрекая Прометея на вечные муки.

[111] Ихневмон — египетский мангуст, или фараонова крыса, или мышь.

[112] Серика — «страна шелка» — Китай.

[113] Экус — главный зал в римском доме (Архитектурн. словарь — *ред.*).

[114] Базилика — прямоугольное здание, разделенное рядами колонн.

[115] Канитель — венчающая часть колонны, выступающая за ее пределы, обеспечивает устойчивость конструкции.

[116] Кессон — углубления прямоугольной формы в своде, куполе, потолочном перекрытии или на внутренней поверхности арки.

[117] Лихны — лампы, в которых при посредстве фитилей горело масло.

[118] Квадрига — античная двухколесная колесница, запряженная четверкой лошадей, расположенных в один ряд.

[119] Калаф — круглая плетеная корзина, предназначенная для плодов, цветов, сыра и т. п.

[120] Кифара — древнегреческий струнный щипковый музыкальн. инструмент, разновидность лиры.

[121] Метафизика — философская дисциплина, исследующая первоначальную природу бытия на основе рационального мышления и логики, в отличие от религии, опирающейся на веру и откровения, на священные тексты.

[122] Платон — древнегреческий философ (428 или 427 — 348 или 347 до н.э.), ученик Сократа.

[123] Принцип Горация: nil admirari — «золотая середина», свойство мудреца. «Nil admirari» в переводе с латыни «ничему не удивляйся» (в смысле стоической сдержанности, невозмутимости, хладнокровия, бесстрастия).

[124] По верованию древних (в древнеримск. мифологии — *ред*.), жизнью человека заведовали три богини судьбы: Клото, начинавшая прясть нить жизни каждого человека при его рождении; Лахесис, продолжавшая прясть ее в период его дальнейшего существования, и Атропос, обрывавшая эту нить в день смерти его (*примеч. авт. текста*).

[125] Калаф — глиняный сосуд в форме корзины для вина и др. жидкостей (Древний мир. Энциклоп. словарь в 2-х томах. — М. 1998).

[126] Звезда Спика — это голубая звезда из созвездия Девы, известная хорошо в древности. В первый раз она упоминается математиком Эвдоксом в IV веке до Р. Х. — *примеч. авт.*

[127] Фиваида — старинное название области в верхнем Египте: происходит от греческого названия его столицы Фив.

[128] Мафорта (мафорт) — наплечная короткая мантия.

[129] Епископ Мелетий — православный епископ, правивший антиохийской церковью в тяжелое время борьбы двух сильных партий: православных и ариан. В 370-м году он был изгнан из Антиохии императором Валентом, придерживавшемся арианства. После его смерти Мелетий вернул себе святительский престол. Скончался епископ в 381-м году.

[130] Анахорет (от др.-греч. «отступать», «отходить», «уходить», «удаляться» — удалившиеся от мира, отшельники, пустынники, ведущие аскетический образ жизни.

[131] Порфир (от др.-греч. «темно-красный, пурпурный») — горная, вулканическая порода, одиночные, крупные кристаллы высокой прочности,

[132] Келлия (монашеская община) — одна из трех крупнейших общин египетских монахов-

пустынников, основана около 338 года, находилась в 40 км. от Александрии.

[133] Орфанотрофия — в Древней Греции и Византии это благотворительное учреждение для воспитания сирот и беспризорных детей.

[134] Оксиринх — греч. название древнеегипетск города Пемже, в 160 км. к юго-западу от Каира.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch